АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1981

СОДЕРЖАНИЕ

Сороколетов Ф. П. (Ленинград). Областные словари и диалектная лексикология 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Будагов Р. А. (Москва). К вопросу о месте советского языкознания в современной лингвистике (окончание) 15
Пиотровский Р. Г. (Ленинград). Лингвистические аспекты «искусственного разума» 27
Домашнев А. И. (Ленинград), Помазан Н. Г. (Серпухов). К понятию «Umgangssprache» в немецком языке Швейцарии 40
Вискович К. С. (Нови Сад). О терминах «прагмалингвистика» и «дидактолингвистика» 52

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Петрищева Е. Ф. (Москва). Внелитературная лексика как категория стилистическая 60
Белоусова А. С. (Москва). Русские имена существительные со значением лица 71
Куркина Л. В. (Москва). Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара 85
Виноградов А. А. (Мукачево). К вопросу о дифференциации явлений парцелляции и динамического присоединения 98

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Гельгардт Р. Р. (Калинин). Наука о русском языке в журнале «Russian Linguistics» 111
Сталтмане В. Э., Граудина Л. К. (Москва). Культура латышской речи в условиях двуязычия 128

Рецензии

Кодухов В. И., Максимов В. И. (Ленинград). *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Словарь эпитетов русского литературного языка 134
Баталова Т. М., Курахтанова И. С. (Москва). «Новое в зарубежной лингвистике. Лингвостилистика» 136
Кормушин И. В. (Москва). *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. 141
Коков Дж. Н. (Нальчик). *Кумахова З. Ю., Кумахов М. А.* Функциональная стилистика адыгских языков 147
Кубрякова Е. С. (Москва). *Степанова М. Д., Хельбиг Г.* Части речи и проблема валентности в современном немецком языке 150
Маковский М. М. (Москва). *Шевякова В. Е.* Современный английский язык. Порядок слов, актуальное членение, интонация 153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

С. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), *В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1981 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

СОРОКОЛЕТОВ Ф. П.

ОБЛАСТНЫЕ СЛОВАРИ И ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Лексикография является одной из старейших областей языкознания, но до сих пор даже в среде лингвистов нет общего мнения о предмете лексикографии и ее месте в ряду других лингвистических дисциплин. Так, даже такой видный лексикограф, как Х. Касарес, сопоставляя словарь с грамматикой, писал, что лексикология и лексикография соотносятся между собой как «наука грамматики» и «искусство грамматики». Лексикография, отмечает Касарес, «носит преимущественно утилитарный характер и заключается... в „искусстве составлять словари“» [1].

Чаще всего подчеркивается мысль о том, что для создания научной базы лексикографии необходима теоретическая разработка лексикографических категорий. Решение вопроса об отдельности слова и его вариантах, о синонимии, омонимии и полисемии, о типах лексических значений и мн. др. предполагает необходимость теоретического анализа и обобщения на уровне лексикологии и семасиологии. Этим самым подчеркивается главенствующая, определяющая роль теоретических дисциплин для лексикографии, которая в этом случае мыслится как сугубо практическая отрасль языкознания. Даже тогда, когда признается взаимодействие, «соединение» лексикологии и теоретической лексикографии, последней отводится роль «подсобной» науки. Ср.: «Соединение лексикологии и теоретической лексикографии происходит по двум направлениям: с одной стороны, лексикографы теоретически обобщают свою работу, с другой — языковеды-теоретики, разрабатывая проблемы общей семантики, развивают основы научной лексикографии» [2]. Утверждается, что лексикология создает основу для лексикографической работы.

Однако не следует забывать, что теория лексикографии представляет собой отличную от лексикологии, самостоятельную лингвистическую дисциплину, опирающуюся на историю лексикографии и на практику словарной работы. Лексикология не решает и не может решить всех теоретических и практических проблем лексикографии. Прежде всего — лексикология не может дать самого главного для лексикографии — исчерпывающего и всеобъемлющего описания всего словарного состава языка. Между тем «объектом лексикографии является весь словарный состав данного литературного языка» [3].

Верно, что лексикографическая практика не всегда увязывает лексикографическую разработку словарного состава с обсуждением теоретических вопросов, однако справедливо и то, что именно лексикографической практике принадлежит ведущая и определяющая роль в описании лексической семантики. Успехи теоретической лексикологии и семасиологии связаны не только с развитием языкознания, логики, философии, но и зависят от степени освоения результатов лексикографического описания словарного состава языка.

Исследователи уже отмечали характерную для нашего времени «интеграцию языкознания как теоретической науки о языке, лексикологии как науки о словах, лексикографии как науки о способах классификации

словесного материала и его представления в словарях» [4]. Справедливо мнение А. А. Уфимцевой о том, что «основные понятия советской теории лексикологии явились итогом углубленной многолетней работы над словарем» [5]. Можно сказать, что лексикология вообще начинается с лексикографии. Что касается русской диалектной лексикологии, то это положение представляется бесспорным.

Цель настоящих заметок — показать решающее воздействие диалектной лексикографии на само зарождение и развитие русской диалектной лексикологии, на направление и содержание лексикологических исследований.

Диалектная лексикология относится к числу наиболее молодых языковедческих дисциплин. Ее становление и развитие начинается с 30-х годов нашего столетия, когда появляются первые специальные исследования словарного состава русских народных говоров [6]. Однако истоки диалектной лексикологии уходят в более ранние периоды развития русской науки и культуры. Уже в XVIII в. отмечаются попытки осмыслить диалектные языковые факты, а отрывочные сведения об отличиях книжного языка от народного разговорного встречаются еще раньше — в древних русских летописях. Чаще всего эти сведения и замечания касаются лексических особенностей [7]. Исследование русской диалектной лексики тесно переплетается с другими разделами науки о русском языке, связано с развитием общелингвистических идей, с исследованием проблем русской истории и культуры. И. И. Срезневский, А. Х. Востоков, А. А. Потебня, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Н. Н. Дурново, Л. Л. Васильев и другие выдающиеся русские языковеды XIX — нач. XX вв. внесли большой вклад в развитие диалектологии, в том числе и в создание диалектной лексикологии.

Важнейшую роль в становлении и укреплении позиций диалектной лексикологии как особого раздела языкознания сыграли успехи диалектной лексикографии. Активизация лексикографической разработки словарного состава русских народных говоров, несомненно, способствовала расширению и углублению проблематики диалектно-лексикологических исследований.

В последние два-три десятилетия в русском языкознании составляются и издаются областные словари, описывающие лексику отдельных говоров или групп говоров: «Краткий Ярославский областной словарь» Г. Г. Мельниченко (1961), «Материалы для Смоленского областного словаря» А. И. Ивановой, М. А. Кустаревой, Б. А. Моисеева (1958), «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» (тт. I—III, 1964—1967) и «Дополнение» к нему (тт. I—II, 1975) под ред. В. В. Палагиной, «Словарь говоров Подмосковья» А. Ф. Ивановой (1969), «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)» под ред. И. А. Оссовецкого (1969), первые выпуски «Псковского областного словаря с историческими данными» и др. В 1981 г. выходит в свет семнадцатый выпуск «Словаря русских народных говоров» (СРНГ) — капитального труда, обобщающего словарный запас русских говоров XIX—XX вв. Создаются словари русских говоров, бытующих на территории республик Прибалтики, Грузии, Казахстана и др. Перечисление всех вышедших, подготовленных и готовящихся областных словарей русского языка заняло бы большое место. Можно сказать, что именно на ниве лексикографии русская диалектология нашего времени добилась наиболее ощутимых результатов.

Областные словари нашего времени и их картотечные собрания позволяют диалектологам ставить и решать различные важнейшие проблемы, связанные с изучением словарного состава русских народных говоров.

Опираясь на разработку словарного состава в диалектных словарях, языковеды в последнее время все больше обращаются к исследованию общих закономерностей развития словарного состава народных говоров, его соотношения с лексикой общенародного литературного языка как в современном состоянии, так и в историческом аспекте, со словарным составом родственных языков; ставятся и обсуждаются многие вопросы общего и частного характера на материале лексики диалектов.

Конец 50-х — начало 60-х годов характеризуется острой полемикой, связанной с обсуждением основных направлений развития русской диалектной лексикографии. Обсуждение таких проблем, как тип диалектных словарей, отбор лексического материала для них, характер его разработки, не могло проходить без учета реальной картины взаимодействия диалектов с литературным языком в ту или иную эпоху. Русский язык в его современном состоянии четко противопоставлен диалектной речи. Это дает возможность установить границы между диалектными словами и различными пластами словарного состава литературного языка. Работа над диалектными словарями стала определяющим фактором в решении этого сложнейшего вопроса.

В процессе лексикографической разработки диалектной лексики были зарегистрированы и введены в научный оборот многие тысячи слов и целые разряды, пласты лексики, показаны особенности их семантики и выявлены условия их функционирования в диалектной речи. Это обстоятельство привело к интенсификации исследований диалектного словообразования, этимологических разысканий, разработки вопросов истории развития словарного состава русских народных говоров. Новые материалы способствовали установлению и уточнению границ распространения диалектных слов, их изоглосс, разработке проблемы соотношения диалектных и общенародных значений в слове, прослеживанию путей проникновения диалектных слов в литературный язык, изучению стилистической дифференциации диалектной лексики и т. п.

Описание лексики диалекта, характеристика не только той ее части, которая составляет специфику данного говора, но и той, которая является общей у говора, литературного языка и других диалектов, т. е. описание лексической системы диалекта, представляет собой сложную и трудную задачу. Русская диалектология, к сожалению, не располагает пока исследованиями, в которых была бы описана лексическая система какого-либо современного говора русского языка. Многочисленные статьи, диссертации, работы обобщающего характера имеют предметом исследования не всю совокупность словарного состава говора, а лишь отдельные части его, преимущественно те или иные тематические группы лексики. Проблематика, связанная с диалектно-лексикологическими исследованиями, оказывается настолько широкой и многообразной, что охватить все ее стороны еще никому не удавалось, хотя во всех серьезных работах неизменно говорится о необходимости полного описания лексического состава диалекта. Но что значит полное описание лексики диалекта? Возможно ли это при современном состоянии диалектной лексикологии и современном состоянии говоров?

Для того, чтобы описание получилось полным и не искажало действительной картины функционирования диалектной системы, необходимо прежде всего собрать весь лексический запас говора, без каких-либо упущений, без какого-либо отбора. Естественно, что при этом должны быть определены границы говора как единой языковой системы исходя именно из языковых, а не каких-либо других характеристик. Во-вторых, для этого необходимо описать все процессы, имеющие место в говоре в настоящее время, выявить все закономерности функционирования лек-

сики; раскрыть все стороны взаимоотношений и взаимозависимостей различных лексических групп, отношения диалектной лексики и словарного состава литературного языка. Лексико-семантическую систему языка составляет вся область смысловых отношений лексических единиц, своеобразие их группировки, характер взаимодействия их друг с другом и с элементами других групп лексики.

В системных отношениях переплетаются парадигматические и синтагматические свойства слова. Определяя типичные для данного слова лексико-синтаксические позиции, мы тем самым определяем и его место в соответствующем парадигматическом ряду. С другой стороны, определяя существенные для данного значения признаки, обусловливающие его соотношение со значениями других слов, т. е. определяя его парадигматические связи, мы тем самым устанавливаем и возможные для него синтагматические связи.

Ф. П. Филин подчеркивает необходимость исследовать слова в их отношениях между собой, учитывая словообразовательные, семантические и функционально-коммуникативные связи, природа которых определяется особенностями структуры лексико-семантических групп [8]. Метод языковой дистрибуции дает в руки исследователя наиболее надежные данные для квалификации системных отношений в лексике диалекта.

Изучение диалектной синонимии, вариантности, многозначности и др. проблем должно вестись с учетом специфики всей диалектной системы, определяемой временной, территориальной и стилистической координатами. Это особенно важно на современном этапе развития говоров, когда в последних отмечается интенсивное развитие новых языковых процессов, приводящее к изменениям в отношениях между различными категориями словарного состава диалектов (Ф. П. Филин, Л. И. Баранникова, О. И. Блинова, Т. С. Коготкова и др.).

Такое исследование лексического материала предполагает его предварительное собирание и систематизацию. Для диалектной лексикологии этот предварительный этап имеет важнейшее, решающее значение. Одним из наиболее рациональных методов систематизации диалектного лексического материала является его лексикографическая разработка. Составление словарей само по себе не является простым собиранием, объединением и систематизацией словесного инвентаря. В словарях слова получают последовательную грамматическую, семантическую, акцентную и стилистическую характеристику, в них намечаются связи и отношения между отдельными словами, указываются синонимические, антонимические и т. п. оппозиции. Следовательно, в словарях получают отражение, определенное истолкование существенные стороны лексической системы.

Накопление опыта практической работы над областными словарями, разработка принципов их создания, практическое воплощение этих принципов в лексикографических трудах способствовало решению целого ряда лексикологических, семасиологических, грамматических и стилистических проблем. Вопрос о дифференциальных признаках слова, о его тождестве и отдельности, проблема вариантов слова, синонимия, омонимия, полисемия и типы лексических значений и др. проблемы невозможно было бы обсуждать без словарной практики.

Однако вряд ли возможно представить себе такой словарь, в котором были бы решены все эти проблемы. В русской лексикографии утвердилось мнение о том, что адекватное описание словарного состава языка невозможно осуществить в одном словаре. Такое описание мыслимо и целесообразно в серии словарей. Выдвигается идея системы словарей, описывающих с различных сторон словарный состав национального языка. Эта идея переносится и в область диалектной лексикологии и лексикогра-

фии. Так, В. А. Сенкевич предложил создать «систему» словарей, в которую, по его мнению, должны входить: а) список слов с «заданной» частотностью; б) частотный словарь словоформ говора; в) список словоформ, встретившихся в фольклоре или преимущественно в фольклоре; г) алфавитный список предлогов, союзов, частиц; д) алфавитный список падежных форм местоимений; е) список падежных форм местоимений говора по частоте употребления; ж) словарь диалектных слов, в каком-либо отношении противопоставленных литературному языку; з) обратный словарь слов говора; и) алфавитный свод словообразующих префиксов и суффиксов говора [9].

Заманчиво, конечно, иметь такой набор словарей говора (языка), который давал бы возможность исследовать лексический материал в различных аспектах. Но какие словари должны входить в эту систему словарей? Может ли дифференциальный словарь, включающий 2000 диалектных слов, входить в систему с частотным словарем, включающим 12 000 слов — и диалектных, и литературных? Можно ли алфавитный список аффиксов считать составным элементом «системы» словарей? Каким образом список словоформ, встретившихся в фольклоре, корреспондирует с обратным словарем говора? Как взаимосвязаны между собою предлагаемые собрания слов и морфем, что в них общего?

Напрашивается вывод, что в предложенной «системе» словарей много произвольного, несогласованного, случайного.

Если говорить о наборе словарей, могущих представить материал, характеризующий лексику диалекта в полном объеме и с разных сторон, то невозможно не указать словарь толковый, словарь синонимический, словарь тематический, или идеографический, словарь фразеологический, словарь сочетаемости слов, словарь словообразовательный... Причем, все эти словари должны быть построены на одном материале, едином по своей принадлежности к одному говору, к одному хронологическому срезу, т. е. они должны отражать реальную лексико-семантическую систему в том понимании, которое вкладывал в это понятие Л. В. Щерба [10].

Исследователь, ставящий перед собой цель описать в словаре лексику говора в целом и тем самым представить системные отношения в его словарном составе, должен опираться на системный принцип охвата материала. «Системное описание слов возможно только тогда, когда изучаемый лингвистический объект представляет собой совокупность системных связей» [11].

Любое исследование системных свойств говора должно иметь в основе одну языковую систему, соответствующую одной социально-языковой общности. Отсутствие такой базы делает бесплодными попытки исследовать системные связи и отношения в говоре. Нельзя устанавливать какие-либо системные отношения на языковом материале, включающем разные языковые системы.

В отношении русских народных говоров вопрос этот приобретает дополнительные аспекты и направления в связи с близостью языковых систем разных говоров между собою и между ними и литературным языком. На эту сложность отношений русских диалектов обращалось уже достаточно внимания (Р. И. Аванесов, Ф. П. Филин, Л. И. Баранникова, Н. И. Толстой, О. И. Блинова, Т. С. Коготкова и др.).

В то же время диалектная система современного говора как синхронная категория, подобно всякой системе, формируется исторически, и поэтому в ней возможно сосуществование таких эквивалентных языковых рядов, которые являются отражением диахронных сдвигов и изменений. Столкновение территориальной и временной координат в языке совре-

менного говора приводит к тому, что при синхронном и изолированном, т. е. без привлечения данных других говоров, исследовании лексики говора нельзя установить, например, что малая употребительность того или иного слова в говоре является показателем «затухания» слова во времени и в пространстве, тем более нельзя объяснить причин этого «затухания».

Приходится признать, что богатство словарного состава говора не может быть полностью выявлено, следовательно, требование о привлечении всей совокупности слов при анализе лексической системы говора невыполнимо. Вот почему говорят о необходимости показа основных особенностей лексической системы говора. Основным способом решения этой задачи, видимо, следует считать показ наиболее характерных и существенных противопоставлений, т. е. наиболее существенных черт говора, выделяющих его из ряда других говоров и противопоставляющих его литературному языку.

Такое выяснение может быть результатом сопоставления не отдельных слов, а по возможности максимально полно представленных рядов слов. Эти ряды слов могут быть различного характера с точки зрения оснований их организации. С одной стороны, это могут быть тематические группы лексики, с другой — лексико-семантические группы слов, система значений которых образует семантическое поле, наконец, это могут быть объединения слов по словообразовательному признаку, по синонимическим и антонимическим отношениям и т. п. Вообще исследователи справедливо отмечают большое разнообразие и сложность лексико-семантических отношений и связей, наблюдаемых в говоре, что делает диалектный материал более показательным для изучения его как системы.

Исследование закономерностей функционирования лексико-семантической системы диалекта невозможно без сопоставления языковых фактов диалектной речи с соответствующими явлениями литературного языка. Такое сопоставление должно сопровождать изучение всех проблем диалектной лексикологии. Показ общности лексической системы говора и литературного языка имеет большое значение для обсуждения и решения важнейших вопросов диалектной и общей лексикологии. Однако не менее, если не более, важно для характеристики словарного состава говора в его отношении к общенародному словарному составу показать различия, проявляющиеся в том, что говор, наряду с другими различиями, не располагает рядом слов и форм, известных в языке литературном. Исследователи отмечают, например, что набор союзов, предлогов, частиц, междометий в говорах и в литературном языке не совпадает. В говорах, как правило, отсутствуют сложные союзы, характерные для языка книжного: *ввиду того что*, *благодаря тому что*, *в силу чего* и др. Большие отличия наблюдаются в системе сложных предлогов в литературном языке и в говорах. Как правило, число сложных предлогов в говорах меньше, чем в литературном языке. В говорах не употребляются предлоги типа *вследствие*, *в области*, *в течение*, *в отношении* и т. п. Вместе с тем надо заметить, что говоры отличаются богатым набором предлогов, союзов, частиц, междометий, не известных литературному языку. Так, в пятнадцати выпусках СРНГ (до слова «куделюшки») представлено 95 предлогов, 196 союзов, 234 частицы, 519 междометий, характерных только для русских диалектов и не известных литературному языку.

Сопоставление лексического запаса говора и литературного языка позволяет установить их структурно-семантические сходства и различия. Отсутствие слова в говоре или в литературном языке проявляется в особенностях их понятийной соотнесенности.

Так, по свидетельству В. А. Сенкевича, в говорах Южного Урала нет

слова *училище* при наличии — *ученик*, *ученица*, *учительница*, *учитель*, *учить*, *учебник*. В связи с этим слово *школа* в семантическом плане в говорах Южного Урала оказывается более емким и широким, чем в литературном языке. Выявить семантические различия слов типа *школа* в литературном языке и в говорах возможно только при сопоставлении целой группы слов данного семантического и словообразовательного ряда в говоре с соответствующим рядом слов литературного языка. Так, только сопоставление группы слов — *ребятишки*, *детки*, *парни*, *детство*, *ребенок*, *молодежь*, *молодость*, известных говору, с аналогичным рядом слов в литературном языке обнаруживает, что в данном семантическом ряду в говорах отсутствуют такие слова, как *юноша*, *юность*, *отрок*, *отрочество*. Отсюда можно сделать предположение, что семантическое наполнение слов *ребятишки*, *ребенок*, *детство* в говоре шире, полнее, чем в литературном языке, потому что *детство* в говоре включает в себя элементы значения и *юности*, и *отрочества*. Говор не выработал отчетливого разграничения таких понятий, как детство, отрочество, юность, хотя нельзя, конечно, с уверенностью утверждать, что современный говор вовсе не знает слов, выражающих подобные понятия. Здесь на передний план выдвигается проблема полноты материала. Привлечение неполных сведений о лексическом составе говоров может привести к ошибочным заключениям и выводам.

Так, Т. С. Коготкова замечает, что «если взять категорию усиления, увеличения в литературном языке и в лексической системе деулинского говора, то заметно различие в самом наборе средств языкового выражения. В литературном языке обычны суффиксальные образования (*жари́ща*, *води́ща*, *холоди́ще*, *крови́ща* и т. п.), или словосочетания существительного с экспрессивными прилагательными: *громадный*, *огромный*, *исполинский*, *колоссальный*, *чудовищный*, *неслыханный* и т. п. В деулинском говоре эта категория выражается сочетанием определяемого существительного с такими усилительными словами, как *ненаме́рный*, *ненаказа́нный*, *несказа́нный*, *непредви́дный*, *несосве́тный*, *несуди́мый*» [12, с. 82—83]. При более тщательном рассмотрении можно было бы установить, что «увеличительные» слова *водища*, *кровища* в деулинском говоре известны (они зафиксированы Деулинским словарем), с другой стороны, прилагательные *несказанный*, *несосветный* в литературном языке употребляются в той же функции, что и в деулинском говоре. Кроме того, надо заметить, что нет убедительных и надежных оснований утверждать, что говору не известны прилагательные *громадный*, *огромный*, *неслыханный* и что они не употребительны в нем в той же функции, что и в литературном языке. Что касается слов *жарища* и *холодище*, то их отсутствие в словаре деулинского говора можно объяснить только случайностью (в говорах, в том числе и в деулинском, такие образования распространены более широко, чем в языке литературном).

Как уже было отмечено, в настоящее время русская диалектология располагает значительным количеством областных словарей, богатыми картотечными собраниями диалектных слов, что обеспечивает возможность ставить и решать важные вопросы диалектной лексикологии. На основе этих материалов можно составить истинное представление о состоянии современной диалектной лексики, можно наметить основные черты, характерные для ее развития и функционирования.

Накопление языковых фактов по диалектной лексике шло параллельно с расширением задач диалектной лексикологии, углублением теоретических разработок основных ее направлений. Наличие словарей, создававшихся в разное время, отражающих диалектную лексику на протяжении определенного хронологического периода, позволяет ставить и решать

проблемы исторического развития и изменения словарного состава русских народных говоров, выделять в его составе устойчивые и переменные, изменчивые элементы.

В процессе выработки теоретических принципов создания диалектных словарей, определения их концепций, в ходе отбора материала и его лексикографической разработки в конкретных словарях были поставлены и решены многие общие и частные проблемы диалектной лексикологии. Сюда, прежде всего, надо отнести вопрос о взаимодействии лексики литературного языка и словарного состава народных говоров, решение которого зависит, главным образом, от того, насколько широким по охвату и разнотипным по характеру является привлекаемый в сферу исследования материал. В этом отношении областные словари и, в первую очередь СРНГ,— чрезвычайно показательны.

Важный в теоретическом плане вопрос о различиях между словарным составом народных говоров и лексикой литературного языка лишь в последнее время, именно в связи с лексикографическими работами, получает наиболее глубокое теоретическое освещение. Выдвигаемый рядом исследователей тезис о «полной» дифференцированности словарного состава диалектов и лексики литературного языка (И. А. Оссовецкий, Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская и др.) может обсуждаться только на основе учета опыта лексикографической обработки словарного состава говоров. Последний свидетельствует, что этот тезис не подтверждается.

Само понятие диалектного слова выкристаллизовывалось, было отчетливо определено именно в областной лексикографии. Ставшее теперь общепринятым определение диалектного слова, его границ, выделение типов диалектизмов предложено Ф. П. Филиным в «Проекте „Словаря русских народных говоров“» [13].

Вопрос о семантической структуре диалектного слова, о совмещении в слове общенародных и диалектных (местных, областных) смыслов, проблема тождества и отдельности слова, взаимодействия фонетических, морфологических и лексико-семантических факторов в процессе развития и изменения словарного состава говоров могли быть поставлены и решены только в ходе лексикографической разработки огромного лексического материала, включаемого в областные словари.

Богатство словообразовательной синонимии и вариантности было в полной мере раскрыто и истолковано в результате лексикографической разработки словарного состава говоров. Своеобразие словообразовательной системы, набор словообразовательных средств, способы, совокупность словообразовательных типов и моделей возможно исследовать только в результате фиксации и лексикографической обработки лексического состава говоров в областных словарях. Так, например, считалось, что словосложение чуждо словообразовательной системе диалектного языка. Материалы диалектных словарей, прежде всего СРНГ, однако, свидетельствуют, что словосложение является «одним из излюбленных приемов образования слов в говорах русского языка» [14]. Материалы СРНГ и других областных словарей показывают, что сложносуффиксальные производные занимают в диалектном языке третье место (после суффиксальных и суффиксально-префиксальных) [15].

В диалектных словарях впервые представлено развернутое описание смыслового содержания словарного состава русских народных говоров. В них установлен точный смысл слова или значения, сделаны попытки найти исходное, первичное значение, отыскать вторичные, прямые и метафорические значения, показать зависимость вторичных значений от первичных.

Методы и приемы лексикографической разработки семантики оказали

решающее влияние на разработку проблемы лексического значения в семасиологии, на исследование проблемы смысла и значения во всей ее глубине и тонкостях. Лингвистическое кредо словаря ярче всего проявляется в способах семантической квалификации; именно в этой сфере наиболее заметна связь уровня разработки лингвистической теории и лексикографической практики. Хотя, если собрать и классифицировать типы определений, имеющих место в толковых словарях (и литературных и диалектных), окажется, что здесь наблюдается широкий диапазон способов, методов и приемов определения значений слов, не всегда совпадающих с теоретическими разработками этой проблемы. Но это не меняет положения.

Работа над диалектными словарями дала возможность обсуждать проблему соотношения регулярных и нерегулярных изменений в материальной стороне слова, изучать проблемы тождества и отдельности слова, фонетических и лексических вариантов, причины и условия лексикализации фонетических особенностей. Изучение нерегулярных лексикализованных особенностей наряду с изучением основных структурных свойств диалектного слова дает возможность составить более полное и правильное представление о диалектных системах [16].

Диалектная лексикография предоставила материалы, без которых невозможно изучать процессы взаимодействия русской основы с церковнославянскими элементами, нельзя в конечном итоге воссоздать историю русского литературного и народного языка [17].

Иногда приходится встречаться с мнением о том, что «в результате дифференциального отбора лексики в областной словарь все они (словари.— *С. Ф.*)... являют собой сборники редких, экзотических слов, отсутствующих в литературном языке» [12, с. 40]. Такая критика дифференциальных областных словарей была бы справедливой, если бы относилась только к начальному периоду русской областной лексикографии и лексикологии, когда записи местных лексических особенностей не преследовали каких-либо исследовательских целей и задач, а представляли собой более или менее случайные сопоставления слов областных с общенародными, литературными. Такие записи делались путешественниками, любителями живой народной речи, ценителями ее богатства, разнообразия, красоты и выразительности. Часто в этом проявлялось удивление перед необычными, редкими языковыми фактами, перед экзотикой.

Однако уже в XVIII в. начинает осознаваться значимость диалектных лексических данных для историко-лексикологических, этимологических и др. исследований. М. В. Ломоносов отчетливо высказал мысль об общей основе литературного языка и народных говоров и подчеркивал значение последних для изучения истории русского языка.

История русской диалектной лексикографии свидетельствует, что, начиная с академического «Опыта областного великорусского словаря» 1852 г. и «Дополнения» к нему 1858 г. русскими диалектологами руководило стремление собрать, зафиксировать и ввести в научный оборот всю совокупность областных слов, отличающихся на лексическом и семантическом уровнях от слов литературного языка. Тогда же встал вопрос и о выработке критериев отличия диалектных слов от литературных.

Что касается современных диалектных словарей, то при их составлении, при сборе материала для них особенно большое внимание уделяется максимально полной фиксации диалектной лексики. Различного рода вопросники, инструкции и руководства по собиранию диалектной лексики были призваны помочь с наибольшей полнотой собрать и отразить диалектный материал. Современные дифференциальные областные словари содержат отнюдь не одни только «редкие», «экзотические» сло-

вечки, а представляют собой относительно полные собрания диалектных слов, без каких-либо значительных упущений. В них не включаются только слова и значения, общие для литературного языка и народных говоров [13]. Это — утвердившиеся в русской лексикографической практике дифференциальные областные словари. Их ценность заключается прежде всего в выявлении и систематизации диалектных лексических данных, многие из которых тем самым вводятся в широкий научный оборот. Удачная в целом семантическая разработка слов, грамматическая характеристика и цитатный материал, иллюстрирующий особенности функционирования слова в живом народном говоре, делают эти словари надежными источниками изучения русской диалектной лексики на современном этапе. Эти словари — удобный и во многих отношениях единственный вид справочников и систематизированных собраний диалектных лексических материалов. Их значение как пособий такого рода трудно переоценить.

Конечно, системные отношения, близость и противопоставление, «цепные связи» и сочетания слов не будут представлены в дифференциальном словаре в полном объеме. Но вместе с тем сводный областной словарь дает возможность: а) установить границы распространения каждого слова (конечно, с относительной полнотой и точностью); б) выявить слова, характерные для одного диалекта и для ряда говоров; в) наглядно представить отличия в значениях и употреблениях слова по разным говорам. Таким образом, этот словарь решает в значительной степени задачи лингвистической географии. Ср., например, густую сетку географических помет при таких словах, как *загон*, *западня*, *залавок*, *закута* и др. и единичные фиксации на ограниченной территории слов *заглазки*, *заглум*, *загубье*, *залежка* и т. п. (СРНГ, X).

Важно подчеркнуть, что дифференциальный словарь представляет значительно больше возможностей показать черты и особенности, отличающие словарный состав говоров от лексики литературного языка, отразить то, что характеризует каждое диалектное слово в лексическом, грамматическом, семантическом и сочетаемостном отношениях, что могло бы быть «потеряно» в «полном» словаре.

Ср. в этом отношении разработку казалось бы простого слова *бороновать*, известного и говорам, и литературному языку. В литературном языке слово известно со значением «производить обработку вспаханной земли, разрыхлять ее бороной» (БАС). В некоторых говорах русского языка это обобщенное значение глагола *бороновать* неизвестно, что и было отражено в СРНГ, где у слова выделено два разных значения: 1) «бороновать незасеянную полосу»; «бороновать во второй раз» (южн.) и 2) «бороновать уже засеянные полосы» Меленк., Покров, Влад. (СРНГ, III).

В других случаях слово, известное говорам и литературному языку, различается в них сочетаемостью, что также отражается в словаре. Ср. в этом отношении разработку слов *кутья* (10-е знач.), *куриный*, *кулак* и др. (СРНГ, XVI). В статье на прилагательное *куриный*, например, отражены такие сочетания, как *куриный бог*, *куриный жгребчик*, *куриная кобылочка*, *куриный пай*, *куриная поветь*, *куриный шаг*, *куриная дрема* и т. п., которые не употребляются в литературном языке. Здесь все зависит от полноты выявления дифференциальных признаков слова.

Эти словари дают более или менее полное представление об объеме диалектной лексики, которым располагают русские говоры на всей территории нашей страны, содержат достаточно широкие и разносторонние сведения о характерных особенностях диалектной лексики, о степени близости или отдаленности ее от лексики литературного языка.

Давая такую высокую оценку дифференциальным областным словарям, нельзя, естественно, забывать и о некоторых их «негативных» сторонах, связанных с отражением не всего словарного состава говоров. Вот почему представляется, что принципиально неверно требовать составления областных словарей на основе одних установок, по какому-то одному образцу. Это было бы сознательным обеднением задач и возможностей диалектной лексикографии.

Работа над дифференциальными диалектными словарями не исключает надобности и возможности подготовки словарей других типов. Чрезвычайно важно во многих отношениях было бы подготовить полный словарь говора, содержащий в себе характеристику всех видов слов, образующих его словарный состав. Создание такого словаря способствовало бы более полному и точному решению вопроса о соотношении диалектного и литературного (общенародного) в данном языке и в данном говоре. Такой словарь был бы неоценимым источником для решения целого ряда лексикологических и общеязыковедческих проблем.

Однако следует сказать, что с большим успехом можно подготовить исчерпывающие полные словари по определенным разделам лексики, по отдельным лексико-семантическим группам, по тематическим пластам лексики, а не по всему словарному составу говора в целом. Задача создания тематических словарей, словарей отдельных профессионально-терминологических систем (названия рыб, животных, ремесленная терминология, бытовая лексика и т. д. и т. п.), в которые включались бы как общенародные, так и характерные только для данного говора слова и термины, приобретает первостепенное значение. Такие словари у нас есть и составляются сейчас, но их пока еще чрезвычайно мало. Диалектные терминологические словари способствовали бы решению проблемы функционального взаимодействия местной терминологии с соответствующей терминологией литературного языка, взаимодействия их с профессиональным просторечием (в настоящее время эта проблема весьма актуальна; она обсуждается в целом ряде работ на материале отдельных профессионально-ремесленных терминологий). Именно здесь в наше время наиболее заметны взаимовлияние и взаимодействие диалектов и литературного языка.

Большой интерес представил бы своеобразный литературно-диалектный словарь, в котором объяснялась бы не диалектная лексика средствами литературного языка, а наоборот — к словам литературного языка подыскивались бы диалектные эквиваленты, причем совпадение литературного и диалектного эквивалентов, как и отсутствие диалектного соответствия, было бы не менее показательно. Такой словарь дал бы возможность сопоставлять не только лексический запас говора и литературного языка, устанавливать их сходства и различия в структурно-семантическом плане, но и позволил бы решать другие, более общие проблемы, например, вопрос о понятийной соотнесенности говора и литературного языка, который в русском языкознании еще не ставился и не обсуждался.

В этой статье мне хотелось показать исключительно важную роль областных словарей в становлении и развитии русской диалектной лексикологии. В областных словарях, зафиксировавших лексику русских народных говоров XIX—XX вв., надо видеть нечто значительно большее, чем простые сборники, списки слов, из которых лексиколог выбирает материалы для теоретических выводов и построений, для объяснения закономерностей, действующих в лексическом составе говоров. В принципах отбора слов в словари, в лексикографической кодификации слов, в структуре словарной статьи, в грамматической, семантической и стилистической характеристиках слов надо видеть выражение определенных

теоретических взглядов, отражающих уровень языковедческих знаний и представлений времени составления словаря. На всем протяжении истории развития русского языкознания XIX—XX вв. диалектная лексикография, питаясь идеями общего языкознания и общей лексикологии, в значительной мере направляла и определяла пути развития диалектной лексикологии, определяла ее внутреннее содержание и методы ее разработки. В определенной мере справедливо считать, что диалектная лексикология создавалась на базе словарей как «дочернее предприятие». Конечно, при этом надо не забывать о том, что словари как жанр лингвистического исследования являются прежде всего универсальными справочниками по самым различным вопросам научного и практического характера.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Касарес Х.* Введение в современную лексикографию. М., 1958, с. 28.
2. *Гак В. Г.* Об относительности лексикологических категорий в лексикографии.— В кн.: Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике. М., 1978, с. 13.
3. *Копецкий Л. В.* Теоретические предпосылки двуязычной славянской лексикографии.— В кн.: Вопросы лексикографии и издание словарей. Прага, 1974, с. 25.
4. *Дорошевский В.* Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973, с. 36.
5. *Уфимцева А. А.* Лексикология.— В кн.: Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968, с. 233.
6. *Филин Ф. П.* Исследование о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии. М.— Л., 1936.
7. *Симони П. К.* Русский язык в его наречиях и говорах.— ИОРЯС, 1896, т. 1, № 1, с. 120—121.
8. *Филин Ф. П.* Несколько замечаний о характере лексических диалектизмов.— Наук. Зап. Львівського ун-ту, 1948, т. 7, с. 223.
9. *Сенкевич В. А.* Опыт количественного анализа лексической системы диалекта.— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии. Т. 2. Ч. 2. Новосибирск, 1969, с. 151—154.
10. *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии.— В кн.: *Щерба Л. В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958, с. 54—91.
11. *Филин Ф. П.* Некоторые проблемы диалектной лексикографии.— ИАН ОЛЯ, 1966, № 1, с. 6.
12. *Коготкова Т. С.* Русская диалектная лексикология. М., 1979.
13. *Филин Ф. П.* Проект Словаря русских народных говоров. М.— Л., 1961.
14. *Кузнецова О. Д.* О некоторых трудностях отбора слов в диалектный дифференциальный словарь.— В кн.: Диалектная лексика. 1969. Л., 1971, с. 24.
15. *Головин В. Г.* Сложносуффиксальные имена существительные с первым компонентом — именем числительным в русских народных говорах.— В кн.: Диалектная лексика. 1977. Л., 1979.
16. *Кузнецова О. Д.* Актуальные процессы в говорах русского языка (лексикализация фонетических явлений): Автореф. дисс. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1979.
17. *Порохова О. Г.* Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и говорах: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БУДАГОВ Р. А.

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ*

5. Литературные и национальные языки. Понятие о норме

Учение о литературных и национальных языках — детище советского языкознания. Сказанное, разумеется, не означает, что работ, посвященных литературным языкам, раньше не было. Они были и в области старой русской филологии, и в зарубежной науке. Речь идет о том, что в советском языкознании, начиная с 30-х годов, сложилось самостоятельное учение о литературных языках, закономерностях их развития и функционирования. Сложилось и учение о национальных языках в связи с историей самих наций. Учение о литературных языках было обосновано материалистически.

Литературный язык — это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами. В этом определении следует обратить внимание на: 1) историческую изменчивость самого понятия «обработанной формы» (в разные эпохи и у разных народов); 2) известную динамичность представления о закрепленности норм литературного языка (при всей важности нормы — она подвижна во времени).

Проблема литературных языков требует осмысления целого ряда теоретических вопросов.

До сих пор часто утверждают, что литературный язык — это нечто искусственное, «сделанное», выдуманное, тогда как наука о языке изучает народные языки. Поэтому с этой точки зрения исследователь должен заниматься не литературными языками, а языками общенародными [23]. Такое представление и противопоставление (к сожалению, весьма распространенное) следует признать несостоятельным. История самых различных литературных языков учит нас понимать их роль и значение в истории культуры каждого народа как роль выдающуюся, исключительно важную. Разумеется, литературные языки находятся под воздействием разума и воли людей, на них говорящих. Но это нисколько не мешает литературным языкам сохранять полную объективность существования. Как правило, литературные языки формируются на базе и основе обще-

---

* Начало статьи см. в предыдущем номере.

[23] См., например, в ранее уже цитированном учебнике А. А. Реформатского: «...литературный язык распространяется через чиновников...» [5, с. 518]. Выдвинутые на первый план чиновники призваны бросить тень на понятие литературного языка как языка будто бы шаблонного и искусственного.

народных языков, и в этом отношении они прямо не зависят от разума и воли людей. Вместе с тем эти же люди, и, прежде всего выдающиеся писатели, ученые, общественные деятели, воздействуют на литературные языки, развивают их, следят за их нормой. В этом плане литературные языки зависят от деятельности людей, их разума и воли.

Так определяется самая характерная черта подавляющего большинства литературных языков — их одновременная независимость и зависимость от людей, говорящих на этих языках. Случаи, когда литературный язык оказывается чужим для данного народа (например, латинский язык как язык науки для народов Западной Европы в средние века и в эпоху Возрождения), являются сравнительно редкими и не меняют общей картины, только что обрисованной.

Не менее часто выдвигается и другое возражение, тесно связанное с первым: в той мере, в какой всякий литературный язык находится под воздействием людей, он не имеет объективного характера, а поэтому не представляет интереса для лингвиста.

Но кто сказал, что языковые явления и языковые категории, находящиеся под воздействием людей, не представляют интереса для лингвиста? Не обстоит ли здесь дело «наоборот»? Не пора ли привлечь пристальное внимание лингвистов как раз к подобного рода явлениям и категориям в языке? Ведь язык — это такая важнейшая общественная категория, которая, существуя совершенно независимо от воли говорящих на нем людей, вместе с тем непрерывно и постоянно изменяется в процессе своего функционирования, т. е. в процессе того же «говорения», в процессе функционирования в тексте.

Роль сознательного, человеческого фактора огромна в создании культуры, а следовательно, и литературного языка, как явления культурно-исторического. И в языке, и в науке о языке бессознательное (объективное) всегда взаимодействует с сознательным (субъективным). Уже в 1931 г. один из видных советских лингвистов Л. П. Якубинский прекрасно это показал в статье «Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики» [47]. Якубинский противопоставил Соссюру тезис, согласно которому «языковая политика» и возможна, и необходима. Фактически она и ведется во многих государствах [24]. Совсем другой вопрос, что такая политика может быть или не быть в интересах народа, в зависимости от того, как, кем, когда, в каких условиях и с какой целью она проводится.

Советские лингвисты впервые разграничили два понятия — «литературные языки» и «национальные литературные языки». Литературный язык становится национальным литературным языком лишь в эпоху формирования самой нации. Такое разграничение помогло выявить особенности литературных языков в разные эпохи их существования, помогло глубже обосновать необходимость строго исторического подхода к самой проблеме литературных языков.

Нельзя не отметить, что положение о возможности языкового планирования позднее развивали многие советские лингвисты, оказав тем самым воздействие на мировую лингвистику. В наши дни проблема «языкового планирования» широко обсуждается в самых различных странах [25].

---

[24] В частности, в Японии, о чем см. [48].

[25] См., например, специальную хрестоматию различных суждений [49, 50]. Книги на тему о «языковом планировании» выходят в наши дни в большом количестве в разных странах. Что же касается советских лингвистов, то лишь в отдельных случаях все еще приходится слышать о «невозможности языкового планирования» (см., например, [51]). Необходимость сознательного и разумного отношения к литературному языку всесторонне обоснована в книге Л. И. Скворцова [52].

Понятие о литературных языках тесно связано с понятием о языковой норме. Здесь советские ученые тоже стремились сказать свое слово. К языковой норме обычно подходят с самых различных позиций. Часто приходится слышать, что проблема языковой нормы это будто бы нелингвистическая проблема. Норма «вдвойне условна»: если «условен» сам литературный язык, то его норма, тоже «условная», тем самым оказывается вдвойне «условной». Стремление вывести исследование языковой нормы за пределы лингвистики часто обосновывается и с другой позиции; так как любой живой язык непрерывно развивается, то едва ли сто́ит изучать его норму, которая предполагает нечто устойчивое, постоянное, неподвижное.

Подобные нападки на норму с обеих отмеченных позиций следует признать несостоятельными. Как это и ни кажется неожиданным с первого взгляда, именно постоянное развитие языка делает особенно актуальным изучение его литературной нормы. Если язык был бы неподвижен, такой же была бы и его норма: стоило только один раз ее описать и на этом поставить точку. Между тем развитие языка приводит и к развитию его литературной нормы, поэтому ее анализ ставит перед исследователем ряд новых проблем. В отдельных случаях несоблюдение нормы все же может привести к взаимному непониманию. Но и соблюдение нормы непросто, так как норма исторически подвижна.

Возникает проблема: фиксировать норму для каждого синхронного состояния языка, прекрасно понимая, что для другого синхронного состояния она может так или иначе измениться, обычно частично, в большей или меньшей степени. Что же касается попыток вывести норму за пределы лингвистики («пусть, дескать, ее изучают эмпирики, это не дело теоретиков»), то такое стремление стать спиной к живому языку, к процессу его функционирования должно быть оценено как желание противопоставить теорию языка практике его реального бытования.

Нельзя не учитывать, что проблема нормы литературного языка имеет большое общественное значение. В последние годы в известной степени по аналогии с языковой нормой стали говорить и о норме поведения людей в обществе [26]. Все это увеличивает удельный вес этой проблемы и в науке о языке.

Но в чем же трудность установления языковой нормы? «Норма определяется,— читаем мы в одной из работ 40-х годов,— степенью употребления при условии авторитетности источников» [54]. И тут же автор прибавляет, что далеко не все, что мы встречаем в языке великих писателей, относится к общей норме. Как же тогда понимать «авторитетность источников»? Вот здесь-то и возникает основная трудность понятия о норме — теоретическая (авторитетность не мешает выходить за пределы нормы) и практическая (степень авторитетности).

Наш современник, известный прозаик Ю. Нагибин, справедливо замечает: «... писать по правилам вовсе не значит писать хорошо». И тут же добавляет: суждение «он хороший писатель, но у него плохой язык» звучит совершенно так же, как суждение «он хороший композитор, но лишен слуха», «он хороший живописец, но не ощущает цвета», «он хороший скульптор, «но не владеет формой скульптуры» и т. д. [55].

Как это и ни странно, здесь нет противоречия или, если угодно, здесь возникает диалектическое противоречие, которое постоянно разрешается в процессе функционирования и развития каждого языка, располагающего

---

[26] «Норма в жизни и обществе» обсуждалась, в частности, на всемирном XVI философском конгрессе в 1978 г. в Дюссельдорфе (ФРГ); см. также [53].

литературной нормой. Из четырех величайших русских прозаиков прошлого века — Гоголя, Тургенева, Достоевского и Льва Толстого — только Тургенев был сравнительно близок к норме литературного языка его времени. У трех остальных в авторском тексте норма постоянно нарушалась. У Толстого нередки синтаксические построения типа *Увидев ее мельком, она показалась ему еще лучше*, совершенно невозможные в литературной норме. То же следует сказать и о Гоголе, и о Достоевском.

И все же именно эти прозаики оказали решающее воздействие на развитие и становление нормы русского литературного языка середины и второй половины прошлого века. Все дело в том, к а к ставится вопрос. Если рассуждать так: эта синтаксическая конструкция или это слово, это словосочетание, это выражение встречаются у такого-то известного писателя, следовательно, все они входят в норму, то на неправомерные рассуждения нельзя ожидать правильного ответа. Если же рассуждать иначе: каким образом язык и стиль большого, тем более великого писателя, воздействует в с е й с в о е й ц е л о с т н о с т ь ю на развитие и становление нормы литературного языка, то и ответ будет вполне ясным — писатель воздействует своей «манерой» выражать мысли и чувства на родном языке. Речь идет не об отдельных словах и отдельных конструкциях, но о языке и стиле в целом.

Мировая литература нового времени почти не знает писателей, у которых не было бы своей особой «манеры» выражать мысли и чувства. Вместе с тем как общее правило именно такие писатели и оказывали воздействие на дальнейшее развитие их родного литературного языка и его нормы. Поэтому тезис, согласно которому «писать по правилам» еще совсем не означает «писать хорошо» (речь идет о художественном творчестве), нисколько не противоречит огромной социальной важности нормы литературного языка в каждую историческую эпоху.

Иногда бывает и так, что неопытный писатель отступает от языковой нормы просто по своей неопытности. Вместе с тем в этой неопытности иногда чувствуется врожденное дарование автора. Когда замечательный итальянский скульптор Бенвенуто Челлини (1500—1571) послал свою рукопись «для исправления» известному грамматисту той же поры Б. Варки, то последний отказался «править текст»: настолько в ошибках выдающегося человека Варки ощутил дыхание живой речи, дыхание как бы будущих норм их родного языка [56]. Нормы языка могут быть и императивными, и неимперативными. В этом их трудность. Этим же определяется и интерес, который они вызывают не только у лингвистов, но и у историков культуры.

Л. В. Щерба был глубоко прав, когда утверждал: «... (авторов, вовсе не отступающих от нормы, конечно, не существует — они были бы невыносимо скучны). Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных хороших писателей. (Я говорю „обоснованных“, потому что у плохих авторов они бывают часто недостаточно мотивированы внутренним содержанием — поэтому-то эти авторы и считаются плохими» [57]. (Нельзя не сожалеть, что эта прекрасная во всех отношениях статья Л. В. Щербы до сих пор никогда не переиздавалась. Давно пора систематически переиздавать лучшие исследования наших выдающихся филологов). Здесь все справедливо. Особенно существенно различение двух понятий: сознательного отступления от нормы при отличном знании самой нормы (подобные отступления обычно строго мотивированы прежде всего эстетически) и отступления от нормы, вызванные простым незнанием нормы. История литературных языков во многих странах целиком подтверждает мысль Л. В. Щербы.

И все же отступления отступлениям рознь. История некоторых литературных языков знает и такие случаи, когда отступления совершались как бы «нарочно», при знании нормы, при сознательном желании не писать так, как пишут все, а писать «вопреки норме». Я имею в виду так называемую «темную манеру» изложения у отдельных авторов и даже в практике целых литературных направлений.

Известна, например, «темная манера» изложения у провансальских трубадуров средних веков (буквально — «закрытая манера», trobar clus)[27], известна «темная манера» повествования испанца Луисы Гонгоры в последний период его творчества (1561—1627), аналогичная манера английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889), француза С. Малларме (1842—1898), ирландского романиста Джеймса Джойса (1882—1941) и т. д. В несколько особом положении оказался русский поэт В. Хлебников (1885—1922)[28]. В тех случаях, когда язык подобных авторов строился как бы «наперекор норме», он обычно не оказывал воздействия на нее, хотя в отдельных ситуациях «экспериментаторство» больших мастеров слова представляет интерес для специалистов: каким экспериментам язык определенной эпохи все же поддается и каким — не поддается, каковы последствия подобных опытов. Но, если сравнить, например, язык двух современников — Сервантеса и Гонгоры, то воздействие первого на языковую норму его времени было несравненно более глубоким и всесторонним, чем воздействие второго.

Несмотря на историческую подвижность языковой нормы, ее общественное значение огромно. Несоблюдение нормы или небрежное к ней отношение наносит ущерб коммуникативной функции языка[29]. Утверждения, до сих пор встречающиеся в американской и западноевропейской лингвистике, согласно которым всякая языковая норма — это будто бы своеобразная диктатура в языке[30], следует признать несостоятельными, профессионально дилетантскими.

Итак, учение о литературных и национальных языках, как и учение о языковой норме, стало складываться в советском языкознании с конца 20-х годов. Его истоки восходят к русской филологии прошлого столетия. Это учение развивалось параллельно с публикациями о литературном языке лингвистов пражского кружка.

Советские филологи всегда стремились обосновать историю литературных языков материалистически. Им всегда было чуждо приравнивание понятия о «литературных языках» к понятию о «стандартных языках». Как общее правило, в каждую историческую эпоху литературный язык является гордостью культуры данного народа. Такой язык как бы впитывает в себя все духовное богатство народа. Отсюда — огромные выразительные возможности литературных языков, их богатейшая лексическая и синтаксическая синонимика, их неисчерпаемые стилистические ресурсы. Все это не дает никаких оснований для отождествления *литературных* языков с языковыми *стандартами*, сфера распространения которых может быть лишь строго

---

[27] См. о ней главу «Темный и трудный стиль культеранистов и консептистов» в [58]. Вместе с тем само понятие «ясного и неясного» в языке и стиле исторически изменчиво. В этой связи можно вспомнить блестящий этюд акад. И. Ю. Крачковского [59].

[28] См. об этом главу «Языковое новаторство Хлебникова» [60].

[29] В свое время Б. Шоу считал, что на каждую 1000 человек, живущих в Лондоне, приходится 999 человек, не соблюдающих языковой нормы [61]. В исследовании же У. Лабова приводятся, однако, иные процентные соотношения [62].

[30] Так утверждают, в частности, Р. Холл [63] (на протяжении всей девятой главы). Его концепцию справедливо критикует А. Рей [64].

ограниченной. Между тем, такое отождествление теперь часто наблюдается [31].

Советские лингвисты впервые показали, что воздействие человека на литературные языки (весьма важное и существенное, в особенности в определенные эпохи) нисколько не препятствует и нисколько не противоречит принципу объективного существования всякого естественного языка, в том числе, разумеется, и языка в его литературно «обработанном» виде [32].

6. Язык и общество, язык и мышление

Нужно прямо сказать, что многим зарубежным и некоторым советским лингвистам эти проблемы представляются не модными, а поэтому и не современными. Им кажется, что в наш век научно-технической революции куда интереснее рассуждать о языковых моделях, чем заниматься набившими оскомину старыми проблемами. Между тем модное слово *социолингвистика* есть не что иное, как весьма старая, но вместе с тем вечно новая проблема «язык и общество». Да и языковые модели оказываются в конце концов обусловленными функциями языка в обществе.

Как следует из всего уже изложенного, две стороны единой проблемы (язык, общество, мышление людей) всегда были в центре внимания советских филологов, совершенно независимо от той или иной моды. Сама эта большая проблема — одна из старейших в истории цивилизации. Еще до возникновения лингвистики как самостоятельной науки отношениями между языками, обществом и мышлением людей интересовались в древней Греции [33]. Весь вопрос, однако, в том, к а к, с к а к и х позиций рассматривались отношения между только что названными тремя «компонентами» и к каким результатам, к каким заключениям приходили при этом исследователи.

Советские лингвисты всегда стремились анализировать и эту проблему — проблему взаимоотношений общества, языка и мышления с марксистских позиций. Напомню здесь прежде всего такие основополагающие суждения: «... язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [4, с. 29]. И в другом месте: «...ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства, . . . они только *проявления* действительной жизни» [4, с. 449].

Что необходимо особенно подчеркнуть в этом осмыслении природы и сущности языка? Прежде всего — единство двух главных функций языка — коммуникативной («...из настоятельной необходимости общения...») и функции выражения мыслей и чувств людей, живущих в обществе («...практическое... действительное сознание»). В наше время эта формулировка приобретает исключительно важное значение, так как от нее часто либо отступают, либо толкуют ошибочно.

Постараюсь показать ход неправомерных, на мой взгляд, рассуждений на эту важнейшую для осмысления природы языка тему.

---

[31] Ср., например, [65, 66]. Обзор новых работ о литературных языках дан в монографии итальянского филолога, которому, к сожалению, остались не известными основные советские работы на эту тему [67].

[32] См. главы о литературной норме в моих книгах [68, 10]. См. также интересные, принципиально важные статьи Ф. П. Филина [69, 70]. В ином плане составлен сборник [71].

[33] См. коллективную публикацию [72] и широко известную монографию Т. Гомперц [73].

В нашу эпоху, в эпоху научно-технической революции, в эпоху, когда разные виды общения между людьми непомерно расширились, коммуникативная функция языка в свою очередь резко расширила сферу своего воздействия. Задача лингвистики заключается поэтому в том, чтобы изучать именно эту и почти только эту функцию языка. Данное требование выполнить тем легче, чем больше сам язык будет рассматриваться прежде всего как знаковая система. Что же касается языковой функции выражения мыслей и чувств («экспрессивной функции»), то она отодвигается на задний план, как будто бы второстепенная и как будто бы субъективная функция. К сожалению, так теперь часто рассуждают не только многие лингвисты, но и философы [34].

Как было отмечено в 3-ем разделе настоящей статьи, уже Соссюр отодвинул на задний план «способность» языка передавать наши мысли и чувства, не только безмерно расширяя при этом коммуникативную функцию, но и противопоставляя друг другу обе эти функции. Получалось так: либо коммуникативная функция языка, либо его функция, относящаяся к выражению мыслей и чувств людей, живущих в обществе.

С таким истолкованием центральных функций языка согласиться невозможно. Дело в том, что в любой коммуникации, даже если она сводится к самым элементарным утверждениям или отрицаниям (типа «да, нет»), уже содержится «кусочек» нашей мысли или нашего чувства. Коммуникация и информация нераздельны, как нераздельны информация и то содержание (малое или большое), которое передается с ее помощью. Разумеется, информация может осуществляться и без помощи языка (например, цвет государственного флага), но в тех случаях, когда информация передается с помощью языка, т. е. в подавляющем большинстве случаев, информация неотделима от ее языкового содержания, от того, что и как передается.

Что же касается утверждения, будто экспрессивная функция языка субъективна и не поддается строгому научному анализу, то подобное утверждение равносильно утверждению, согласно которому вся семантика языка, семантика всех его категорий, субъективна и не имеет никакого отношения к лингвистике [35]. Ход рассуждений у сторонников такой безрадостной концепции в сущности очень примитивен: все мало-мальски сложное в языке (а смысловые категории и в лексике, и в грамматике действительно сложны) объявляется субъективным и неудобным для анализа, ибо сложное не поддается элементарной и прямолинейной формализации [36].

Так противопоставляется коммуникативная функция языка функции экспрессивной с тем, чтобы легче было бы анализировать первую как чисто знаковую. Сторонники подобного истолкования коммуникативной

[34] См., например, [74, с. 23 и сл.]. См. также главу «Знаковая природа языка» в коллективной монографии [75]. В статье Ж. Леграна [74] прямо утверждается, что новое истолкование языка «отбрасывает на второй план его старое определение как средства выражения мыслей» [74, с. 23]. В 1962 г. и у нас можно было прочесть: «...языкознание ближе всего подошло к осознанию своих собственных методов, во-первых, и методов (уже не вполне лингвистических), приложимых к анализу любой знаковой системы независимо от того, идет ли речь о языке или об искусстве, литературе, религии, не говоря уже о более простых видах семиотических систем» [76]. Здесь от «специфики языка» не остается уже ничего, даже в пределах «знаковых систем».

[35] Так считал не так давно, в частности, Н. Хомский [77]. «Значение — нелингвистическая категория»,— повторяет за ним А. Ветров [78].

[36] Из известных западноевропейских лингвистов нашего времени против такой концепции языка, сводящей его огромное богатство к «голой коммуникации», резко и решительно протестовал Г. Гийом [79]. Теория коммуникации, как и теория информации,— это сложные теории, и их нельзя сводить к простым схемам. Известно, что Лев Толстой в письме к Н. Н. Страхову писал: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала» [80].

функции совершенно не считаются с тем, что в действительности, в реально существующих языках народов мира, все обстоит совсем иначе: коммуникативная и экспрессивная функции составляют неразрывное целое. Такова действительность и так всегда осмыслялся язык классиками марксистской мысли. В ранее приведенном определении языка обеим функциям языка отводится не только равное место, но и интерпретируются они как части единого целого («...ни мысль, ни язык не образуют сами по себе особого царства...»).

Хотя за последние 30 лет о «знаковой функции языка» написаны горы книг и статей, на мой взгляд, лучшим до сих пор остается небольшой этюд русского лингвиста С. О. Карцевского (1884—1955), опубликованный еще в 1929 г. под несколько мудреным названием «Об асимметричном дуализме языкового знака» [81].

Сущность простой и сильной аргументации Карцевского сводится к следующему: оперируя соссюровскими понятиями обозначающего (le signifiant) и обозначаемого (le signifié), автор констатирует, что «обозначающее стремится иметь кроме своей собственной функции еще и другие функции, а обозначаемое стремится иметь не только одно средство выражения в языке, но и множество других» [81, с. 93]. Флегматичного человека можно назвать не только *флегматиком*, но и *вялым*, *холодным*, *бесчувственным* и даже *рыбой*. Следовательно, обозначаемое действительно «стремится иметь» разные способы выражения в языке, всякий раз со все новыми и новыми оттенками. А если так, то и обозначающее «стремится иметь» возможность фигурировать в языке неодинаково. Приказ о молчании позволительно выразить и так — *Замолчать*! и так — *Молчать*! и даже так— *Тсс*! и рядом других, весьма разнообразных способов.

Этим, в частности, все естественные языки отличаются от любых искусственных знаковых систем, сооружаемых для тех или иных технических целей. Этим же определяется полифункциональность естественных языков и — едва ли не самое главное! — единство их коммуникативной и экспрессивной функций. Называя флегматика *рыбой*, мы не только называем, но и передаем определенную мысль, определенное чувство. Градации этих мыслей и чувств могут быть бесконечно многообразными и разнообразными. В этом — великая сила общенародных языков. И хотя сам Карцевский из своих рассуждений таких выводов (о единстве двух центральных функций языка) не делал, сама его аргументация представляется бесспорной.

Она становится еще более бесспорной и очевидной с марксистских позиций — с позиции единства языка и мышления.

Не менее важной для советского языкознания представляется и проблема языка и общества. Если в некоторых направлениях зарубежной науки эта проблема стала модной в последние два-три десятилетия, то в советской лингвистике она всегда была в центре внимания исследователей. На мой взгляд, и здесь давно уже наметились два противоположных истолкования социальной природы языка. Согласно одному из них, язык социально обусловлен лишь внешними условиями своего бытования (например, является ли язык единым для всего государства или в данной стране говорят на разных языках, как и кому преподается язык и т. д.). Согласно же другой концепции, язык социально обусловлен не только внешними условиями (что, разумеется, важно), но и всем своим существом, своей природой, уровнем своего развития. Мне уже приходилось иллюстрировать это положение на конкретном материале [37].

---

[37] См. главу «Что такое общественная природа языка?» в книге [82].

Думается, что для советского языкознания всегда было характерно второе из двух названных истолкований социальной природы языка, истолкований проблем так называемой социолингвистики. Дело, следовательно, не в модном термине, а в осмыслении природы языка. Можно пристально изучать все тонкости той или иной грамматической или лексической формы и быть при этом настоящим социолингвистом, и, к сожалению, можно считать, что социолингвистика и интерес к грамматическим или лексическим формам несовместимы. В этом втором случае научная ценность подобной социолингвистики равна почти нулю.

7. Советское и зарубежное языкознание

Хотя по всем теоретическим вопросам лингвистики советские ученые всегда стремились обосновать и развить дальше марксистские принципы ее изучения, это, разумеется, не означает, что советская наука о языке отгораживалась от мировой науки, от ученых не-марксистов. Среди этих последних всегда были (они, разумеется, имеются и в наше время) крупные, прогрессивные по своей методологии исследователи, которые постоянно пользовались большим уважением у нас в стране. Об этом свидетельствуют, в частности, и многочисленные переводы на русский язык сочинений зарубежных филологов. В советское время такие переводы стали выходить с начала 30-х годов. В большом количестве они публикуются и в наши дни. Их целесообразность очевидна и не может быть взята под сомнение. Контакты между учеными разных стран всегда были необходимы, они особенно необходимы в нашу эпоху.

Вместе с тем, изучая исследования зарубежных лингвистов, советские ученые всегда стремились не забывать о тех общих принципах науки о языке, о которых, в частности, речь шла в предшествующих строках. Весьма важно, чтобы подобные принципы разделялись бы по возможности всеми советскими учеными. Разумеется, по более специальным вопросам лингвистики расхождения и неизбежны, и даже необходимы для ее же дальнейшего развития. Можно, например, различно понимать грамматическое значение или роль субстрата в движении языков, различно классифицировать части речи или фонемы, но нельзя, на мой взгляд, забывать о социальной природе самого языка, о принципиальном различии между естественными языками и искусственными знаковыми построениями, помнить о единстве двух основных функций любого естественного языка, понимать удельный вес таких проблем в науке, как проблема языка и общества, языка и истории, языка и мышления.

По всем этим вопросам большой идейной значимости советские лингвисты всегда занимали ясно выраженные позиции, хотя, на мой взгляд, за последние два десятилетия подобная ясность не всегда оказывалась характерной для отдельных публикаций. И об этом нельзя не сожалеть, имея в виду дальнейшее развитие нашей науки [38].

Как я уже отмечал, сейчас нередко приходится слышать о том, что споры по теоретическим вопросам лингвистики — это абстрактные и даже схоластичные споры. «Мы изучаем языки, нам ваши дискуссии неинтересны»,— заявляют сторонники таких взглядов. Нужно со всей решительностью подчеркнуть полную несостоятельность и большую опасность подобных заключений.

[38] Разногласия среди советских ученых по острым теоретическим вопросам лингвистики дали повод нашим критикам, в частности, Р. Лермиту, не так давно заявить, что с его точки зрения публикации некоторых наших языковедов являются «лишь эхом западноевропейских и американских методологических концепций» [83]. В рецензии так и сказано — «seulement l'écho».

Приведу хотя бы два примера для опровержения таких заключений.

Для того, чтобы объяснить любому взрослому человеку, сознательно изучающему тот или иной язык, в чем состоит, например, различие между самостоятельными и служебными частями речи (в языках, располагающих частями речи), необходимо пояснить различие между грамматическими и лексическими значениями в языке. В свою очередь, этот вопрос «потянет» нас и «выше»: следует показать место семантики в грамматике, а там и «рукой подать» до общей природы языка, до его основного назначения. Убедившись по «Словарю эпитетов русского литературного языка» [84], что многие имена существительные могут сочетаться с двумястами и даже с тремястами эпитетов, мы обязаны объяснить нашим слушателям, как и почему это происходит. Здесь, следовательно, возникает проблема многозначности (полисемии), а там и «рукой подать» до общей теории: в чем сущность естественных языков человечества, которым многозначность не только не мешает, но украшает и бесконечно обогащает их. Между тем искусственным знаковым построениям аналогичная многозначность категорически противопоказана. И здесь без теории нельзя ступить ни шагу [39].

Все это показывает, почему рассуждения на тему — «одно дело теория языка, совсем другое — изучение языка» — необходимо признать несостоятельными [40]. Вместе с тем, на мой взгляд, следует признать несостоятельными и рассуждения тех ученых, которые ставят вопрос так: «я занимаюсь теорией языка, но меня не интересует, какое значение сооружаемая мною теория имеет для практики изучения языков». И в том, и в другом случае теория неправомерно и ошибочно противопоставляется практике, а практика — теории.

Когда в начале нашего столетия махисты утверждали, что окружающий нас мир — это только то, что мы, люди, ощущаем, они ставили проблему с ног на голову. Так же поступают и неокантианцы, настаивая на другом тезисе: мир — это только то, что мы о нем мыслим. В наше время появилась и третья попытка истолкования мира, идущая в том же направлении: мир — это только то, что существует в нашем языке. Подобный тезис, очень модный среди современных неопозитивистов, подробно обсуждался, в частности, на одном из всемирных съездов философов в Вене [88]. Между тем советские лингвисты, анализируя взаимоотношения между языком и обществом, языком и мышлением людей, живущих в обществе, всегда стремились разобраться в этих и в подобных им проблемах с иных, марксистских позиций. Следует всегда учитывать большое значение подобных проблем не только для нашей лингвистики, но и для нашей философии.

Каждая наука имеет свои, вечно актуальные проблемы. Их имеет и лингвистика, и филология в целом. Они вечны потому, что каждая эпоха

---

[39] Тем (а таких немало), кто готов отождествить естественные языки народов мира во всем их несметном богатстве и искусственные знаковые системы (подобное отождествление проводится, например, в статье В. В. Иванова [85]), можно ответить словами одного из крупнейших математиков нашей эпохи: «Заявление, что в работах обезьян содержатся произведения Шекспира, имеет не больше смысла, чем утверждение, что в глыбе мрамора заключена статуя Микельанджело... Он просто отбил от статуи лишний мрамор..» [86]. Иногда отождествление языка и кода проводится с одной оговоркой: язык — это тот же код, но в социальном аспекте. Так ставится вопрос, например, в книге Роджера Т. Белла [87]. Но и при полном отождествлении языка и кода, и при их отождествлении с одной оговоркой не учитывается глубокое качественное различие между языком и кодом.

[40] Разумеется, ребенку, изучающему иностранный язык, теория языка не нужна, но ведь и теория арифметики не нужна тому же ребенку, когда он усваивает истину, согласно которой $2 \times 2 = 4$. Это — совсем другой вопрос.

предоставляет все новые и новые материалы для их более глубокого осмысления. На мой взгляд, именно к таким проблемам лингвистики относятся и те, которые были здесь кратко рассмотрены. Решение же других вопросов нашей науки прямо или косвенно зависит от степени глубины понимания именно этих вечных проблем.

Совсем недавно известный французский социолог справедливо писал: «В пятидесятых годах нашего столетия приверженцы кибернетики очень шумно доказывали, что их наука обновит мир и все области человеческого знания. Но вот уже к 1975 г. специальный курс кибернетики перестал преподаваться во всех университетах Франции, ибо материалы и проблемы кибернетики легко распределились между другими, более старыми и менее шумно о себе заявляющими дисциплинами» [89]. Знаменательное признание. При всем значении новых проблем и новых областей знания (разумеется, их нельзя недооценивать) следует всегда помнить, с каких теоретических позиций они осмысляются, как они относятся к старому знанию, к каким методологическим заключениям они приводят исследователей [41].

Как ни существенна в наше время такая проблема, как «язык и техника», следует всегда помнить, что есть еще более важная проблема — «язык и человек», «человек и его язык». Эта проблема всегда была и всегда будет актуальной для лингвистики.

Советская наука о языке, самым тщательным образом изучая достижения мировой лингвистики, вместе с тем стремилась и стремится занять свое место, свою идейную позицию в острых методологических спорах нашего века. Эта позиция определялась и определяется марксистским осмыслением природы языка и его важнейших функций, как в истории культуры разных народов, так и в их современном состоянии.

ЛИТЕРАТУРА

47. Языковедение и материализм. Вып. 2. М.— Л., 1931, с. 91—104.
48. *Пашковский А. А.* Слово в японском языке. М., 1980, с. 182—194.
49. Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations. Ed. J. Rubin, B. Jernudd. University press of Hawaii, 1971.
50. *Haartmann H.* Soziologie und Politik der Sprachen Europas. München, 1975.
51. *Стеблин-Каменский М. И.* Спорное в лингвистике. Л., 1974, с. 80—85.
52. *Скворцов Л. И.* Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
53. *Касаткин А. А.* Языковая норма и норма права.— В кн.: Исследования по романской филологии. Вып. 2. Л., 1978, с. 181—186.
54. *Истрина Е. М.* Нормы русского литературного языка и культура речи. М.— Л., 1948, с. 19.
55. *Нагибин Ю.* Литературные раздумья. М., 1977, с. 9—10.
56. *Ответт А.* Итальянская литература. М., 1922, с. 144.
57. *Щерба Л. В.* Спорные вопросы русской грамматики.— Р. яз. в шк., 1939, № 1, с. 10.
58. *Менендес Пидаль Р.* Избранные произведения. М., 1961.
59. *Крачковский И. Ю.* Арабская поэзия в Испании.— В кн.: Культура Испании. М., 1940, с. 77—118.
60. *Гофман В.* Язык литературы. Л., 1936, с. 185—240.
61. *Хьюз Э.* Бернард Шоу. М., 1968, с. 247.
62. *Лабов У.* Исследование языка в его социальном контексте.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975, с. 114.

[41] См. в этой связи интересную публикацию А. С. Митрофанова [90]. В книге показано, что попытки некоторых теоретиков кибернетики создать «третью линию» в философии («над» материализмом и идеализмом) не выдерживают никакой серьезной критики. Еще интереснее и ярче статья академика-математика Л. С. Понтрягина [91], в которой глубоко и всесторонне обосновано положение (наряду со многими другими проблемами), показывающее, к каким печальным и тяжелым последствиям приводит отождествление теоретической лингвистики с математикой, а математики — с лингвистикой.

63. *Hall R.* An essay on language. Philadelphia — New York, 1968.
64. *Rey A.*— ZfromPh, 1970, № 1/2.— Рец. на кн.: *Hall R.* An essay on language. Philadelphia — New York, 1968.
65. *Брозович Д.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод.— ВЯ, 1967, № 1.
66. *Brozović D.* Standardni jezik. Zagreb, 1970.
67. *Coletti V.* Il linguaggio letterario. Bologna, 1978, p. 150—165.
68. *Будагов Р. А.* Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
69. *Филин Ф. П.* О структуре современного русского литературного языка.— ВЯ, 1973, № 2.
70. *Филин Ф. П.* Что такое литературный язык.— ВЯ, 1979, № 3.
71. Социальная и функциональная дифференциация литературных языков. М., 1977.
72. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980, с. 130—152.
73. *Гомперц Т.* Греческие мыслители. Т. I. СПб., 1911, с. 57—87.
74. *Legrand J.* Classes et rapports sociaux dans la détermination du langage.— La Pensée, 1980, № 209.
75. Общее языкознание. М., 1970.
76. *Ревзин И. И., Топоров В. Н.* Новое исследование по стиховедению.— ВЯ, 1962, № 3, с. 126.
77. *Хомский Н.* Синтетические структуры.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962, с. 421 и сл.
78. *Ветров А.* Методологические проблемы современной лингвистики. М., 1973, с. 39.
79. *Guillaume G.* Langage et science du langage. Paris, 1969, p. 240—246.
80. *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: Юбилейное издание (1828—1928). Под общ. ред. Черткова В. Г. М., 1953, т. 62, с. 268.
81. *Karcevsky S.* Du dualisme asymétrique du signe linguistique.— TCLP, 1929, № 1.
82. *Будагов Р. А.* Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976.
83. *L'Hermite R.*— BSLP, 1975, № 2, p. 1.
84. *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979.
85. *Иванов В. В.* Наука как объект семиотики.— Вестник АН СССР, 1980, № 3.
86. *Винер Н.* Я — математик. М., 1964, с. 347.
87. *Роджер Т. Белл.* Социолингвистика. М., 1980, с. 298.
88. Akten des XIV Internationalen Kongresses für Philosophie. B. I. Wien, 1968, S. 331—340.
89. *Le Moigne J. L.* L'analyse de système.— La Pensée, 1980, № 210, p. 64.
90. *Митрофанов А. С.* Кибернетика и художественное творчество. М., 1980.
91. *Понтрягин Л.* О математике и качестве ее преподавания.— Коммунист, 1980, № 14.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

ПИОТРОВСКИЙ Р. Г.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА»*

1. Введение. Одним из удивительных феноменов современного этапа научно-технической революции является возрастающий интерес к языку и к вопросам языкознания. Лингвистические лаборатории и поисковые группы создаются в научно-исследовательских центрах, занимающихся вопросами психологии и психиатрии, социологии и экономики, информатики и вычислительной техники. Одновременно утверждаются такие необычные для нашей науки понятия, как «лингвистическое обеспечение АСУ» [1], «лингвистический автомат», «обучающий лингвистический автомат» (ОЛА) [4] и т. д. Среди этих новых направлений центральное место занимает проблема лингвистики искусственного интеллекта (ИИ). Прежде чем обсуждать теорию и практику лингвистических аспектов ИИ, рассмотрим тот социальный и научно-технический контекст, который породил интерес к этой лингвистике.

Вопрос о моделировании мышления человека возник еще в античной философии, к нему неоднократно обращалась европейская наука. Однако только на рубеже 50—60-х гг. нашего века проблема искусственного интеллекта была поставлена на твердую научно-техническую основу в связи с развитием робототехники.

В настоящее время выделяют три поколения роботов. Первое поколение составляют роботы-манипуляторы, которые действуют по жестким детерминированным программам. Эти роботы, лишенные даже зачатков ИИ, исполняют только элементарные рутинные операции. Второе поколение образуют сенсорные роботы, которые, обладая «органами чувств» и обратной связью, могут ориентироваться в пространстве (примером такого робота является советский Луноход-2). В этих роботах моделируются некоторые элементы разумной деятельности, однако какой-либо проблематики, связанной с языком, здесь также не возникает. Необходимость в моделировании разумной и языковой деятельности человека возникает при создании интеллектуальных роботов третьего поколения, способных производить такие операции, как распознавание образов и смыслов, формирование понятий, принятие решений, соответствующих тем целям, которые возникают в ходе взаимодействия робота с внешней средой. Разработка таких антропоморфных автоматов находится сейчас в центре внимания робототехники.

Разработка систем ИИ, предназначенных для антропоморфных роботов, идет по четырем исследовательским направлениям: 1) машинное решение логических задач и доказательство теорем, 2) моделирование на ЭВМ «стратегических» игр, например, игры в шахматы, 3) автоматическое

---

* Настоящая статья отражает идеи, высказанные автором на двух специальных совещаниях; см. [1, 2].

[1] Этот термин официально утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 5 апреля 1974 г. (№ 812), см. [3].

распознавание зрительных и слуховых образов, 4) распознавание смыслового образа, связанное в первую очередь с машинным переводом (МП), автоматическим аннотированием и другими видами автоматической переработки текста (АПТ).

Хотя для языковеда непосредственный интерес представляют третье и особенно четвертое направления, необходимо показать современное состояние дел и в первых двух направлениях. Без этого нельзя правильно оценить место инженерной лингвистики (ИЛ) в общем круге проблем «искусственного разума».

2. Логические и игровые задачи. Разработка машинных алгоритмов для решения этих задач находилась первоначально в центре внимания ученых, занимавшихся вопросами ИИ. В рамках этого направления к концу 60-х гг. были получены некоторые реальные результаты. Например, были созданы машинные алгоритмы для поиска логического вывода и доказательства теорем [5]. Эти результаты показались настолько обнадеживающими, что крупнейший советский математик А. И. Мальцев утверждал, что к концу нашего века все разрешимые логические задачи будут выполняться с помощью ЭВМ. Были созданы также шахматные автоматы. В 1974 г. в Стокгольме состоялся первый, а в 1977 г. в Торонто второй чемпионат мира среди этих автоматов [6, с. 64—65, 69].

Однако время первых успехов прошло и на рубеже 80-х гг. здесь наметился явный спад результатов. После двадцати лет машинных экспериментов «... даже лучшие из программ не могут справиться со сколько-нибудь сложными для специалиста теоремами, но вполне могут соревноваться, скажем, со способным старшеклассником» [7, с. 22]. Таким образом, «„сверхзадача“ *машинного моделирования процесса доказательства достаточно интересных теорем* остается... нерешенной» [7, с. 21]. Дальнейшее развитие теории поиска машинного вывода «тесно связано с проблематикой психологии творчества» [8, с. 32], в частности, с такими далекими от математики вопросами, как «...соотношение метода проб и ошибок с гештальт-психологией..., противопоставление „логического“ и „геометрического“ мышления, выявление сознательных и подсознательных составляющих мышления» [8, с. 33].

Что же касается моделирования игры в шахматы, то алгоритмы, использующие полный перебор детерминированных продолжений, давали достаточно тривиальные игровые решения, не поднимающиеся выше уровня игрока первой категории. Делались попытки усложнить эти алгоритмы и увеличить глубину просмотра логических альтернатив. Но такой подход немедленно приводил к возникновению «кризиса размерности», заключающемуся в необходимости перебора астрономического количества логических альтернатив,— перебора, который оказывается не под силу современным ЭВМ. Об этом М. М. Ботвинник писал так: «В среднем в шахматной позиции каждая сторона может сделать примерно 20 ходов. Пусть в исходной позиции ход белых; все 20 ходов белых фигур должны быть включены в перебор. Теперь ход черных: на каждый ход белых черные могут ответить 20 способами, а всего будет 400 ответных ходов черных. Если продлить варианты еще на один ход белых, то общее количество ходов, включенных в дерево перебора, составит 8420 ходов. Если удвоить длину вариантов, иначе говоря, рассматривать варианты на три полных хода (шесть полуходов), то общее количество ходов возрастет примерно до 67 000 000!» [6, с. 5].

Кризис размерности, наблюдающийся при решении логических и шахматных задач, является, как мы увидим, трудной проблемой и для инженерной лингвистики. В этой ситуации концепция жесткого п е р е б о р а начинает отступать перед целенаправленным о т б о р о м нечетких мо-

делей решения — отбором, которым пользуется человеческое мышление. Поскольку мышление объективируется в основном через естественный язык (ЕЯ), а модель внешнего мира отображается человеком на ЕЯ и всякая искусственная знаковая система (ИЯ) является производной от ЕЯ, то специалисты в области решения логических и игровых задач обращаются к опыту инженерной и математической лингвистики, пытаясь найти здесь образцы для построения нечетких целенаправленных алгоритмов ИИ. Более того, «моделирование естественного языка на ЭВМ, общения на естественном языке с ЭВМ и перевод с одного естественного языка на другой» становятся «центральными вопросами теории искусственного интеллекта» [9, с. 61; ср. 10].

3. Распознавание образов (машинное распознавание звучащей и письменной речи, а также изображений). В отличие от первых двух направлений ИИ распознавание образов сразу же столкнулось с нечеткостью исходных объектов (звука, рукописной буквы, рисунка). Поэтому основной концепцией теории распознавания является не столько исчисление альтернатив и их перебор, сколько построение четких эталонов-моделей, с которыми должны сравниваться размытые визуальные и акустические объекты внешнего мира.

Теория распознавания имеет две области практического приложения: создание читающих автоматов и автоматическое распознавание речевых сигналов. В настоящее время достигнуты определенные успехи при создании автоматов, читающих текст, состоящий из букв, иероглифов или цифр определенного типографского кегля. Сложнее обстоит дело с автоматическим чтением непрерывной скорописи или рисунков: в этой области устойчивых результатов пока нет [11]. Что же касается работ по созданию автоматов, распознающих устную речь, то здесь в 70-х гг. наметился кризис идей и результатов. Дело в том, что, хотя в лучших экспериментальных системах распознавание отдельных звуков, слогов, отдельных слов, а иногда заранее заданных коротких словосочетаний достигает 95—97% [12], массовый автоматический анализ спонтанной связной речи дает пока низкий уровень правильных решений.

Причины этих неудач заключаются не только в математических и аппаратных затруднениях, но главным образом в том, что распознавание этих объектов человеком диктуется не столько их конкретными физическими свойствами, сколько отношениями этих объектов с их окружающим контекстом [2]. Иными словами, автоматическое распознавание звуков и их сочетаний (как, впрочем, и рукописных букв) должно осуществляться в рамках системы понимания непрерывной речи, которое управляется механизмами высоких информационных уровней — синтаксического, семантико-ситуативного. Аналогичные подходы формируются относительно читающих автоматов и автоматов, распознающих рисунки. Именно поэтому кибернетики, работающие в области распознавания образов, снова вынуждены обратиться к опыту контекстного анализа в инженерной лингвистике и машинном переводе.

---

[2] Иллюстрацией этого явления служит хрестоматийный эксперимент кинорежиссера Л. В. Кулешова, который, сделав крупным планом снимок Мозжухина, на котором выражение лица актера было абсолютно бесстрастным и невыразительным, смонтировал три кадра. В каждом из них кадры с Мозжухиным шли после таких кадров: молодая женщина в гробу, девочка, играющая с плюшевым медвежонком, дымящаяся тарелка с супом. При этом создавалась иллюзия, что лицо Мозжухина выражает: печаль и горе в первой монтажной композиции, тихую радость — во второй, задумчивость — в третьей [см. 13, 14].

4. Машинный перевод. В начальный период своего развития МП целиком опирался на знакомую уже нам стратегию логического исчисления и перебора альтернатив. Исходя из постулата структурного языкознания о дискретности лингвистических объектов и утверждения о том, что «...язык организован так, что с помощью горстки фигур и благодаря их все новым и новым расположениям может быть построен легион знаков» [15], а также применяя метод логических исчислений, реализуемый на основе алгебраической лингвистики раннего Хомского, теоретики МП конца 50-х гг. считали, что действующие системы МП можно будет построить за пять-десять лет.

Несмотря на то, что ряд опытных математиков и лингвистов уже в период зарождения МП указывал на принципиальные трудности, стоящие на пути такого алгебраического построения систем математического распознавания смысла текста [16, 17], принцип лобового исчисления долгое время считался, а у некоторых начинающих лингвистов и математиков иногда и до сих пор считается единственной научной базой МП и всех других лингвистических аспектов ИИ. Его пытались объявить методологической основой современного языкознания.

Однако уже первые попытки реализации МП и других видов автоматической переработки текста, ориентировавшиеся исключительно на алгебраический подход, показали бесплодность одностороннего использования этого подхода. Из сотен проектов, объявленных в 50—60-х гг., до экспериментальной и промышленной эксплуатации к концу 70-х гг. удалось довести не более двадцати систем МП и других видов АПТ [18]. Остальные прекращали свое существование уже на начальных этапах разработки. В результате анализа этих конфликтных ситуаций стало ясно, что на пути инженерной лингвистики и лингвистических аспектов искусственного интеллекта встает барьер, отторгающий прямолинейную формализацию языка и речи на ЭВМ.

Изучение информационной и семиотической природы языка, а также анализ методов построения систем МП и АПТ и выдаваемых ими результатов выявили ряд особенностей естественного языка (ЕЯ), противопоставляющих его искусственным языкам (ИЯ),— особенностей, которые лежат в основании только что упомянутого барьера отторжения. Обратимся к анализу этих парадоксальных особенностей, часть которых связана с функционированием и развитием языка во времени и в социальном континууме, а другие относятся к его семиотической природе. Этот анализ необходим не только для выработки приемов понижения барьера отторжения, стоящего на пути построения систем МП и искусственного разума, но также и в интересах теоретического языкознания, которое постоянно использует ИЯ в качестве метаязыка для описания лингвистических структур.

5. Язык как нечеткая динамическая система. Если говорить о социально-функциональной природе ЕЯ, то результаты психо-, нейро- и инженерно-лингвистических исследований последнего десятилетия со всей очевидностью свидетельствуют о том, что язык не есть жесткая статическая и неизменная для достаточно длительного периода структура базовых элементов (ἔργον), на основе которой можно развивать лингвистическое исчисление. Язык целесообразнее рассматривать как динамическую структуру (ἐνέργεια), развивающуюся в процессе речевой деятельности [20;, 21; 22, с. 90—101], которая является источником изменчивости языка во времени, в географическом и особенно в социальном пространстве. Субстратом этого развития языка в ходе речевой деятельности являются особенности формирования мозга и личности человека. В этой связи акад. Н. Дубинин указывает, что «важнейшим элементом биологии че-

ловека, созданной в ходе гармонизирующей эволюции, является высокая организованность мозга. Его существеннейшая черта — неспециализированность. Она обеспечивает развитие мозга как морфо-функциональной системы в течение всей жизни человека... То идеальное (то есть социальное) содержание, которое наполняет психику в ходе становления личности, не записано в генетической программе человека. Мозг обладает безграничными возможностями для восприятия разносторонней социальной программы, обеспечивает универсальную готовность новорожденного подключиться к общественной форме движения материи...

Отсутствие жесткого генетического программирования создает для функционирования мозга исходную неопределенность, но вместе с тем открывает и огромные возможности перед индивидуальным развитием, обеспечивает пластичность, лабильность в условиях изменчивой социальной среды» [19]. Эта динамическая изменчивость языка, вырастающая на основе нежесткого генетического программирования мозга, особенно отчетливо проявляется в хорошо известном со времен В. Гумбольдта парадоксе языка и идиолекта, сущность которого состоит в том, что интерпретация родного языка и видение внешнего мира у социально-профессиональных групп носителей и у конкретных индивидуумов не совпадают полностью с коллективным («общенациональным») функционированием и владением языком, а также усредненным описанием внешнего мира. Наиболее явно этот парадокс обнаруживается в разных интерпретациях значений слов у отдельных носителей языка. Об этом говорят хрестоматийные примеры неопределенности темпоральных границ значений таких слов, как *младенец*, *ребенок*, *мальчик*, *подросток* (*отрок*), *юноша* [3], *ночь*, *утро*, *день*, *вечер* [22, с. 42—44], при колебании семантических границ обозначений цвета [25] вместе с индивидуально-художественным осмыслением отдельных цветовых значений. Например, *голубой воришка* у И. Ильфа и Е. Петрова, *желтенькая жизнь*, *живется желтенько* (т. е. скучно, бездарно), *желтые и серые лица судей* у М. Горького и т. п. [26].

Что же касается семиотической стороны дела, то своеобразие ЕЯ проявляется, как известно, в особом построении знака. Здесь понятийное (десигнативное) значение (в слове — это виртуальное, т. е. словарное, значение) противопоставлено конкретному денотативному (для слова — актуальному, т. е. текстовому) значению. Переход от виртуального к текстовому значению осуществляется с помощью механизмов актуализации, которые реализуют относительно данного контекста определенные семы и валентности, заложенные в денотате и прагматике знака [27, 28]. Среди коммуникационных систем, используемых человеком, ЕЯ является той системой, в которой контекст выступает в качестве основного и наиболее сильного средства актуализации. Путем практически ничем не ограниченных метафорических сдвигов контекст способен вывести актуальное значение словесного знака далеко за пределы его исходного виртуального значения. Примером может служить функционирование существительного *авангард* (ср. франц. *avant-garde*) в русском и других европейских языках [29].

Следствием этих коммуникативных и семиотических свойств ЕЯ являются две особенности лингвистических совокупностей. Во-первых, большинство этих совокупностей выступает в качестве не эквивалентных, но толерантных множеств. Это значит, что в отличие от элементов эквивалентных множеств, находящихся в отношении одинаковости и полной взаимозаменяемости (ср. синонимы-варианты типа *калоши — галоши*),

---

[3] Ср. разное определение границ значений этих слов в [23, 24].

элементы толерантного множества состоят в отношении сходства, т. е. в таком отношении, которое не допускает полной взаимозаменяемости [30]. Ярким примером таких толерантных множеств служат обычные синонимические ряды, члены которых в определенных контекстах не являются взаимозаменяемыми. Ср. синонимический ряд *абориген — автохтон — туземец* [см. 31], элементы которого при почти полном тождестве словарных значений характеризуются различной сочетаемостью [ср.: *аборигены* (но не *автохтоны* или *туземцы*) *Австралии*].

Во-вторых, большинство лингвистических совокупностей являются нечеткими, а иногда и потенциально бесконечными множествами, имеющими более или менее очерченный центр и размытую периферию [32; 33; 22, с. 42—47, 50—53]. Примером нечетких множеств могут служить социальные и территориальные диалекты. Размытыми множествами являются фонемы, а также значения слов и словосочетаний, наконец, предложения в устной речи [34]. Происхождение нечеткости лингвистических множеств и их элементов, обнаруживающейся не только в языке, но и в идиолекте, нужно искать не столько в социально-семиотических свойствах языка, сколько в особенностях процессов переработки и хранения информации в мозгу человека, а также в приемах вербализации этой информации.

Старая гипотеза о двух уровнях сознания — эксплицитном сознании, или, по другой терминологии, вербализуемом, коммуницируемом и логически осознаваемом уровне — и имплицитном подсознании, т. е. нижнем, невербализуемом, некоммуницируемом и неосознаваемом уровне [35], уже не представляется одиозной для современной когнитивной психологии и психолингвистики. Исходя из этой гипотезы, нечетко очерченные значения языковых знаков эксплицитного сознания вырастают из размытого континуального полисемантизма подсознания. Относительно речевого акта этот процесс можно условно себе представить в виде следующих сменяющих друг друга ступеней: 1) непрерывно возникающие и разрушающиеся невербализованные семантические связи на невербализуемом, некоммуницируемом и неосознаваемом уровне; 2) возникновение ситуативно-прагматической невербализованной установки; 3) отбор семантических связей в диапазоне, определяемом установкой; 4) формирование из отобранных связей семантических объектов, воплощаемых в неполной, аморфной внутренней речи; 5) формирование виртуальных значений простых и сложных языковых знаков и их актуализация в процессе образования текста [36—38; 21, с. 135—146].

В основе этой схемы лежит идея последовательной структурализации смыслового континуума путем выделения все более и более дискретных смысловых квантов, которые формируют постепенно расширяющуюся сетевую структуру. При таком подходе самый верхний уровень дискретности и логической организации в ЕЯ занимают наблюдаемые поверхностные структуры. Что же касается глубинных структур, в реальности существования которых сомневаются многие лингвисты [39], то они в приведенной выше схеме не имеют онтологического статуса. Их можно рассматривать как более или менее удобный гносеологический прием.

Рассмотренная схема организации вербального мышления не только созвучна современным гипотезам глоттогенеза [40] и данным истории развития письма, но и подтверждается результатами лингвистических экспериментов, связанных с использованием психофармакологических препаратов. Так, наблюдения над последовательным угнетением механизмов языка и речи в ходе инсулинотерапевтического лечения больных — носителей русского языка, находящихся на ранней стадии заболевания простой и параноидной формой шизофрении, показывает, что по мере

угасания сознания происходит переход больных к использованию высокочастотной лексики с размытой семантикой,— переход, сопровождающийся свертыванием сложных дискретных логико-грамматических построений, потерей согласования и т. п. [41].

Если говорить об образовании четких дискретных значений и окончательном превращении нечетких лингвистических множеств в четкие множества, то все это происходит обычно за пределами ЕЯ на почве искусственных языков. При этом семантические объекты и их множества, получая соответствующие коды, включаются в полностью эксплицированную систему ИЯ (в том числе и языка ЭВМ), где они занимают строго фиксированное место, обозначенное строго детерминированными связями этого языка [42]. Такой перенос лингвистического языка из ЕЯ и ИЯ ведет к неизбежной потере многих дополнительных значений этого знака, а также разрушает его вербализованные смысловые связи, принадлежащие эксплицированному сознанию, равно как и невербализованные смысловые связи, пришедшие из имплицитного подсознания. Таким образом, формализация ЕЯ и переход от его нечеткости к четкости ИЯ всегда влечет за собой потерю некоторой части содержащейся в нем информации.

6. Парадоксы инженерной лингвистики и искусственный интеллект. Описанные социально-коммуникативные и семиотические особенности ЕЯ проявляются в антиномиях формализации, возникающих при попытке описать средствами математического языка ЭВМ значения и связи ЕЯ. Эти антиномии, образующие барьер отторжения на пути создания «интеллектуальных» систем АПТ, не раз уже обсуждались в современной кибернетической литературе [16, с. 203 и сл.; 43,44]. Однако многие начинающие лингвисты и математики, принимающиеся за машинное решение лингвистических задач, игнорируют указанные парадоксы, что немедленно приводит создаваемые системы к кризису размерности, парализующему дальнейшую их разработку. Поэтому необходимо еще раз прокомментировать те из указанных антиномий, которые имеют непосредственное отношение к лингвистическим аспектам ИИ.

Первая антиномия — антиномия многоцелевого информационного процесса (ИП) и обратной связи — связана с лингвистическим парадоксом языка и идиолекта. Поскольку каждый носитель языка (или группа носителей) обладает индивидуальным видением мира и собственной интерпретацией системы языка, то восприятия сообщения со стороны носителей языка — приемников сообщения могут заметно отличаться между собой и одновременно от того замысла, который имелся у отправителя сообщения. Отсюда следует, что каждый ИП должен иметь многоцелевую направленность, которую следует контролировать с помощью обратной связи между отправителем и получателями сообщения. В коммуникативной системе «человек — машина — человек» ($Ч_1$ — М — $Ч_2$) создание такой обратной связи наталкивается на серьезные трудности.

Поскольку ЭВМ лишена индивидуального языкового и жизненного опыта и может оперировать только со стандартизированным коллективным описанием языка и внешнего мира, то человек-отправитель всегда однозначно прогнозирует информационные потребности автомата-абонента. Положение меняется при передаче информации от машины к человеку ($Ч_2$). Этот ИП должен быть многоцелевым, поскольку выработанная автоматом информация адресована носителям языка, обладающим разными видениями мира и различными идиолектами. В настоящее время не создано алгоритмов, позволяющих автомату прогнозировать интересы человека-абонента. Поэтому ни между человеком-абонентом и автоматом, ни между абонентом и отправителем сообщения обратная связь не образуется. А это ведет к потере конативной и фатической части денотативной

функции сообщения [45], что влечет за собой увеличение барьера отторжения.

Вторая антиномия (парадокс стрелы) состоит в том, что при математической формализации языка и построении систем МП и ИИ специалисты ориентируются на синхронное описание ЕЯ, совпадающее по времени с началом разработки системы, на построение которой уходит от семи до пятнадцати лет. За это время подверженная действию новых ситуаций и диахронических процессов открытая система ЕЯ успевает уйти вперед от исходного синхронного среза, а алгоритм МП и АПТ оказывается лингвистически устаревшим и не способным дать стопроцентное извлечение информации из текста. В связи с убыстрением языковых процессов в эпоху НТР [46] действие этого парадокса обнаруживается не только в текстах по тем областям знаний, которые, подобно космической или вычислительной технике, обновляют свою терминологию каждые восемь-десять лет, но и во всех других разновидностях научно-технической, деловой и публицистической речи.

Источником третьей антиномии — антиномии актуализации — являются различия в строении знака в ЕЯ и ИЯ, а также противопоставление толерантности лингвистических множеств и эквивалентности множеств в ИЯ (п. 5).

В знаке ИЯ практически отсутствует контраст «десигнат — денотат» [47, 48], а денотативное значение знака в тексте ИЯ практически равно десигнативному его значению в системе. Поэтому знаки в ИЯ обычно однозначны, а контекстная актуализация здесь является излишней; сами же ИЯ представляют собой контекстно свободные языки. Таким образом, сущность антиномии актуализации заключается в том, что между значениями слов и словосочетаний вводимого в ЭВМ текста и значениями знаков контекстно свободного ИЯ автомата нет отображения, являющегося обязательным условием однозначной переработки входного текста.

Четвертая антиномия состоит в конфронтации между нечеткостью лингвистических объектов и четкостью элементов ИЯ. Границы лингвистических множеств, например, словарных значений слов или акустических полей, являются достаточно размытыми, в то время как сопоставляемые с ними множества ИЯ всегда имеют четкие границы. Поэтому при наложении четких множеств ИЯ на нечеткие множества ЕЯ у последних отсекаются периферийные области, что приводит к заметной потере информации.

Перечисленные антиномии подводят нас к общеметодологическому вопросу о том, может ли машина решать интеллектуальные задачи лучше, чем это делает человек. Решая этот вопрос в духе геделевской теоремы о неполноте [49, 50], следует иметь в виду, что для экспликации и формализации семантического объекта, как в ЕЯ, так и в ИЯ (в том числе и в тех, с помощью которых решаются логические и игровые задачи), необходимо использовать более богатые в семиотическом отношении метапонятия, находящиеся на более высоком логико-информационном уровне, чем формализуемый семантический объект. Однако для создания таких метапонятий имеется по крайней мере два препятствия. Во-первых, при построении таких метапонятий в них не может быть включена информация о связи исходных семантических объектов с уровнем подсознания, структура и логика которого нам неизвестна. Во-вторых, формальное построение метапонятий связано с преодолением парадоксов языка и идиолекта, нечеткости, толерантности и эквивалентности, а это ведет, как уже говорилось, к потере значительной части информации, содержащейся в исходных семантических объектах.

Итак, получить в рамках ИИ метапонятия, которые были бы сильнее тех семантических объектов ЕЯ и человеческого опыта, на базе которых

строится концептуально-семантическая система ИИ, невозможно. Искусственный язык такой системы всегда будет беднее естественного языка, на основе которого он создан. Отсюда следует, что построение глобального ИИ, который был бы сильнее по всем характеристикам коллективного человеческого разума, является в настоящее время неразрешимой задачей [51].

Соглашаясь с тем, что построение глобального ИИ является неразрешимой задачей, современная наука считает необходимым строить профессионально и проблемно ориентированные интеллектуальные системы. Эти системы, по мнению некоторых кибернетиков, смогут давать решения, качество которых будет не хуже, а иногда и лучше по сравнению со средним естественным интеллектом [9, с. 59, примеч. 8]; по мнению же других ученых, хотя эти системы и будут способны помогать человеку в его мыслительной деятельности, они всегда будут недостаточно интеллектуальными для решения действительно творческих задач (в том числе логико-математических и игровых) [52]. А как решается в этом контексте вопрос о лингвистическом обеспечении систем ИИ?

Барьер отторжения, отделяющий ИЯ ЭВМ от естественного языка, настолько высок и сложен, что некоторые специалисты предлагают задержать развитие работ по инженерной лингвистике до тех пор, пока не будет создана антропоморфная вычислительная техника с соответствующим континуальным математическим обеспечением. Однако такое предложение решительно отвергается современной наукой. Социальный заказ на построение систем ИИ, включая системы МП с восточных языков, а также сложные ИПС с лингвистическим обеспечением, настолько важен, что его выполнение нельзя отодвигать на неопределенный срок. Работы по моделированию лингвистических процессов развиваются и будут развиваться с помощью имеющегося математического аппарата и вычислительной техники. То, что построенные на этой не вполне адекватной базе системы дают пока большие информационные потери, не должно никого смущать. Уже сейчас действующие промышленные системы МП и АПТ позволяют значительно ускорить выдачу абонентам необходимой им информации [53,2]. Но самое главное,— это то, что в ходе теоретической проработки, создания и эксплуатации этих систем вырабатывается научная стратегия и технология, необходимая для построения лингвистики ИИ будущего. Рассмотрим первые результаты и ближайшие перспективы в разработке лингвистических аспектов ИИ.

7. Лингвистический автомат. Разработка лингвистики ИИ — это не только теоретическая, но также инженерно-лингвистическая проблема, требующая, с одной стороны, создания и обсуждения сильных гипотез, а с другой — проведения продуманных и тонких экспериментов, проверяющих и реализующих эти гипотезы. Разработка этой проблемы должна проходить путем решения некоторой магистральной целевой задачи. Такой задачей является построение лингвистического автомата (ЛА), т. е. комплекса из лингвистического банка данных, реализующего алгоритма, программы и ЭВМ. Этот ЛА может выступать в виде блока ИИ, как это имеет место в интеллектуальном роботе Т. Винограда, выполняющем ряд механических действий посредством речевых команд человека [54]. ЛА может быть автономным роботом, как это имеет место в отечественной системе ТАНД, аннотирующей в вопросно-ответном режиме на русском языке французские научно-технические тексты ([55], описание других систем этого типа ср. в [56]).

И в том и в другом случае в ЛА должны реализоваться следующие теоретические и инженерно-лингвистические принципы.

1. Человеко-машинный принцип функциони-

рования лингвистического автомата, существо которого состоит, с одной стороны, в том, что ЛА всегда выступает в качестве помощника человека, выполняющего в первую очередь стандартные, трудоемкие интеллектуальные операции по переработке текстовой информации, а с другой,— в том, что дефицит знания у ЛА может быть компенсирован за счет интерактивного включения в автомат знаний и опыта человека.

2. Принцип открытого модульного построения ЛА. Сущность этого принципа, ослабляющего парадокс стрелы, заключается в том, что ЛА должен строиться как открытая, эволюционирующая система, в которой каждый новый блок подстраивается к уже функционирующим модулям. Поскольку в лексике текста заключено от 70 до 80% информации этого текста, а извлечение именно такого объема информации обеспечивает специалисту понимание общего содержания неадаптированного научно-технического или делового текста, то построение ЛА начинают обычно с создания автоматического словаря (АС), который используется для пословно-пооборотного МП научно-технических текстов с западноевропейских и восточных языков. Затем строятся морфологический, позднее семантический и семантико-синтаксический, а в заключение ситуативный модули. Взаимодействие нижних и более высоких модулей можно показать на примере стыковки АС и семантического алгоритма, моделирующего устранение многозначности лексических единиц путем контекстной актуализации их виртуального значения. Идея алгоритма состоит в следующем. Исключаются все комбинации русских эквивалентов, засвидетельствованных в АС и присущих входным словам и словосочетаниям в данном отрезке текста. Этим путем моделируется первая ступень речевого акта на невербализуемом, некоммуницируемом и неосознаваемом уровне — создается фильтр, в который входят только разрешенные заданной тематикой (машинной «установкой») комбинации русских эквивалентов. Все комбинации, созданные в первом блоке алгоритма, пропускаются через фильтр, который отбирает разрешенную установкой для данного контекста комбинацию актуальных русских эквивалентов [57].

Современные системы автоматической переработки устной речи [12] также начинают ориентироваться на модульный принцип ЛА, причем к начальному модулю распознавания звуков и звукосочетаний присоединяются лексико-морфологический и семантико-синтаксический блоки, использующиеся в системах АПТ и ИИ. По этой схеме строятся, в частности, системы автоматического контроля переговоров «борт — земля» [58].

Говоря о многоуровневом построении ЛА, нужно иметь в виду, что между принципом пошагового построения и схемой функционирования реального ЛА имеется внутреннее противоречие. С одной стороны, все ЛА строятся снизу вверх от простейших графемно-фонетических или словарных блоков к семантико-синтаксическому и ситуативному модулям. С другой стороны, готовая система ИИ с лингвистическим обеспечением, способная «понимать» текст на ЕЯ, функционирует как бы в обратном направлении: модули более низких уровней принимают решения на основании инструкций, получаемых от блоков высших уровней. Это противоречие может быть устранено только путем перестройки уже готовых блоков низкого уровня с целью приспособления их к высшим модулям системы ИИ.

3. Принцип адаптивной обучаемости ЛА, ослабляющий парадокс языка и идиолекта, реализуется путем создания алгоритмов, позволяющих программно модифицировать и расширять лингвистические и энциклопедические знания автомата в зависимости от тематики текста, а также от потребностей пользователя. Одним из первых ша-

гов в этом направлении является построение диалогового блока системы ТАНД, который дает возможность абоненту задавать ЛА вопросы на естественном языке и получать от него ответы, уточняющие машинную аннотацию. Следующим шагом будет создание в ЛА диспетчера, учитывающего лингвистическую настройку системы, ее адаптацию к внешней информационной среде и направляющего работу всей системы. Это является по существу центральным звеном в лингвистическом аспекте ИИ. Такой диспетчер, снимая многозначность слов и словосочетаний, ослабит парадокс нечеткости и обеспечит иерархическое взаимодействие модулей ЛА. Таким образом, здесь модулируется «установка» Д. Н. Узнадзе или «самость» К. Поппера [59, 60].

4. Сочетание вероятностного и «алгебраического» принципов решения лингвистических задач. Долгое время детерминистская и вероятностная методики рассматривались в математическом и инженерном языкознании как взаимоисключающие друг друга подходы. Однако по мере расширения психолингвистических и информационных измерений текста, создания действующих систем МП и АПТ и теоретического осмысления получаемых результатов становилось ясным, что порождение текста является комбинацией детерминизма и случая. Жесткое планирование и организация действует на сравнительно коротких участках текста, в то время как вероятностный прогноз распространяется на более протяженные дистанции текста [61]. Отсюда следует, что теоретико-множественные и логико-математические приемы моделирования лингвистических данных должны сочетаться с их вероятностным представлением. Одновременно вероятностно-статистическая методика служит средством отбора из всей массы лингвистических данных тех языковых единиц и связей, которые являются наиболее типичными для перерабатываемых в ЛА текстов. Этим путем математическая и инженерная лингвистика стремятся уйти от кризиса размерности.

Однако до конца еще не ясно, как следует объединять вероятностный принцип решения лингвистических задач с детерминистским подходом. До сих пор не разрешен философский вопрос о природе случайного, и в частности, вопрос о том, где пролегает грань между случайным и детерминированным. Противоречивая сложность во взаимодействии этих категорий в языке и речи проявляется, например, в так называемом эффекте Бектаева, существо которого состоит в том, что используемый в лингвостатистике аппарат распределений, опирающийся на закон больших чисел, хорошо описывает поведение регулярно используемых в тексте грамматических форм, служебных и общеупотребительных слов. Что же касается более редких и информационно нагруженных знаменательных слов и словосочетаний, то их усредненные статистические характеристики не имеют того значения, которое они получают, например, в физике. В языке конкретные единицы могут быть в определенных контекстах весьма информативными, а в других — нести мало информации. При этом информативность таких единиц не определяется их вероятностью, но связана с их положением в актуализирующем контексте. Таким образом, здесь обнаруживается еще один парадокс — противоречие между вероятностью и информацией лингвистических единиц.

Подведем итог. Разработка лингвистических аспектов ИИ представляет для науки эпохи НТР глубокий теоретический интерес. Создавая лингвистику для роботов и строя автономные ЛА, языковеды, математики, кибернетики и психологи должны все глубже проникать в семантическую ткань языка, и механизмы предсознания и логического мышления. Исследование парадоксов ЕЯ и искусственных языков (а без этого невозможно построить достаточно сильные лингвистические автоматы) заставляет нас

не только размышлять над коммуникативно-социальной и семиотической сущностью языка, но также работать над созданием такого формального аппарата, который мог бы быть адекватно применен для анализа и описания языка и речи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Войскунский В. Г., Шингарёва Е. А.* Сообщение о симпозиуме 10—12 апреля 1979 г.— НТИ, сер. 2, 1979, № 11, с. 29—30.
2. Международный семинар по машинному переводу (Москва, 26—30 ноября 1979 г.): Тезисы докладов. М., 1979.
3. Автоматизированные системы управления. Основные положения. Термины и определения. М., 1974, с. 4.
4. *Аверина С. Ф., Венедиктова Г. С., Шестак И. И., Кириленко Н. А.* Принципы построения обучающего лингвистического автомата.— Школа-семинар по оптимизации преподавания иностранных языков с помощью технических средств. 5—15 сентября 1979 г.: Тезисы докладов и сообщений. Кишинев, 1979.
5. *Капитонова Ю. В., Костырко В. Ф. и др.* Краткий обзор и библиография работ по автоматизации поиска доказательства теоремы в формальных теориях.— Кибернетика, 1972, № 5.
6. *Ботвинник М. М.* О решении неточных переборных задач. М., 1979.
7. Семиотика и информатика. Вып. 13, М., 1979, с. 22.
8. Семиотика и информатика. Вып. 12: Методы логики в проблемах искусственного интеллекта и информатики. М., 1979, с. 32—33.
9. *Кузин Л. Т.* О системах искусственного интеллекта.— ВФ, 1979, № 2.
10. *Садыков Т.* Первый симпозиум по лингвистическим проблемам искусственного интеллекта.— Радиотехника, 1980, № 5, с. 93.
11. *Ковалевский В.* Методы оптимальных решений в распознавании изображений. М., 1976, с. 240—245; 248—319.
12. *Донбаев Э. Д., Трунин-Донской В. Н.* Моделирование систем понимания киргизской речи на ЭВМ. Фрунзе, 1977, с. 10.
13. *Кулешов Л.* Искусство кино. Мой опыт. М., 1929, с. 16.
14. *Карганов А. В.* Всеволод Пудовкин. М., 1973, с. 14.
15. *Ельмслев Л.* Пролегомены к теории языка.— Новое в лингвистике. Вып. I, М., 1960, с. 305.
16. *Бар-Хиллел Й.* Будущее машинного перевода. ФН, 1962, № 4, с. 203—206.
17. *Филин Ф. П.* О специальных теориях в языкознании.— ВЯ, 1979, № 2, с. 23.
18. *Bruderer H.* Handbook of machine translation and machine-aided translation. Automatic translation of natural languages and multilingual terminology data banks. Amsterdam, 1978.
19. *Дубинин Н.* Наследование биологическое и социальное.— Коммунист, 1980, № 11, с. 67.
20. *Slama-Cazacu T.* Introduction to psycholinguistics. The Hague— Paris, 1973.
21. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979, с. 31—50.
22. *Пиотровский Р. Г.* Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979.
23. *Гак В. Г.* Сопоставительная лексикология. М., 1977, с. 45.
24. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17, М.— Л., 1948—1965.
25. *Kay P., McDaniel A.* Color categories as fuzzy sets.— Working paper № 44, Berkley (Calif.), 1975.
26. *Ковтун Л. С.* Соотношение эстетического и логического компонентов в лексической номинации.— В кн.: Языковая номинация (общие вопросы). М., 1977, с. 222—224.
27. *Fillmore Ch. J.* The case for case reopened.— Syntax and semantics. Vol. 8: Grammatical relations. Ed. by C. J. M. Sadock. New York — San Francisco — London, 1977.
28. *Hoffmann L., Piotrowski R.* Beiträge zur Sprachstatistik.— Linguistische Studien, Leipzig, 1979, S. 18—25.
29. *Будагов Р. А.* Заметки о русском языке в современном мире.— ВЯ, 1977, № 1, с. 10—11.
30. *Fischer W. L.* Äquivalenz- und Toleranzstrukturen in der Linguistik. Zur Theorie der Synonyma. München, 1973.
31. Словарь синонимов. Справочное пособие. Л., 1977, с. 13.
32. *Neustupný J. V.* On the analysis of linguistic vagueness.— TCLP, 1966, vol. 2.
33. *Заде Л.* Понятие лингвистической переменной и его применение к понятию приближенных решений. М., 1976.
34. *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976, с. 46—49.

35. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. М., 1934.
36. *Шошин П. Б.* Анизоморфизм эксплицитного и имплицитного.— В кн.: Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Т. III, Тбилиси, 1978, с. 660—666.
37. *Шапиро Д. И.* Об использовании расплывчатых образов как средства изучения неосознаваемой психической деятельности.— В кн.: Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Т. III, Тбилиси, 1978, с. 667—668.
38. *Бассин Ф. В.* У пределов распознанного: к проблеме предречевой формы мышления.— В кн.: Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Т. III, Тбилиси, 1978, с. 740.
39. *Солнцев В. М.* Относительно концепции «глубинной структуры».— ВЯ, 1976, № 5.
40. *Gardner R. A., Gardner B. T.* Teaching to a chimpanzee.— Science, 1969, vol. 165, p. 664—672.
41. *Спивак Д. Л.* Искусственно вызываемые состояния измененного сознания (на материале инсулинотерапии) и их лингвистические корреляты.— Физиология человека, 1980, № 1, с. 141—147.
42. Информационно-поисковая система «БИТ». Киев, 1966.
43. *Piotrowski R.* The antinomies of linguistics and automatic interpretation of the text.— In: Third International Congress of applied linguistics. Copenhagen, 1972.
44. *Дрейфус Х.* Чего не могут вычислительные машины. Пер. с англ. М., 1978, с. 33—34.
45. *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика.— В кн.: Структурализм: «за» и «против». М., 1976, с. 201—203.
46. Научно-техническая революция и функционирование языка мира. М., 1977, с. 25—26, 35, 74—78, 212.
47. *Степанов Ю. С.* Семиотика. М., 1971, с. 85—91.
48. *Nauta D.* The meaning of information.— In: Approaches to semiotics. Ed. by Th. Sebeok. The Hague — Paris, 1972, p. 26 and fol., 293—294.
49. *Bektaev K. B., Kenesbaev S. K., Piotrowski R. G.* Engineering linguistics.— Linguistics. An international review, 1977, v. 200, p. 50.
50. *Глушков В. М.* Теорема о неполноте формальных теорий с позиций программиста.— Кибернетика, 1979, № 2, с. 1—5.
51. *Пиотровский Р. Г.* Машинный перевод в исследовательской группе «Статистика речи»: теория, результаты и перспективы.— Международный форум по информатике и документации, 1980, т. 5, № 2, с. 8.
52. *Брушлинский А. В.* Почему невозможен искусственный «интеллект».— ВФ, 1979, № 2, с. 63.
53. Third European Congress on information systems and networks. Overcoming the language barrier.— Luxemburg, 3—6 May 1977. London—Paris—New York, 1977.
54. *Виноград Т.* Программа, понимающая естественный язык. М., 1976.
55. *Арзикулов Х. А., Пиотровский Р. Г., Попеску А. Н., Хажинская М. С.* Автоматизированная система тезаурусного аннотирования научно-технического документа.— НТИ, сер. 2, 1978, № 12.
56. *Шенк Р.* Обработка концептуальной информации. М., 1980, с. 7—10.
57. *Пиотровский Р. Г., Аникина Н. В., Аполлонская Т. А., Билан В. Н., Боркун М. Н., Лесохин М. М., Шингарева Е. А.* Формальное распознавание смысла текста.— В кн.: Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1980.
58. *Жидовинов А. Ф., Петров А. Н., Пиотровский Р. Г., Туркин В. Н., Чайковская И. И.* Моделирование процесса автоматического понимания речевых команд диспетчера в тренажере для УВД.— В кн.: Автоматическое распознавание слуховых образов: Тезисы XI Всесоюзной школы-семинара-АРСО-11. Ереван, 3—9 декабря 1980. Ереван, 1980, с. 378—381.
59. *Узнадзе Д. Н.* Экспериментальные основы психологии установки.— В кн.: Психологические исследования. М., 1966.
60. *Popper K., Eccles J. C.* The self and its brain. New York, 1977.
61. *Piotrowski R.* The linguistics of a text and machine translation.— American journal of computational linguistics, 1975, v. 12, № 3, p. 55.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

ДОМАШНЕВ А. И., ПОМАЗАН Н. Г.

К ПОНЯТИЮ «UMGANGSSPRACHE» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ШВЕЙЦАРИИ

(по поводу одной актуальной проблемы швейцарской германистики)

Изучение современного немецкого языка по линии описания лингвистической структуры его различных формаций или разновидностей, называемых обычно формами существования, или формами проявления, а также их функционального назначения позволяет обнаружить, что целый ряд вопросов не находит в германистике однозначной интерпретации. Особую актуальность приобретает сегодня проблематика статуса Umgangssprache, функционально относительно сильного, динамичного языкового типа, представляющего собой так называемые обиходно-разговорные формы языка, образующие переходные ступени от диалекта к литературному языку и являющиеся результатом их взаимодействия. Широкое обсуждение находит в настоящее время проблема сущностной характеристики феномена Umgangssprache. Дискуссионный характер носит понятие системности (Systemhaftigkeit) данной формы существования языка. Наряду с этим обращает на себя внимание тот факт, что среди лингвистов нет единства мнений по вопросам дифференциации конститутивных языковых единиц Umgangssprache в направлении от диалекта к литературному языку [1]. При этом следует подчеркнуть, что непременным условием исчерпывающего представления о состоянии изучаемого вопроса является учет специфики конкретной языковой ситуации в странах распространения современного немецкого языка: ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии,— которые он обслуживает в функции национального и государственного языка.

Сопоставление немецкого языка швейцарского ареала с собственно немецкой (ГДР, ФРГ) и австрийской частными системами позволяет обнаружить в социально-функциональном строении черту, существенным образом отличающую немецкоязычную Швейцарию от германского (ГДР, ФРГ) и австрийского ареалов и касающуюся прежде всего статуса Umgangssprache [2]. В немецкоязычной Швейцарии обращает на себя внимание отсутствие отдельной лингвистически выраженной системы между противопоставленными единицами иерархии: диалектом и литературным языком,— поскольку в функции Umgangssprache выступает здесь швейцарско-немецкий (алеманнский) диалект в несколько обобщенном виде — Schwyzerdütsch [3]. Уникальность национально детерминированного характера строения языка, обслуживающего германо-швейцарскую речевую общность, предопределена, безусловно, самобытностью лингвистического статуса диалектного уровня, представленного в данном регионе, как известно, алеманнскими диалектами.

Алеманнский диалект, являясь замкнутым лингвистическим образованием, функционирует в основном в рамках немецкоязычных кантонов

Швейцарии, благодаря чему он считается национальным (швейцарско-немецким) диалектом страны (Schweizerdeutsch, или Schwyzerdütsch)[1]. Среди других (немецких) однорангових диалектных реализаций, выявляемых на диалектном уровне общенемецкой «архисистемы»[2], швейцарско-немецкий выделяется уникальностью своих структурно-функциональных свойств. Так, в отличие от собственно немецкого (ГДР, ФРГ) ареала, диалектный уровень которого обнаруживает сложную совокупность большого числа диалектов, относящихся к разным диалектным группам (нижненемецкие, среднеемецкие, южнонемецкие группы, каждая из которых объединяет ряд крупных наречий и мелких диалектов), швейцарско-немецкий относится к гомогенному диалектному ареалу. За исключением базельского региона, представленного нижнеалеманнским, немецкоязычную Швейцарию обслуживает верхнеалеманнский диалект.

Система швейцарско-немецкого (алеманнского) диалекта, являясь своеобразным теоретическим построением при моделировании иерархии форм существования современного немецкого языка данного ареала, практически реализуется в виде частных диалектных систем, обнаруживающих определенную зональную соотнесенность. Исследователи выделяют в швейцарско-немецком диалекте двадцать поддиалектов (или подвариантов[3]) с соответствующей локальной (кантональной) закрепленностью: Baseldeutsch, Berndeutsch, Zürichdeutsch и др. [7, 8]. По своей лингвистической характеристике выделенные региональные швейцарские поддиалекты, в свою очередь, не представляют собой полного единства. Практически каждый из них включает в себя несколько частных разновидностей. Так, например, цюрихско-немецкий и люцернско-немецкий обнаруживают пять внутрикантональных подвариантов. Характерно, что их локальные различия не затрагивают существенных элементов структуры, а касаются прежде всего деталей [9—13].

В сложной макросистеме швейцарско-немецкого (алеманнского) диалекта органически слиты общие языковые элементы и местные (региональные) специфические особенности каждой из диалектных микросистем. Наибольшая общность и единство швейцарских поддиалектов проявляются в сфере грамматического строя. В совокупности свойственных поддиалектам дифференциальных черт, обнаруживающих себя на всех уровнях диалектной структуры, наиболее существенными являются различия фонетического, а также морфологического характера [14]. Бесспорно, однако, что общность основных элементов поддиалектов Schwyzerdütsch доминирует над свойственными диалектным микросистемам дифференциальными чертами. Выявляемые расхождения между ними не носят принципиального характера и по этой причине не приводят к нарушению процесса коммуникации. Взаимопонимание между носителями различных швейцарских поддиалектов осуществляется, как правило, беспрепятственно [15]. Это обстоятельство, безусловно, с самого начала исключало необходимость выработки переходных, сближающих языковых форм, что в особенности характерно для обиходно-разговорного языка (Umgangssprache) в пределах обеих германских государств — ГДР и ФРГ.

Высокая степень гомогенности диалектного уровня не могла, естест-

---

[1] Алеманнский диалект прослеживается также частично на юге Бадена и Вюртемберга (ФРГ), во французском департаменте Эльзас, в австрийской провинции Форарльберг, в княжестве Лихтенштейн и северном Пьемонте (Италия). В германистике собирательный термин «Schweizerdeutsch» закрепляется за швейцарско-немецким диалектом к середине XVIII в. [см. 4].

[2] Об «архисистеме» современного немецкого языка как совокупности частных систем: собственно немецкой (ГДР, ФРГ), австрийской, швейцарской см. [5].

[3] О диалектном «подварианте» см. [6].

венно, не сказаться на его социально-функциональном статусе в рамках швейцарско-немецкой речевой общности. Подобно другим диалектным образованиям немецкого и австрийского ареалов, швейцарские (алеманнские) поддиалекты выступают в немецкоязычных кантонах страны (каждый в своей зоне) прежде всего в функции так называемого «домашнего» или «семейного» языка (Haus-, Familiensprache). Характерно, что использование региональных поддиалектов (Baseldeutsch, Berndeutsch, Zürichdeutsch и др.) их носителями в этом качестве наблюдается как в сельской местности (Landmundart), так и в городах Швейцарии (Stadtmundart). Однако функциональные возможности швейцарско-немецкого диалекта далеко не ограничиваются рамками ситуаций непринужденно-бытового общения. Диапазон его функционирования расширяется за счет выполнения поддиалектами в несколько переоформленном обобщенном виде (Schwyzerdütsch) функции обиходно-разговорного языка (Umgangssprache) в пределах швейцарско-немецкой речевой общности. Характерно, что это своеобразное диалектное койне (Schweizerdeutsche Koine) обнаруживает здесь широту охвата всей социальной иерархии, поскольку диалект пользуется одинаковым престижем у различных общественных групп его носителей. Швейцарско-немецкое койне Schwyzerdütsch оформилось в общенациональный тип подлинного обиходно-разговорного языка — Verkehrssprache [16, 17]. Это обстоятельство, в свою очередь, позволяет национальному диалектному образованию швейцарского ареала участвовать в выполнении функций, которые традиционно не свойственны диалекту. Диалект — в своем обобщенном виде Schwyzerdütsch — характеризуется значительной экспансией в область общественных функций немецкого литературного языка.

Повышенная социально-функциональная значимость диалекта в данном языковом коллективе — по сравнению с немецким и австрийским ареалами — обеспечивается прежде всего его довольно существенной ролью при выполнении официально-деловых функций в политических и административных учреждениях страны. Наряду с литературным языком он выступает здесь как средство публичной речи [18]. Швейцарско-немецкий узус характеризуется частичным использованием диалекта и в сфере научной речи. Другой характерной его особенностью является функционирование в литературно-художественной речи[4]. Наряду с этим швейцарско-немецкому диалекту отводится определенная роль в театре и кино [21]. Такие средства массовой коммуникации, как радио и телевидение, обнаруживают в известной мере функциональное равновесие обеих форм проявления языка швейцарского узуса, т. е. литературного языка и швейцарского диалекта [22]. Швейцарско-немецкий диалект выступает также отчасти и в функции средства обучения в школах, гимназиях и университетах. Он используется частично и в качестве языка литургии, определенная роль отводится ему в частной переписке германо-швейцарцев [3, с. 349—350].

Подобная широта диапазона социально-функциональной значимости швейцарско-немецкого диалекта позволяет определить его как «культурный язык» («культурный диалект»), «культурный интердиалект», «полуязык» (ср. употребительные в германистике термины: «Kulturdialekt», «Ausbaudialekt», «Halbsprache» [23]).

Говоря о литературном языке в Швейцарии, завершающем иерархию используемых в рамках швейцарско-немецкого ареала языковых образований, следует заметить, что он, в свою очередь, обладает дифференциаль-

[4] О современных швейцарских писателях, пишущих на диалекте, и их произведениях см. [19, 20].

ными (швейцарскими) чертами, которые выявляются на всех системных уровнях. Характерно, что степень расхождения швейцарского варианта немецкого литературного языка (Schweizerhochdeutsch) с немецким литературным языком обоих германских государств — ГДР, ФРГ значительно выше, чем, например, австрийского [24].

Характеризуя национальную специфику функционального статуса немецкого литературного языка швейцарского узуса, необходимо подчеркнуть, что он локализуется преимущественно в сфере письменной коммуникации (Schriftsprache), в то время как в устной реализации предпочтение отдается диалекту. При этом обращает на себя внимание единодушие самих носителей диалекта в оценке литературного языка как формы существования языка в пределах швейцарско-немецкого ареала, которая функционально ограничена областью письменного применения и при употреблении в качестве обиходно-разговорного языка (Umgangssprache) несет на себе печать искусственности [3, с. 117, 364]. Характерно, что литературный язык усваивается говорящими на диалекте германо-швейцарцами (активно или пассивно) как некий второй вариант родного языка.

Анализируя национальную (швейцарскую) детерминированность основных форм существования немецкого языка в рамках германо-швейцарской речевой общности, проявляющуюся в их лингвистическом и социально-функциональном статусе, а также принципе взаимодействия в условиях языкового общения, следует подчеркнуть, что специфика этих отношений не является чем-то раз навсегда данным и определяется постепенно меняющимся характером отдельных форм существования языка, а также характером языковой ситуации данного ареала [2, с. 4]. Исследование швейцарского национального варианта современного немецкого языка по линии описания изменений в характере лингвистической структуры и функционального статуса его основных манифестаций позволяет обнаружить, что нижняя ступень языковой иерархии, представленная, как отмечалось, совокупностью однородных (алеманнских) швейцарско-немецких поддиалектов, переживает в настоящее время сложный многогранный процесс перестройки своей системы, в котором социально-лингвистические изменения — как в направлении конвергенции, так и дивергенции — составляют основное содержание [25, 26].

Вопрос сущностной характеристики Umgangssprache приобретает сегодня особую остроту. Мнения ученых относительно лингвистического феномена Umgangssprache диаметрально разделились. Так, с одной стороны, Р. Циммер склонен вычленить в структуре современного немецкого языка Швейцарии наддиалектное койне (supradialektale Koine) как сформировавшийся общий (единый) обиходно-разговорный язык, базирующийся на местных (зональных) диалектах («eine auf Dialekten beruhende mündliche Koine») и служащий языком-посредником в акте коммуникации между носителями различных швейцарско-немецких поддиалектов [27]. С другой стороны, В. Хаас, полемизируя с. Р. Циммером, рассматривающим обиходно-разговорный язык как автономную подсистему в структуре немецкого языка Швейцарии, решительно выступает против попыток выделения здесь каких-либо «переходных» формаций языка (обиходно-разговорных типов языка), располагающихся между двумя полюсами: литературным языком и диалектом [ср.: «...для немецкоязычной Швейцарии не характерен тот постепенный переход от собственно диалекта к литературному (стандартному) языку, который представлен определенными формами южнонемецкого типа обиходно-разговорной речи...»] (разрядка наша.— *Д. А., П. Н.*) [28].

На наш взгляд, представляется уместным возразить против таких

достаточно категоричных оценок по отношению к обиходно-разговорным типам речи (Umgangssprache) в швейцарско-немецком ареале, высказанных лингвистами Р. Циммером и В. Хаасом в ходе развернувшейся дискуссии вокруг статуса релевантного качества «переходных» языковых форм, определяющих собственно структурную часть Umgangssprache (фонетику, грамматику). Говоря о национальной специфике структуры современного немецкого языка в Швейцарии, мы, не разделяя мнения В. Хааса, должны подчеркнуть, что противопоставление «язык — диалект» не охватывает всех типов реально функционирующих форм языка, обслуживающего данный «коллектив сношений». Материалы новейших исследований, направленные на изучение территориального и социально-функционального аспектов швейцарско-немецких поддиалектов, позволяют утверждать, что на вертикальной (социальной) оси членения между «языком» и «диалектом» начинают приобретать достаточно ощутимый рельеф также и другие промежуточные («переходные») типы речи, которые в большей или меньшей степени тяготеют либо к диалекту — Schwyzerdütsch, либо к литературному языку (ср. высказанное на этот счет мнение Р. Хиндерлинга: «Между „чистым" диалектом и „чистым" литературным языком прослеживается также и в Швейцарии множество переходных ступеней, которые... заслуживают более пристального изучения» (разрядка наша.— *Д. А., П. Н.*) [29]. Одновременно, не разделяя и точку зрения Р. Циммера о наличии и в немецкоязычной Швейцарии автономной общей формы обиходно-разговорного языка, мы считаем необходимым отметить, что известная иерархия структурно-функциональных свойств, проявляющаяся в диалектном ландшафте швейцарско-немецкого ареала, едва ли представляет собой в настоящий момент сложившуюся замкнутую систему и едва ли эта ступень может оцениваться как функциональный слой в ранге Umgangssprache. В рамках германо-швейцарской речевой общности единый надтерриториальный обиходно-разговорный язык представляется скорее определенно наметившейся тенденцией, или, говоря словами В. М. Жирмунского, сказанными им по другому поводу, «идеальным предельным понятием, чем осуществленной действительностью» [30].

Характеризуя процесс перестройки швейцарско-немецкой диалектной системы, следует отметить, что сегодня все более отчетливо заявляет о себе ослабление гомогенности структуры Umgangssprache по линии вертикальной дифференциации его конститутивных языковых единиц в направлении от диалекта к литературному языку. Подобная иерархия языковых форм проявляется прежде всего в процессе достаточно интенсивного выделения в кантональных диалектных микросистемах (т. е. поддиалектах) городских и сельских реализаций: Stadtmundart — Landmundart. Характерно, что отношения этих диалектных разновидностей осмысливаются их носителями не как паритетные в социальном аспекте, что имело место ранее (ср. противопоставление диалекта села диалекту города: «Bäurisch»— «Herrendeutsch») [5]. Нередко при изменении в социальной ситуации — по соображениям престижного порядка — носитель сельской реализации диалекта вынужден переключаться на городской диалект [32, с. 53]. Практически каждый диалектный регион (цюрихский, бернский, базельский и т. д.) обнаруживает субординативное распределение городских и сельских разновидностей швейцарско-немецких поддиалектов. Диалект села, теряя постепенно социальную престижность, оказывается нередко

[5] Характеризуя особенности фонетического «закона Штауба» в швейцарско-немецком диалекте на примерах типа: *fünf — finster* ([f͡ʊf : föif]; [fi͡ʊter : feiʊter]), И. Верлен отмечает, что дифтонгированные формы представлены в сельских диалектах, в то время как словоформы с долгим гласным типичны для диалектов города [31].

в функциональном отношении ограниченным узкобытовой сферой общения, тогда как городская разновидность диалекта сохраняет право на функциональную универсальность [3, с. 95, 195] [6]. Заметное снижение престижности сельских разновидностей швейцарско-немецких поддиалектов, бесспорно, обусловливается тем социально-экономическим фактом, что в стране достаточно резко уменьшается численность относительно стабильного сельского населения. Так, согласно данным, приведенным Р. Штифелем, в Швейцарии число жителей, постоянно проживающих в сельской местности, составляет всего восемь процентов, в кантоне Цюрих — четыре процента [34, с. 10].

Вместе с тем обращает на себя внимание известное перераспределение границ регионов, в рамках которых использовались традиционно выделяемые швейцарские поддиалекты. Тезис «каждому кантону свой диалект», отражающий четкую локальную (кантональную) соотнесенность каждой из диалектных микросистем и имеющий многовековую традицию, не соответствует реальной языковой действительности. Поддиалекты ведущих в социально-экономическом, политическом и культурном отношении кантонов (Базель, Берн и, прежде всего, Цюрих) как бы функционально подчиняют более широкие регионы, выходящие далеко за пределы кантональных границ, что обусловливает, в свою очередь, диффузность диалектного ландшафта. Цюрихско-немецкий поддиалект, например, занимающий ведущее положение по числу говорящих на нем, функционирует в настоящее время помимо кантона Цюрих во всей северо-восточной части страны, а на западе граница его обслуживания доходит до Ольтена и Золотурна [32, с. 54].

Подобная перестройка региональных позиций разновидностей швейцарско-немецкого диалекта, увеличивающая или соответственно уменьшающая число носителей того или иного поддиалекта, обусловливает своего рода «переоценку ценностей», прослеживаемую в отношениях между поддиалектами на шкале престижности, что в свою очередь порождает актуальность оппозиций: «активные» — «пассивные» диалекты [35]. Одни из них (прежде всего так называемые реликтовые) предстают сегодня в оценке их носителей непрестижными, «ущербными», не способствующими социальному успеху, другие (бернско-немецкий, цюрихско-немецкий) приобретают высокий авторитет. Так, сельский житель кантона Берн при установлении социального контакта с представителями города должен переключаться с родного (сельского) диалекта на бернский городской диалект (Stadtberndeutsch). Однако в условиях кантона Цюрих его городской бернско-немецкий диалект может оказаться барьером для социального успеха. Здесь обязателен для этого переход на цюрихско-немецкий городской диалект (Stadtzürichdeutsch), находящийся сегодня среди прочих швейцарских диалектов на верхней ступени в иерархическом ряду престижности [7].

Выход за традиционные кантональные рамки функционирования швейцарских поддиалектов не может, естественно, не сказаться на структурной характеристике последних. Характерно, что процесс нивелировки диалектных структур осуществляется в направлении сближения с литературным языком, чему способствует — помимо экстралингвистических

---

[6] Любопытно отметить, что диалектные программы, транслируемые по национальному радио и телевидению, построены исключительно на городской разновидности швейцарско-немецких диалектов [33, с. 169—170].

[7] Любопытно сравнить в этом отношении высказывание носителей горно-алеманнского диалекта Wallisertitsch, испытывающих «комплекс неполноценности» в общении с коммуникантами других швейцарских регионов, родной диалект которых представляется им более престижным [36].

факторов — собственно лингвистическое обстоятельство: обе основные языковые формы (швейцарский диалект и литературный язык) при всем своем качественном своеобразии являются разновидностями одного и того же языка, находящимися в условиях взаимодополнения, подчиняются общим закономерностям в своем функционировании и развитии. В результате взаимодействия и взаимопроникновения диалекта и литературного языка происходит формирование так называемых диалектов выравнивания («Ausgleichsmundarten» [32, с. 169—170]), т. е. собственно надтерриториальных образований. Возникающие «выравненные» диалекты обнаруживают более или менее последовательное устранение примарных (значительных) отклонений от норм немецкого литературного языка, осуществляющееся с разной степенью интенсивности во всех сферах диалектной системы. В области фонетики, например, проявляются преобразования отдельных фонем: *hööch* → *hooch*, *Chalhoof* → *Keelhoof*, *scheen* → *schöön*; в области морфологии *ich will frööge* → *ich wiirde frööge*, *zwee Mane*, *zwoo Fraue*, *zwai Chind* → *zwai Mane*, *Fraue*, *Chind*; в области синтаксиса показательно в этом отношении проникновение подчинительных союзов, например: *Der dritte Punkt besteit darinne, daß mir no ne Apäll wett lo ergoo, wüll nun bruucht um dä Wonigsbou z fördere und vo däne Akzioone Gebruuch z mache*; о пронизывании элементами немецкого литературного языка свидетельствует преимущественное употребление таких лексем, как *sofort* вместо диалектных *grad*, *uf der Stell*, *staregangs*, *stantepeedi*; *imer* вместо *äisig*, *äisder*, *aliwyl*, *an äinem furt*; *seer* вместо *fescht*, *starch*, *raas* и др. [25, с. 191—214; 3, с. 67—68].

Наряду с этим структура «выравненных» диалектов позволяет выявить в них преобладание элементов преимущественно центрально-городской (диалектной) ориентации. Релевантным сигналом подобного языкового расслоения служит прежде всего вокалическая система. Так, в рамках кантона Берн престижность закрепляется за словоупотреблениями типа *breit*, *Boum*, *Hüüsli* (вместо прежних словоформ *breet*, *Boom*, *Hiisli*); в кантоне Базель, например, словоформы *Baim*, *glligglig*, *steere* уступают место более престижным словоформам *Beum*, *glügglig*, *störe* [34, с. 9—10, 37].

Характерно, что в процессе контактирования швейцарско-немецких поддиалектов отдельные воспринимающие подсистемы проявляют, в известной степени, сопротивляемость, которая понимается как способность сохранять свои узколокальные элементы, модели, тенденции развития[8]. Так, реализация сонорного звука *l* как [U], распространившаяся в свое время из сельской разновидности бернско-немецкого, закрепляется в городском бернско-немецком диалекте в случаях удвоения *l*, в ауслауте, либо в позиции перед согласным звуком и распространяется в рамках всего кантона Берн как нормативно-престижное употребление, например: *Stewwe*, *awt*, *view* (вместо *Stelle*, *alt*, *viel*). Любопытной в этом отношении представляется также тенденция к замене долгих гласных [a:], [ɛ:] корня краткими [a], [ɛ] в словоформах типа: *Naase*, *Pfaarer*, *Graabe*, *Lääbe*, *Stääge*, что актуально сегодня — помимо региона Винтертур — в пределах функционирования цюрихско-немецкого диалекта [34, с. 9]. Обращает на себя внимание тот факт, что высокая степень сопротивляемости отдельных воспринимающих диалектных подсистем способствует сохранению в лингвистических характеристиках последних достаточного числа существенных узколокальных черт, затрудняющих акт коммуникации носителей разных швейцарско-немецких поддиалектов (это касается прежде всего диалектов

---

[8] О специфике отношений между диалектами одного языка (или близкородственных языков) см. [38].

разных пространственных координат в пределах немецкоязычной Швейцарии [39]).

Бесспорно, подобное проявление сопротивления диалектной системы в акте контактирования швейцарско-немецких поддиалектов, каждый из которых в определенных условиях может выступать либо как воспринимающая, либо как воспринимаемая микросистема, поддерживается, в известной мере, системностью структуры алеманнского диалекта и присущими ему закономерностями внутреннего развития. Ср., например, употребление словоформы *frööge*, ставшей узуальной в рамках функционирования цюрихско-немецкого поддиалекта, в то время как исконная (цюрихско-немецкая) лексема *fraage*, близкая по своей структуре литературной *fragen*, утрачивает свое релевантное качество [16, с. 97—98].

Характеризуя масштабность процесса выравнивания швейцарско-немецких поддиалектов, следует подчеркнуть, что в пределах немецкоязычных кантонов Швейцарии сегодня практически не существует так называемых «чистых», «классических» диалектов. Их лингвистические характеристики, зафиксированные языковедами в специальных грамматиках, лексикографических справочниках, словарях, безусловно, оцениваются как существенный вклад в документальный историко-культурный фонд швейцарской нации [9—13].

Говоря о возникающих «выравненных» диалектах преимущественно центрально-городской ориентации, отстоящих на один порядок от узколокальных (местных) диалектов, необходимо отметить, что их структура начинает обнаруживать в наши дни определенную тенденцию к унификации их лингвистических свойств. Подобные городские диалектные феномены, вобравшие в себя отдельные узкорегиональные черты диалектных разновидностей сельской округи, приобретают сейчас в пределах своего кантона (а иногда и вне его границ — это касается прежде всего цюрихско-немецкого) статус наддиалектного койне (Verkehrssprache) [32, с. 54]. Наряду с этим в структуре «выравненных» диалектов обращает на себя внимание вертикальная (социальная) иерархия языковых (диалектных) форм в направлении от диалекта к литературному языку. Среди них особо выделяются городские диалектные агломерации, которые обнаруживают расслоение по социальным ступеням. С одной стороны, здесь прослеживаются обиходно-разговорные типы речи, базирующиеся на диалектной основе и обслуживающие более низкие в социальном отношении группы («eine gefühlsbetonte niedere Verkehrssprache»): в Цюрихе диалектный сленг города носит название «Limmatblütendeutsch», в Берне — «Mattenenglisch» или «Mattenberndeutsch», в Базеле — «Höschsprache». С другой стороны, в структуре «выравненных» диалектов выделяется ступень обиходно-разговорного (диалектного по своей сути) языка, обслуживающего социальные группы более высокого положения в обществе: в Берне — «Patrizierdeutsch», или «Sprache der Altberner», в Базеле — «Dalbe-Baseldytsch» или «Dalbanesisch» [40—43].

Наряду с этим в обиходно-разговорной формации швейцарско-немецкого ареала манифестируется сегодня вполне определенно ее высшая ступень членения (ср.: «hochsprachnahe Mundart» [44]), характерной чертой которой является большая близость в лексико-грамматическом плане с феноменом высшего порядка, литературным языком, при сохранении сильной зависимости в фонетическом отношении от низшего феномена, диалектной базы [9]. Любопытными в этой связи представляются наблюдения

[9] Ср., например, приведенные В. Шенкером и Р. Кюнцли фрагменты на цюрихско-немецкой и санкт-галленской диалектных основах, убедительно свидетельствующие о том, что в них литературная субстанция идет в диалектной экспликации: [16, с. 98—99; 17, с. 387].

Э. Штрюбина, который показывает, насколько далеко этот тип «переходной» (от диалекта к литературному языку) формации отстоит в своем собственно структурном плане от диалектной основы, и поэтому называет его образно «квазидиалект». В качестве иллюстраций, свидетельствующих о переинтеграции в диалект литературной субстанции цитатного характера, Э. Штрюбин приводит следующие примеры: *Das lyt mer fern* («das liegt mir fern»); *uf d Gfohr hi, mißverstande z wärde* («auf die Gefahr hin, mißverstanden zu werden»); *öppis in Betracht zie* («etw. in Betracht ziehen») и др. [45].

Высшая ступень членения обиходно-разговорной формации, переживающая сегодня процесс становления, получает наименование «hochdeutsch gefärbte höhere Verkehrssprache (Bildungssprache)» [45, с. 97—145; 26, с. 30—31]. Пользуясь терминологическим аппаратом П. Кречмера и В. М. Жирмунского, этот языковой феномен можно интерпретировать как «обиходно-разговорный язык образованных» в его швейцарской (алеманнской) окрашенности [46, 47]. Характерно, что за данной ступенью обиходно-разговорной формации («höhere Verkehrssprache»), тесно соприкасающейся с нижним уровнем немецкого литературного языка, закрепляется в рамках швейцарско-немецкой речевой общности частичное обслуживание социально-общественной сферы при выполнении официально-деловых, производственных функций, как средства публичной научной, литературно-художественной речи (наряду с функционированием здесь и немецкого литературного языка — Schweizerhochdeutsch [26, с. 30].

Характеризуя процесс расслоения структуры собственно надтерриториально-диалектных образований (Ausgleichsmundarten) и выделения в них разноранговых «переходных» единиц в их иерархической последовательности, следует подчеркнуть, что языковые феномены наддиалектного типа (Verkehrssprache), бытующие в крупных швейцарских городских центрах (Цюрихе, Базеле, Берне и др.) и заметно распространяющие свое влияние как в рамках кантональных границ, так и за их пределами, обнаруживают родство отдельных существенных моментов своих лингвистических характеристик [48]. Это обстоятельство, безусловно, является серьезной предпосылкой формирования единого, надтерриториального — в пределах швейцарско-немецкой речевой общности — обиходно-разговорного типа речи. Наблюдения некоторых лингвистов в этом направлении (П. Цинсли, С. Зондерэггер, Р. Шварценбах, Р. Рис, Э. Штрюбин) позволяют утверждать, что немецкоязычная Швейцария характеризуется сегодня определенно наметившейся тенденцией к становлению единого общенационального типа обиходно-разговорного языка [49, 50, 3, 32, 45]. Безусловно, первостепенная роль в процессе зарождения Umgangssprache, этой особо лингвистически выраженной формы проявления языка в швейцарско-немецком узусе, должна принадлежать диалектным разновидностям, функционирующим в ведущих кантональных центрах (Цюрихе, Берне, Базеле). Бесспорно, не лишено оснований предположение Р. Риса, что единый надтерриториальный общенациональный тип подлинного обиходно-разговорного языка будет обнаруживать выраженную цюрихско-немецкую ориентацию («Einheitsschweizerdeutsch vorwiegend zürichdeutscher Prägung») [32, с. 60]. В связи с этим следует подчеркнуть, что цюрихско-немецкий (Zürichdeutsch), находящийся на самой высокой ступени социальной престижности во всем алеманнском диалектном «калейдоскопе» и занимающий сегодня ведущее положение в переоформлении локальных поддиалектов, претендует на право выступать в рамках немецкой речевой общности Швейцарии в качестве общенациональной и социальной нормы. Подобное выдвижение цюрихско-немецкого диалекта как

интегрирующего центра для данной языковой территории объясняется прежде всего существенными обстоятельствами экстралингвистического характера. Как известно, Цюриху, одному из крупнейших центров Швейцарии, всегда принадлежала ведущая роль в политической, социально-экономической и культурной жизни страны. Что касается лингвистического статуса цюрихско-немецкого диалекта, то необходимо отметить, что он постоянно встречается с другими диалектными феноменами различной локальной соотнесенности. В результате процесса «сглаживания» их лингвистических характеристик (по этой причине Цюрих иногда образно называют «плавильным котлом», «Schmelztiegel» [33, с. 169]) рождается своего рода «выравненная» надтерриториально-диалектная форма, органично объединяющая в себе общность структурных свойств, а также отдельные узкорегиональные моменты диалектных микросистем, сохраняющая при этом цюрихскую окрашенность и служащая — благодаря приобретению признака экстерриториальности — целям межрегионального общения коммуникантов. Любопытно, что большинство носителей швейцарско-немецких поддиалектов склонны закрепить за цюрихско-немецким статус койне, стандартного (образцового) типа обиходно-разговорного языка («Normalschweizerdeutsch») в рамках немецкоязычной Швейцарии [32, с. 55—56].

По характеру лингвистических свойств Umgangssprache в данном национальном ареале — подобно обиходно-разговорному языку в рамках собственно немецкого (ГДР, ФРГ) и австрийского ареалов — по всей вероятности, будет представлять собой специальную языковую подсистему, опирающуюся на основные формы языковой системы, а не простую комбинацию системных признаков диалектов и литературного языка [10].

Подводя некоторый итог, следует подчеркнуть, что широко и остро дискутируемый вопрос формирования единого национально ориентированного надтерриториального (в рамках немецкоязычной Швейцарии) типа обиходно-разговорного языка (Umgangssprache), будучи включенным в круг проблем швейцарско-немецкой культуры речи, становится сегодня частью национального вопроса. Необходимо воздать должное швейцарским лингвистам, которые прилагают немало усилий в решении задач языкового строительства. Так, с целью содействия языковому воспитанию и популяризации цюрихско-немецкого диалекта среди германо-швейцарцев, за которым, как отмечалось, закрепляется ведущая роль в процессе формирования лингвистического феномена «Umgangssprache» в рамках немецкоязычных кантонов страны, руководителями лингвистического союза «Bund Schwyzerdütsch» организуются в настоящее время регулярные курсы по изучению цюрихско-немецкого («zürchere Umgangssprache»). В перспективе — с целью более широкого охвата аудитории, в том числе и иностранцев, проживающих в стране,— планируется осуществление этого учебного цикла по национальному радио и телевидению. Примечательно, что требование интенсификации культурно-речевой деятельности как по линии культуры речи на диалекте (Schwyzerdütsch), так и на немецком литературном языке швейцарской реализации (Schweizerhochdeutsch)], выдвинутое швейцарскими лингвистами, находит широкую поддержку среди писателей, деятелей культуры и просвещения Швейцарии. Все они, считая себя призванными проводить всесторонние языковые наблюдения, содействовать языковому воспитанию и оказывать влияние на дальнейшее развитие языка, отдают себе отчет в том, что им предстоит

---

[10] О точках зрения относительно лингвистического характера обиходно-разговорного языка применительно к германскому (ГДР, ФРГ) ареалу см. [51—53].

еще сделать многое в области культуры речи, и осознают необходимость выполнения этой задачи [11].

Оценивая общее состояние швейцарской германистики в разработке проблемы сущностной и терминологической интерпретации структуры швейцарско-немецкой речи, мы считаем необходимым подчеркнуть, что она переживает в этом отношении период важных теоретических обобщений и конструктивных усилий, направленных на адекватное описание современного языкового состояния, характерного для немецкоязычной Швейцарии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Bichel U.* Problem und Begriff der Umgangssprache in der germanistischen Forschung. Tübingen, 1973.
2. *Домашнев А. И.* О границах литературного и национального языка.— ВЯ, 1978, № 2.
3. *Schwarzenbach R.* Die Stellung der Mundart in der deutschsprachigen Schweiz. Frauenfeld, 1969.
4. *Trümpy H.* Schweizerdeutsche Sprache und Literatur im XVIII. und XIX. Jahrhundert. Basel. 1955, S. 23—25.
5. *Домашнев А. И.* О некоторых чертах национального варианта литературного языка (к характеристике национальных вариантов современного немецкого литературного языка).— ВЯ, 1969, № 2.
6. *Баранникова Л. И.* О внутреннем (диалектном) членении языка.— В кн.: Язык и общество. Саратов, 1967, с. 12.
7. Sprachatlas der deutschen Schweiz, Begründet von H. Baumgartner und R. Hotzenköcherle. Hrsg. von Hotzenköcherle R. Bd. I—IV. Bern, 1962—1975.
8. Schweizer Dialekte. Zwanzig deutschschweizerische Mundarten, porträtiert von Kennern und Liebhabern. Mit einem Nachwort von Trüb R. Eingeleitet und hrsg. von Christ R. B. Basel — Stuttgart, 1965.
9. *Weber A.* Zürichdeutsche Grammatik. 2. Aufl. Zürich, 1964.
10. *Fischer L.* Luzerndeutsche Grammatik. Zürich, 1960.
11. *Bossard H., Dalcher P.* Zuger Mundartbuch. Grammatik und Wörterverzeichnisse. Zürich, 1962.
12. *Schäuffele F.* Hoch- und Schweizerdeutsch.— Der Sprachdienst, 1972, Hf. 8.
13. *Suter R.* Baseldeutsch-Grammatik. Basel, 1976.
14. *Brunner R.* Unsere Heimatsprache auf dem Grammaphon. Zürich, 1958, S. 15.
15. *Glinz H.* Gegenwartssprache, linguistisch-literarische Methodenlehre und Sprachtheorie im Grundstudium der Germanistik.— In: Festschrift für H. Moser zum 60 Geburgstag. Hrsg. von Engel U., Grebe P. und Rupp H. Düsseldorf, 1969, S. 104.
16. *Schenker W.* Schweizerdeutsch als Modell.— Wirkendes Wort, 1973, Hf. 2.
17. *Künzli R. E.* Mundart und Schriftsprache: Der Schweizer und das Schweizerdeutsch.— Muttersprache, 1976, Hf. 5.
18. *Zinsli P.* Hochsprache und Mundarten in der deutschen Schweiz.— Der Deutschunterricht, 1956, Hf. 2.
19. Bestand und Versuch. Schweizer Schriftsteller der Gegenwart. Hrsg. Mariacher B. und Witz F. Zürich — Stuttgart, 1964.
20. Gut zum Druck. Literatur der Schweiz seit 1964 (97 Schriftsteller der deutschen Schweiz). Hrsg. von Fringeli D. Zürich — München, 1972.
21. *Brock-Sulzer E.* Das deutschschweizerische Theater der Gegenwart.— German life and letters, 1958, № 1.
22. *Teucher E.* Die Mundart und das Radio.— Sprachspiegel, 1972, Hf. 4.
23. *Kloss H.* Abstandsprachen und Ausbausprachen.— In: Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976, S. 314—315.
24. *Moser H.* Neuere und neueste Zeit, Von den 80-er Jahren des XIX. Jahrhunderts zur Gegenwart.— In: Deutsche Wortgeschichte. Hrsg. von Maurer F. und Stroh F. Bd. II. Berlin, 1959, S. 524.
25. *Wolfensberger H.* Mundartwandel im XX. Jahrhundert. Frauenfeld, 1967.
26. *Kurman H.*— Sprachspiegel, 1978, Hf. 1, S. 30—31.— Рец. на кн.: *Strübin E.* Zur deutschschweizerischen Umgangssprache. Schweizer Archiv für Volkskunde, 1976, Hf. 3—4.
27. *Zimmer R.* Dialekt — Nationaldialekt — Standardsprache. Vergleichende Betrachtungen zum deutsch-französischen Kontaktbereich in der Schweiz, im Elsaß und in Luxemburg.— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1977, Hf. 2, S. 145—148.

[11] Подробнее о специфике культуры речи в Швейцарии см. [54].

28. *Haas W.* Wider den Nationaldialekt. Bemerkungen eines Schweizers zu Rudolf Zimmer: «Dialekt — Nationaldialekt — Standardsprache».— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1978, Hf. 1, S. 62—67.
29. *Hinderling R.*— Zeitschrift für deutsche Philologie, 1965, Bd. 84, Hf. 3, S. 447.— Рец. на кн.: *Weber A.*, Bächtold J. M. Zürichdeutsches Wörterbuch für Schule und Haus. Zürich, 1961.
30. *Жирмунский В. М.* Марксизм и социальная лингвистика.— В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969, с. 21.
31. *Werlen I.* Das «Staubsche Gesetz» im Schweizerdeutschen.— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1977, Hf. 3.
32. *Ris R.* Dialekte und Sprachbarrieren aus schweizerischer Sicht.— In: Dialekt als Sprachbarriere? Ergebnisbericht einer Tagung zur alemannischen Dialektforschung. Tübingen, 1973.
33. *Pichard A.* Schweizerdeutsch ist nicht Zürichdeutsch, oder wie ein Welschschweizer die sprachliche Lage der deutschen Schweiz sieht.— Sprachspiegel, 1975, Hf. 6.
34. *Stiefel R.* Sprachpflege der deutschen Schweiz. Bisherige Leistungen, neue Pläne und ihre Realisierbarkeit. Aarau, 1971.
35. *Gabriel E.*— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1976, Hf. 2, S. 207—209.— Рец. на кн.: *Schwarzenbach R.* Die Stellung der Mundart in der deutschsprachigen Schweiz. Frauenfeld, 1969.
36. *Biffiger K.* Wallisertisch. — In: Schweizer Dialekte. Basel — Stuttgart, 1965, S. 166.
37. Warum im Dialekt? Interviews mit zeitgenössischen Autoren. Hrsg. von Baur G. W. und Fluck H.— R. Bern — München, 1976, S. 24.
38. *Назарова Т. В.* Из наблюдений над междиалектными контактами (к понятию сопротивления системы).— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1975.
39. SDS-Phonogramme. Begleittexte zu den Tonaufnahmen für das Sprachatlas der deutschen Schweiz in vier Heften. Hrsg. von Phonogrammarchiv der Universität Zürich, bearbeitet von Hotzenköcherle R. und Brunner R. Bern, 1972, 1974, 1975, 1976.
40. *Greyerz O.*, von. Das Berner Mattenenglisch.— Schweizer Archiv für Volkskunde, 1929, Hf. 1—4.
41. *Baumgartner H.* Stadtmundart, Stadt- und Landmundart. Bern, 1940.
42. *Sommer H.* Bärndütsch.— Sprachspiegel, 1962, Hf. 5.
43. *Herdi F.* Limmatblüten und Limmatfalter in einem Band. Aus dem Wortschatz der fünften Landessprache. Zürich, 1966.
44. *Zinsli P.* «Bündner Deutsch» Werden und Wandel. Bern, 1976.
45. *Sträbin E.* Zur deutschschweizerischen Umgangssprache.— Schweizer Archiv für Volkskunde, 1976, Hf. 3—4.
46. *Kretschmer P.* Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918.
47. *Жирмунский В. М.* Проблемы социальной дифференциации языков.— В кн.: *Жирмунский В. М.* Общее и германское языкознание. Л., 1976, с. 386—400.
48. *Кузьмич Н. Г.* О лингвистических центрах в швейцарско-немецком (диалекты Цюриха и Берна).— В кн.: Романо-германские языки и диалекты единого ареала. Л., 1977.
49. *Zinsli P.* Vom Werden und Wesen der mehrsprachigen Schweiz. Bern. 1964.
50. *Sonderegger S.* Ein Jahrtausend Geschichte der deutschen Sprache in der Schweiz.— In: Sprache, Sprachgeschichte, Sprachpflege in der deutschen Schweiz. Zürich, 1964.
51. *Große R.* Zum Verhältnis landschaftlicher und gemeinsprachlicher Umgangssprache.— В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М., 1969.
52. *Семенюк Н. Н.* Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка. М., 1972, с. 71.
53. *Домашнев А. И.* Некоторые проблемы социолингвистической и функциональной стратификации современного немецкого языка.— В кн.: Теория языка и инженерная лингвистика. Л., 1973, с. 58—59.
54. *Домашнев А. И.*, *Помазан Н. Г.* Проблемы немецко-швейцарской культуры речи.— В кн.: Романо-германские языки и диалекты единого ареала. Л., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

ВИСКОВИЧ К. С.

О ТЕРМИНАХ «ПРАГМАЛИНГВИСТИКА» И «ДИДАКТОЛИНГВИСТИКА»

В статье О. С. Ахмановой и И. М. Магидовой «Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика» (ВЯ, 1978, № 3) рассматривается исключительно важная проблема, связанная с принципиальными вопросами современной лингвистической терминологии. Речь идет о различном смысле, вкладываемом советскими и некоторыми западноевропейскими учеными в термин «прагмалингвистика». В советской науке термином «прагмалингвистика» обозначается научная дисциплина, которая, по Л. А. Киселевой, занимается изучением воздействия говорящих друг на друга в процессе коммуникации [1]. В отличие от этого авторами указанной статьи прагмалингвистика определяется как наука об особом функциональном стиле языка, которая призвана изучать формы речи, составляющие основу обучения языку. В зарубежной литературе в последнее время распространилось употребление этого термина для обозначения науки о языке вообще. В этой связи авторы указанной выше статьи обращают внимание на следующее положение, содержащееся в проспекте, выпущенном издательством «North Holland Publishing Company»: «Лингвистическая прагматика оказалась в состоянии сформулировать целый ряд вопросов, являющихся существенными для понимания языка как главного средства естественного и общественного взаимодействия людей» [2, с. 44]. Из этого вытекает, что лингвистическая прагматика неправомерно уравнивается с лингвистикой вообще: общеизвестно, что вопросы изучения языка как средства общения между людьми представляют собой объект лингвистики как науки. Поэтому совершенно правильно положение авторов статьи о том, что «если речь идет лишь о том, чтобы термином „прагмалингвистика“ еще раз обозначить язык о з н а н и е в п о д л и н н о м с м ы с л е слова, наше отношение к этому не может не быть резко отрицательным» [2, с. 45].

Понятие лингвистической прагматики как дисциплины, занимающейся языковыми основами обучения речи, подразумевает оптимизацию явлений изучаемого языка с целью рационализации процесса обучения ему. Авторами статьи правильно указано и на то, что традиционная классификация языковых стилей «не учитывает того в а ж н е й ш е г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о с т и л я, к о т о р ы й я в л я е т с я о с н о в н ы м д л я в с е й м н о г о м и л л и о н н о й а р м и и о б у ч а ю щ и х с я я з ы к а м, в к л ю ч а я р о д н ы е» [2, с. 45]. Следовательно, с точки зрения предмета исследования, термин «прагмалингвистика», как утверждают авторы статьи, «мог бы оказаться весьма подходящим (конечно, можно было бы избрать и другой термин) для того, ч т о б ы о б р а т и т ь в н и м а н и е н а о д и н и з р а з д е л о в н а ш е й н а у к и, в о о б щ е д о с и х п о р о с т а в а в ш и й с я н е з а м е ч е н н ы м и н е н а ш е д ш и й о т р а ж е н и я н и в о д н о й и з м н о г о о б р а з н ы х и р а з н о о б р а з н ы х с т а р ы х и но-

вых „лингвистик“» [2, с. 45]. Указанное положение мы принимаем целиком. Однако нам представляется, что оно оставляет возможность для его более тщательной разработки. Здесь существенно важными являются три вопроса: 1) Отражает ли термин, обозначающий определенную науку (в данном случае речь идет о термине «прагмалингвистика»), онтологию и методику исследования, свойственную только этой науке? Из изложенного выше явствует, что «прагмалингвистика» в понимании западных ученых не обладает специфической, отличающейся от лингвистической, онтологией и методикой исследования; 2) Допустимо ли использование двух названий для одной и той же науки? Думается, что не допустимо; 3) Не лучше ли, во избежание терминологических недоразумений, ввести новый, отличающийся от терминов «лингвистика» и «прагмалингвистика» термин, обозначающий научную дисциплину, занимающуюся функциональным стилем языка, применяемым в учебном процессе в виде микроязыка учебников и дидактической речи? Для обозначения такой научной дисциплины мы предлагаем термин «дидактолингвистика» [3], совпадающий по смыслу с тем значением термина «прагмалингвистика», который в него вкладывают О. С. Ахманова и И. М. Магидова в указанной статье.

Исходным положением, легшим в основу определения дидактолингвистики как отдельной научной дисциплины, нужно считать следующее: возможно более тесное взаимодействие диадактического и лингвистического аспектов в изучении преподаваемого языка и максимальное повышение точности в изучении качественных и количественных свойств микро- и метаязыка учебников и учебных пособий.

Дидактолингвистическое сопоставление микросистем изучаемого и родного языков учащихся не ограничивается простой констатацией наличия или отсутствия тех или иных явлений. Оно представляет собой основу лингвистической и дидактической классификации явлений изучаемого языка по степени их дидактической релевантности и коммуникативной функциональности. Все это дает право говорить об отдельном предмете и в связи с этим об особом методе исследования, свойственном предмету дидактолингвистики. В рамки предмета и проблем исследования дидактолингвистики входят следующие вопросы: 1) основания минимизации языкового материала иностранного языка с точки зрения родного языка учащихся, а также отбор необходимых лингвистических сведений об изучаемом языке; 2) характеристика содержащихся в языковом материале явлений по отношению к соответствующим явлениям родного языка в аспекте дидактической значимости их родственности — неродственности; 3) особенности правил изучаемого языка по отношению к соответствующим правилам в родном языке с точки зрения рациональности их использования как средств обучения; 4) свойства языковых знаков и явлений изучаемого языка с точки зрения возможности «подключения» к ним экстралингвистических средств обучения; 5) изучение интерференции в речи учащихся, в зависимости от микроязыка учебника, служащего одной из материальных основ для выявления дидактической значимости языковых явлений; 6) вопрос об использовании данных лингвистической статистики в познавательных операциях с целью формирования микроязыка учебника, определения в нем тематической или текстуальной частотности явлений изучаемого языка (частотность повторения единиц изучаемого языка в текстах учебника), установления рациональности его структуры математическим путем; 7) исследование учебного процесса с целью выяснения эффективности микро- и метаязыка учебника; 8) вопрос об использовании данных лингвистической статистики для исследования учебной речи с целью установления максимума, оптимума и минимума единиц этой речи,

реализуемых в процессе обучения, и позитивного критерия рациональности речи педагога; 9) анализ звукозаписи как средства обучения, а также лингвистических и экстралингвистических свойств речи, записанной на пленку, включая и паралингвистические свойства, от которых зависит восприятие и воспроизведение учащимися усваиваемой речи; 10) изучение дидактических свойств явлений исследуемого языка, вытекающих из собственно языковых свойств, выявленных путем сопоставительного изучения родного и иностранного языков. Имеются в виду такие свойства, как коммуникативная ценность, воспринимаемость, воспроизводимость, дидактическая релевантность, коммуникативная функциональность, побудительная функция речи, трансформативность, продуктивность единиц изучаемого языка; 11) изучение дидактических свойств исследуемого языка, вытекающих из его структурных особенностей и их соотношения с экстраязыковыми и экстралингвистическими средствами обучения. К ним относятся следующие свойства: количественная и качественная регулярность единиц микроязыка учебника, ситуативность форм речи, иллюстрируемость, демонстрируемость, актуальность, дидактическая проблемность [1] и дидактическая функциональность единиц изучаемого языка; 12) изучение и определение лингвистической терминологии, используемой в учебниках и в учебном процессе, т. е. собственно лингвистического минимума, оптимума и максимума, в отличие от языкового минимума, оптимума и максимума, представляющих сумму знаков и явлений изучаемого языка, предназначенных для их усвоения учащимися в качестве средств общения на изучаемом языке; 13) изучение соотношения тематической и относительной частотности повторений единиц дидактической речи в учебной речи учащихся. Последняя зависит как от способностей учащихся и от метода обучения, так и от тематической частотности повторения в текстах учебника лексико-грамматических единиц усваиваемого языка. Такое изучение имеет целью определение оптимальной относительной частотности, т. е. коэффициента повторяемости языковых единиц в речи учащихся. Это дает возможность избежать излишних повторений и натаскивания как методических приемов обучения; 14) изучение речи учителя как эталона, которому учащиеся должны подражать, иными словами — отношения дидактической и учебной речи. Следует иметь в виду, что звукозапись — это тоже дидактическая речь. Вопрос о том, в какой степени речь учителя — живая или записанная на пленку — является эталоном, т. е. соответствует живой речи носителей изучаемого языка — немаловажный вопрос для успеваемости учащихся.

Устанавливая свойства изучаемого языка, мы познаем его природу. Только после такой подготовительной работы, целью которой является изучение природы иностранного языка по сравнению с языком среды, в которой происходит обучение, мы можем перейти к построению микро- и метаязыка учебника и в дальнейшем к различным речевым и лингвистическим упражнениям. При этом мы будем определять методические приемы обучения и использовать соответствующие наглядные пособия, исходя из данных теоретического и теоретико-практического исследования языка, которые мы относим к дидактолингвистике.

Из изложенного вытекает, что лингвистическая прагматика как содержание некоторой специальной работы над языком нами одобряется, если она имеет свое лингвистическое и педагогическое оправдание.

Как видно из таблицы, для онтологии науки важно рассмотрение определенного «стыка явлений», на котором эти явления проявляют свои

---

[1] Под дидактической проблемностью имеются в виду те свойства языковых явлений, которые могут представить трудности для усвоения учащимися.

Место дидактолингвистики среди других научных дисциплин *

Пересечение явлений, представляющих собой предмет изучения	Наука, изучающая данный предмет
Язык как система Язык как процесс (речь)	Лингвистика
Язык как способность (речевой механизм) Язык как процесс (речь)	Психология
Язык как система Язык как способность (речевой механизм)	Психолингвистика
Учебный процесс (вид общения) Язык как средство воспитания и обучения	Педагогическая психология
Язык как система, микро- и метаязык (предмет изучения) Дидакгическая (обучающая и учебная) речь (средство обучения языку) [1]	Дидактолингвистика
Микроязык как система (предмет обучения) Звукозапись и внеязыковые дидактические пособия (средства обучения)	Методика

* При составлении таблицы мы заимствовали некоторые сопоставления явлений, изучаемых указанными науками, из статьи А. А. Леонтьева [4].

[1] Под обучающей дидактической речью подразумеваем речь учителя и записанную на пленку речь дикторов, в отличие от учебной дидактической речи, т.е. речи учащихся.

качественные и количественные особенности в их тесной взаимосвязи.

Остановимся на термине «лингводидактика», получившем широкое распространение в методике преподавания русского языка в национальной школе [5]. Этот термин неправомерно используется в настоящее время одновременно с терминами «методика» и «лингвометодика» как их синоним. Онтологической и методологической мотивации этого термина как термина-«логоса» мы не нашли [6]. При рассмотрении вопроса об использовании термина «лингводидактика» в том смысле, в каком он употреблялся до сих пор, т. е. как термина-«лексиса», следует сказать, что такое его использование не является необходимым. Этот термин представляет собой сложение двух основ. Обе его части определяются взаимно. Первая указывает не только на язык, но и на связь с лингвистикой, причем с лингвистикой специальной, связанной с учебным процессом, т. е. с дидактической лингвистикой. Вторая часть подразумевает специальную дидактику, т. е. методику обучения языку. При таком истолковании указанный термин связывается с понятием содержания обозначаемой им науки и в то же время он отражает взаимосвязь этой науки с другими науками, смежными с ней. Восприятие этого термина основывается на ассоциативной связи между понятиями, обозначенными терминами «лингвистика» и «дидактика», с которыми, как видно из изложенного, соотносятся термины «дидактолингвистика» и «методика обучения языку».

Нам представляется, что в таком истолковании этот термин получает более широкое значение: первая его часть указывает на языковое и лингвистическое содержание обозначаемой им науки, а вторая часть — на собственно дидактическое ее содержание и, таким образом, становится термином-«логосом». Изложенное понимание термина «лингводидактика» дано здесь в качестве практического доказательства нашего согласия с

положением о том, что «от тех, кто хотел бы пользоваться новыми терминами, надо обязательно требовать соответствующего их обоснования» [2, с. 45]. Следует отметить, что мы этим термином пользуемся не как термином-«лексисом» — синонимом термина «методика», а как термином-«логосом», т. е. в его более широком значении, подразумевающем тесную взаимосвязь дилактолингвистики и методики, обозначенных общим названием «лингводидактика».

Методологический аспект термина. Каждая наука пользуется определенными, ей свойственными методами, соответствующими предмету ее исследования. Лингвистика пользуется лингвистическими методами изучения языка. Следовательно, и дидактолингвистика, т. е. прагмалингвистика (в таком значении этого термина, какое вкладывают в него авторы статьи) должна пользоваться своими методами изучения языка, отличающимися от методов изучения, используемых психолингвистикой, социолингвистикой и другими лингвистическими дисциплинами.

Функциональное направление в современной лингвистике как методологическая платформа исследования языка действительно требует функционального подхода к реализации языка и речи, формирующейся в ходе учебного процесса. Такой подход к языку подразумевает постановку вопроса об адаптации языка в учебных целях, о принципах и критериях построения микроязыка в учебных пособиях, отбора и упорядочения средств языкового выражения, предназначенных для усвоения учащимися. Решение этих и ряда подобных проблем, разумеется, требует решения проблемы соотношения языка как предмета научного исследования и как предмета обучения, выявления противоречий, содержащихся в самом языке. Одним из противоречий языка является наличие в нем свойств, определяющих его не только как предмет, но и как средство обучения. Это вытекает из того, что факты языка представляют собой средство речевой коммуникации. Изучаемый в школе иностранный язык является средством речевой коммуникации исключительно в рамках учебного процесса и на уровне учебной речи, т. е. языковой коммуникации, дидактически обусловленной и в достаточной мере программированной. Когда иностранная речь реализуется в учебном процессе, проходящем в близкородственной языковой среде, коммуникативная функциональность изучаемого языка значительно повышается. Но это в то же время накладывает на исследователя языка обязанность возможно более тщательно дифференцировать близкородственные явления, а также максимально точно описывать свойства изучаемых языковых феноменов.

Теоретическое и теоретико-практическое сопоставительное изучение языка с целью выявления и классификации его дидактических свойств, в частности, таких, как интерференция и перенос, оставалось за рамками методики и теоретической лингвистики. Дидактолингвистическое сопоставление позволяет обнаружить такие свойства изучаемого языка, которые, в силу их отличия от соответствующих явлений родного языка, вызывают затруднения у учащихся, и такие, которые, благодаря их совпадению в той или иной степени с соответствующими фактами в родном языке, способствуют лучшему усвоению изучаемого языка, вследствие чего такие явления усваиваемого языка считаются дидактически функциональными.

Дидактолингвистическому сопоставительному изучению языка свойственна и математизация как один из методов изучения явлений языка с целью количественного определения свойств, присущих этим явлениям. Такое изучение языка характеризуется не только констатацией наличия или отсутствия определенного числа тех или иных явлений в родном и изучаемом языках. Ему свойственны и формулировки лингвистических и дидактических выводов, дающих возможность предсказывать (на ос-

нове степени частотности и количества трудных или нетрудных для учащихся явлений изучаемого языка), будут ли те или иные речевые единицы усваиваемого языка в учебном процессе фигурировать преимущественно как дидактически релевантные или как проблемные, как предмет обучения, или одновременно как дидактически релевантные, и как дидактически функциональные, т. е. как предмет и как средство обучения. Именно такие свойства микроязыка и метаязыка учебника, которые придают им в ходе языковой коммуникации на изучаемом языке значение предмета и средства обучения, т. е. дидактическую значимость, представляют собой особую область исследования и являются содержанием дидактической лингвистики как научной дисциплины. Эта последняя, изучая язык, тем самым относится к лингвистике, а по целям и аспектам исследования языка относится к лигводидактике в широком понимании этого слова, используемого как термин-«логос».

После получения результатов дидактолингвистического изучения языка, исходя из свойств микроязыка учебника, строится соответствующий метод обучения. Поэтому язык как предмет и средство обучения, как материальную базу методики обучения, мы и считаем объектом отдельной научной дисциплины, именуемой нами дидактолингвистикой. Применение к ней критериев, определяющих научную дисциплину как таковую, подтверждает правильность нашего положения. Это следующие критерии: а) наличие собственного предмета исследования — язык как предмет и средство обучения; б) существование определенной теории, системы знаний, имеющей объективное значение — теория дидактической значимости языковых явлений; в) применение собственных методов исследования — метода дидактической и лингвистической статистики, метода предварительного анализа и классификации дидактических свойств языковых знаков, метода выявления предполагаемой положительной и отрицательной интерференции; г) наличие практического подтверждения теории в виде результатов конкретного исследования [7 — 10]; д) использование особой терминологии. Таким образом, прагмалингвистике, которая в понимании западных лингвистов уравнивается с лингвистикой, можно противопоставить дидактолингвистику как отрасль, интердисциплинарную между лингвистикой и дидактикой, причем дидактолингвистику следует считать одним из разделов прикладной лингвистики, а не лингводидактики в узком понятии этого термина, используемого как термин-«лексис».

Что же касается методики исследования дидактолингвистики по сравнению с методологией теоретической лингвистики, мы уже указали на следующее. Для дидактолингвистики сопоставление изучаемого и родного языка учащихся является средством выявления не только лингвистических, но и дидактических свойств изучаемого языка и установления дидактических норм использования в учебном процессе определенного языкового минимума, но не всей языковой системы. Синхронный аспект теоретической лингвистики, следовательно, отличается от синхронного аспекта дидактической лигвистики тем, что последнюю интересуют не только явления и правила языка, действующие в нем в данный момент, но и конкретные данные синхронного сопоставления одного языка с другим с точки зрения дидактической целесообразности и значимости этого сопоставления, а также взаимодействие языковых и экстралингвистических средств выражения в учебном процессе. Языковые правила и их формулировки интересуют дидактолингвистику только в плане метаязыка учебника.

Отличие дидактолингвистического от теоретико-лигвистического изучения языка можно показать на примере исследования структуры значения языкового знака. Теоретическая лингвистика рассматривает связь

«реалия — понятие — слово». Дидактолингвистика же исследует еще и значение слова на родном языке по сравнению с его значением на иностранном (изучаемом) языке с точки зрения его дидактической значимости, т. е. степени его дидактической проблемности или функциональности.

В решении вопроса о практическом значении взаимосвязи и взаимообусловленности при изучении языка в плане дидактики и лингвистики мы исходили из марксистско-ленинского принципа познания, согласно которому практика является одной из основных гносеологических категорий. Учебная прагматика помогает выработать критерии изучения средств языкового выражения в дидактическом аспекте. В настоящей статье мы ставили задачу выяснить, что дает в теоретическом, теоретико-практическом и в практическом планах такая методологическая концепция изучения языка и чем она отличается от концепции смежных наук, научных дисциплин и направлений в изучении языка. Общим для теоретической и дидактической лингвистики является прием использования математического аппарата в изучении языка. Однако различие здесь заключается в самом аппарате и в целях его применения, а также в методах его использования. Но это уже отдельный, частный вопрос. Степень использования математического аппарата в дидактолингвистике значительно повышает удельный вес точности в лингвистике как науке. В противоположность этому прагмалингвистика в понимании западных лингвистов не уделяет должного внимания понятию точности. Она не стремится к обобщениям результатов экспериментальной и опытной проверки. Все изложенное позволяет сделать вывод, что термины «дидактолингвистика», с одной стороны, и «прагмалингвистика» в понимании западных лингвистов — с другой, являются антонимами. При этом следует учитывать, что в дидактолингвистике термин обычно связывается с системой понятий данной науки, а значит, и с методологией последней.

Термин «дидактолингвистика», следовательно, можно определить также как термин-«логос», так как он отражает как онтологию, так и методологию научной дисциплины, которую обозначает, причем существенно важным является здесь тот факт, что методика исследования дидактолингвистики максимально точно соотнесена с общими принципами диалектико-материалистической гносеологии.

Таким образом, из изложенного видно, что действительно, как указывают О. С. Ахманова и И. М. Магидова, «„прагмалингвистика“ как наука об особом функциональном стиле языка еще только становится на ноги и только приступает к определению своих категорий и исследовательских приемов. Вместе с тем уже сейчас необходимо поднимать соответствующие вопросы — в частности, для того, чтобы избежать тех металингвистических недоразумений, которые продолжают возникать» [2, с. 48].

Мы старались показать, что металингвистические недоразумения не только осложняют применение лингвистической терминологии в научно-исследовательских работах, но имплицитно содержат в себе и противоречия в плане общеметодологическом. Рассмотрение проблемы лингвистической терминологии дает возможность также выяснить некоторые важные вопросы формирования языковой коммуникации в ходе учебного процесса, что имеет учебно-практическое значение. Это два основных аспекта проблемы лингвистической терминологии, большое значение которых было подчеркнуто О. С. Ахмановой и И. М. Магидовой.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Киселева Л. А.* Язык как средство воздействия. Л., 1971, с. 3.
2. *Ахманова О. С., Магидова И. М.* Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика.— ВЯ, 1978, № 3.
3. *Висковић К. С.* О значају дидактолингвистике.— Просветни преглед, 1972, 3 июня.
4. *Леонтьев А. А.* Объект и предмет психолингвистики и ее отношение к другим наукам о речевой деятельности.— В кн.: Теория речевой деятельности. М., 1968, с. 21—22.
5. *Шанский Н. М.* Актуальные вопросы методики как науки.— В кн.: Проблемы совершенствования методов обучения русскому языку. М., 1969, с. 12.
6. *Реформатский А. А.* Что такое термин и терминология. М., 1954, с. 3.
7. *Брызгунова Е. А.* Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.
8. *Гвоздев А. Н.* Вопросы изучения детской речи. М., 1961.
9. *Ким А.* Соотношение частей речи в русском языке.— В кн.: Обучаем русской речи. М., 1973.
10. *Роовет Э., Штейнфельдт Э.* Словарь-минимум русского языка для 2—8 классов эстонских школ. Таллин, 1965.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ПЕТРИЩЕВА Е. Ф.

ВНЕЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЕКСИКА КАК КАТЕГОРИЯ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ

Большинство лингвистов считает само собой разумеющимся, что языковые элементы, которые стоят за пределами литературного языка (областные, просторечные, жаргонные), не могут входить составной частью в его стилистическую систему. Показательна зависимость мнений о стилистическом статусе просторечия от того, как понимается его отношение к литературному языку. Те, кто признает просторечные элементы фактом литературного языка, рассматривает их в ряду стилистически маркированных средств; «в силу того, что просторечные слова и формы характеризуются именно нарушением или отклонением от норм литературного языка, они остаются за пределами его стилистической системы»,— считают сторонники другой точки зрения [1, с. 87].

В последние годы споры о том, входит или не входит просторечие в литературный язык, затихли. В работах Ф. П. Филина (см., в частности, [2]) показана принципиальная разница между языковыми фактами типа *прóцент*, *выбóра*, *крайний* в значении «последний (в очереди)» и т. п. и языковыми фактами типа *выпендриваться*, *каюк*, *карга* и т. п. и дано их удачное терминологическое разграничение. Первые (внелитературное просторечие) — это «элементы речи лиц, не вполне овладевших литературным языком или вовсе малограмотных. К внелитературному просторечию относятся языковые явления всех уровней, которые образованный человек не может употребить ни при каких обстоятельствах (разве что только нарочито, подражая малограмотному или передразнивая его)». Вторые (литературное просторечие) — «языковые средства (слова, обороты, синтаксические конструкции, грамматические формы, особенности произношения), употребляемые всеми образованными людьми для грубоватого, сниженного изображения предмета мысли (своего рода „низкий стиль“ нашего времени)» [3, с. 22 и 20; 4].

Однако, признав необходимость различать литературное и внелитературное просторечие, исследователи характеризуют не только первое, но и второе как «функционально-стилистическое ответвление национального языка» [5, с. 58], как «определенную стилистическую категорию» [6, с. 147], считают оправданным функционально-стилистический подход к ним [7, с. 247].

Подобные высказывания могут объясняться и тем, что тот или иной автор называет стилями территориальные и социальные ответвления национального языка (в таком случае литературный язык — тоже стиль), и тем, что, говоря о стилистических средствах, имеют в виду не стилистическую маркированность как свойство самих языковых фактов, а стилистический эффект, который может быть достигнут и стилистически марки-

рованными, и стилистически нейтральными средствами. Эти высказывания, таким образом, могут иметь чисто терминологическую подоплеку. Но некоторые из них действительно отражают существующее мнение, что внелитературные элементы принадлежат к стилистически маркированным средствам литературного языка. (Термин «стилистически маркированные средства», как очевидно, удачнее допускающего двойное толкование термина «стилистические средства».)

Таким образом, есть основания для внимательного рассмотрения вопроса о месте внелитературных средств в стилистической системе литературного языка.

Нельзя не признать логичности вывода о том, что внелитературные элементы не могут принадлежать к стилистически маркированным средствам литературного языка. Однако против этого вывода восстает языковое чутье. У слов, не входящих в состав литературного языка, например, просторечных *аккурат*, *вчерась*, *давеча*, *завсегда*, *ихний*, *поздоровкаться*, *пособить*; областных — *большак* «большая дорога», *загнетка*, *кочет*, *курень*, *обстрекаться*, *огорожа*, *шушун* и т. п.; жаргонных — *предки* «родители», *баскет* «баскетбол», *финаги* «деньги, финансы», взятых вне контекста, явственно ощущается то особое свойство, которое принято называть стилистической окраской.

Расхождения с языковым чутьем выявляются и при квалификации внелитературных единиц. Специалисты-диалектологи справедливо относят к диалектизмам и слова *сбочь*, *черница*, *кочет*, *погода* в значении «ненастье», и слова *особливо*, *дюже*, *худой* в значении «плохой» [8]; и слова *шаять*, *куршивый*, *шелуга*, *куржак*, *базлать*, *мызнуть*, *сигать*, *гутарить*, *понужать*, и слова *колгота*, *энтот*, *пондравиться*, *здря*, *поздоровкаться* [9]. Однако *особливо*, *дюже*, *худой*, *энтот*, *пондравиться*, *здря*, *поздоровкаться* воспринимаются как элементы внелитературного просторечия, а *колгота* — как «представитель» разговорно-просторечной лексики литературного языка.

Правомерно ли игнорировать впечатление стилистической окрашенности внелитературных элементов, объясняя его ошибками языкового чутья? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на проблеме стилистической окраски языковых элементов.

Стилистическую окраску как свойство, объективно присущее языковому элементу (а не нечто внешнее по отношению к нему, связанное с ним ассоциативными связями), имеют те слова, обороты и т. п., которые не только связаны в сознании носителей литературного языка с контекстами, содержащими определенные сведения о сфере общения, взаимоотношениях говорящего с адресатом речи, об отношении говорящего к предмету речи, о самом говорящем и т. п., но и «впитали» в себя из этих контекстов соответствующие сведения. О том, что слово заключает в себе дополнительную стилистическую информацию, свидетельствует его способность вносить определенную характеристику тех или иных обстоятельств общения в «немые» контексты (контексты, в которых соответствующие сведения не нашли отражения) и контексты нетипические. Так, эмоционально-стилистическая окраска слова *сборище* обусловлена тем, что в сознании говорящих на литературном языке оно закреплено за контекстами, в которых выражается отрицательное эмоциональное отношение к предмету речи, и само слово способно выражать такое отношение. Другой пример. Слово *тетя* имеет разговорную окраску, потому что связано в сознании носителей литературного языка с обиходно-бытовым, интимно-родственным или интимно-дружеским общением между собеседниками и вносит в речь такую характеристику отношений между участниками разговора.

В сознании говорящих на литературном языке складываются представления об обстоятельствах употребления всех известных им средств, т. е. не только элементов литературного языка, но и определенной части единиц, не входящих в его состав. Впечатление стилистической окрашенности внелитературных единиц объясняется, следовательно, их «идеальной» контекстной закрепленностью и дополнительной информацией, которую они в себе заключают. Внелитературные слова, обороты и т. п. принадлежат к стилистическому разряду средств, характеризующих самого говорящего.

В том, что языковые элементы, не входящие в состав литературного языка, могут принадлежать к числу его стилистически маркированных средств и входить в его стилистическую систему, нет противоречия, потому что свою характеристику как внелитературных и как стилистически окрашенных они получают в результате различных подходов. Первый отражает нормативную точку зрения на языковые средства, второй — стилистическую. Очевидно, что объем понятия «стилистическая система литературного языка» шире объема понятия «литературный язык».

Расхождения между характеристикой внелитературных единиц на основании их территориальной или социальной принадлежности (т. е. с точки зрения диалектологической) и на основании их стилистического восприятия естественны. В сознании носителей литературного языка обобщаются особенности тех контекстов, в которых те или иные лица в с т р е ч а ю т данный элемент. На формирование языковых представлений, таким образом, влияет не только современная речь, но и тексты прошлого; эти представления зависят и от степени знакомства с разнообразием современного применения слова, оборота и т. п., и от степени влиятельности тех или иных речевых сфер и отдельных авторов. Нельзя также исключать возможность особого осмысления условий, в которых употребляется языковой факт [1]. Кроме того, изменение языковых представлений неизбежно отстает от изменений условий употребления того или иного элемента.

Эти расхождения говорят лишь о необходимости строго последовательно придерживаться какого-то одного подхода к внелитературным средствам — или диалектологического, или стилистического (при этом в принципе не обязательно знать, каким группам населения свойственны те или иные внелитературные слова, обороты и т. п.).

Другое условие исследования внелитературных элементов в стилистическом плане — строгое различение позиции отправителя и позиции получателя речи (при изучении художественных произведений — позиции писателя и позиции читателя). Это требование объясняется тем, что вследствие различий речевого опыта носители литературного языка могут воспринимать одни и те же языковые факты по-разному. Обращают на себя внимание современные произведения на темы деревни, авторами которых являются выходцы из диалектной среды. В этих произведениях очевидна установка на отражение конкретного говора: внелитературные слова и обороты служат здесь не только средством изображения, но и предметом изображения, одной из деталей описываемого быта. Для писателей в таких случаях все элементы говора стоят в одном ряду как компоненты одной языковой системы. Но читатели — носители литературного языка, не знакомые с этим говором, воспринимают их по-разному: одни как областные, другие — как просторечные. Ср., например: — «Да как живем..., — неопределенно говорил отец... — Вот *по* Троице схоронили Васюхина»

---

[1] Ср. замечание Д. Н. Шмелева о переосмыслениях контекстов, которые приводят к семантическим изменениям [10].

(Е. Носов, Объездчик); «— А жеребчик пусть у тебя, Игнат Степанович. Это я с радостью. *Во степу* пусть гуляет» (там же); «И вот теперь Катерина, не утирая слез, перешла мостик, перелезла *огород* у бани и все глядела на свой дом» (В. Белов, Привычное дело); «—Когда *с* дому-то пришел, севодни? — не отвечая, сурово спросила Катерина» (там же).

Основанием для стилистической дифференциации внелитературных средств является разница в их окраске и в стоящей за ней дополнительной информации о говорящем. Естественно, что выделяемые с этой точки зрения группы внелитературных средств по своему характеру отличаются от групп, выделяемых при подходе к ним с точки зрения их территориальной или социальной принадлежности (хотя их материальный состав может в известной мере совпадать). Различны и реестр таких групп, и их иерархия. По-видимому, было бы целесообразно при разных подходах к внелитературным средствам использовать разную терминологию. Во всяком случае, необходимо четко определить стилистическое и диалектологическое содержание общих терминов.

В данной статье остановимся на двух видах внелитературных элементов — внелитературном просторечии и диалектизмах. Следует обратить внимание на необходимость различать задачу изучения потенциальных стилистических возможностей стилистически окрашенных средств и задачу изучения условий их применения. Вторая задача в настоящей статье не ставится. Отметим лишь, что и сфера мотивированного использования (художественная литература, публицистика, разговорная речь носителей литературного языка), и цели использования внелитературных элементов зависят от их стилистического вида или разновидности.

Что касается первой задачи изучения внелитературных средств, то она может решаться и на экспериментальных текстах, и на реальных текстах — на материале нехудожественной речи и на материале художественной литературы. Последнее, однако, предпочтительнее, поскольку стилистическая информация, которую заключают в себе внелитературные элементы, обнаруживается более отчетливо именно на этом материале. Дело в том, что мотивировки их применения в нехудожественной речи (с шутливо-ироническими целями, для создания эффекта необычности словоупотребления или колорита народности) основаны на обыгрывании или того, что они не являются фактом литературного языка, или их стилистической окраски, но не той характеристики говорящего, которая за ней стоит. Использование же их в речи персонажей и в авторском повествовании художественных произведений ориентировано прежде всего на то, чтобы определенным образом охарактеризовать героя, изображаемую среду или повествователя-автора [11].

1. Существующие определения внелитературного просторечия (или просторечия как внелитературной категории) отражают диалектологическую точку зрения. Обычно просторечие понимается как особенности речи лиц, недостаточно образованных, не вполне овладевших нормами литературного словоупотребления. При этом указывается та или иная сфера его распространения. Ф. П. Филин отмечает, что «от диалектизмов внелитературное просторечие отличается (и принципиально) тем, что оно не имеет изоглосс, распространено всюду» [3, с. 22]. Иногда просторечием называют элементы наддиалектные, междиалектные, полудиалектные [12]. Некоторые авторы считают, что просторечные элементы употребляются и определенными слоями городского населения, и жителями деревни [5, с. 58]. С. И. Ожегов определяет просторечие как элементы, свойственные массовой городской разговорной речи [13].

К внелитературному просторечию как категории стилистической относятся языковые факты типа *ихний*, *с им*, *здря*, *поднравиться*, *звбнит*, *мо-*

лодежъ, *пинжак*, *пóртфель*, *яблок* «яблоко», *вчерась*, *давеча*, *ежели*, *заместо*, *завсегда*, *зачинать* (в значении «начинать»), *намедни*, *нешто*, *обувка*, *одежа*, *по* (в значении указания времени), *подсобить*, *покудова*, ***бабка*** *Матрена*, ***тетка*** *Дарья*, ***дед*** *Макар*, *матка*, *тятя*, *баба* (так же, как *девка*, *мужик*) — без экспрессии, *молодуха*, *откуль*, *ноне*, *окромя* и т. д. Эти слова объединяются общностью вызываемого ими стилистического впечатления при явном его отличии от того стилистического впечатления, которое производят слова типа *глумной*, *огорожа*, *обстрекаться*, *кочет*, *заплот* и т. д. Помета *обл.*, которую некоторые из них (например, *тятя*, *ноне*) получают в словарях, отражает диалектологическую точку зрения. Все они характеризуют говорящего как лицо, не принадлежащее к интеллигенции.

Окраска слов *ихний*, *ейный*, *здря*, *пондравиться*, *звóнит*, *мóлодежь*, *яблок* «яблоко» — с одной стороны; *вчерась*, *давеча*, *завсегда*, *заместо*, *обувка*, *одежа*, *подсобить*, *покудова* и т. п. — с другой; *бабка Матрена*, *тетка Дарья*, *дед Макар*, *баба*, *мужик*, *девка*, *матка*, *тятя*, *окромя*, *молодуха*, *откуль*, *ноне* и т. п. — с третьей, при всей ее одинаковости явно неоднородна. Чтобы выяснить, чем это обусловлено, поставим некоторые из перечисленных слов в «немые» тексты, не содержащие сведений о социальной принадлежности говорящего (необходимо лишь условиться, что просторечное слово является фактом словоупотребления самого говорящего и употреблено им непреднамеренно):

Мне и х н я я бабушка все рассказала; *Ну, это ты з д р я!*; *П о н д р а в и л о с ь тебе у них?*; *Ты с е й разговаривал?*; *Я э н т о т отвар пью з а м е с т о чаю*; *Н а м е д н и заходили, так она была здорова*; *Я ж тебе еще в ч е р а с ь говорила*; *А л ь заболел?*; *О к р о м я тебя идти некому*; *О чем, б а б ы, толкуете?*; *Б а б к а Марья, спичек не найдется?*; *Пойду попрошу у т е т к и Настасьи*; *На вот, и с п е й кваску*.

1) Разница в окраске языковых фактов типа *ейный*, *ихний*, *с им*, *звóнит*, *здря*, *мóлодежь*, *пондравиться*, *энтот*, *яблок* «яблоко», с одной стороны, и *вчерась*, *давеча*, *заместо*, *обувка*, *пдсобить*, *покудова*, *намедни*, с другой, определяется тем, что они подчеркивают разные аспекты противопоставления говорящего интеллигенции: первые — по уровню образования, вторые — по социальному положению. В связи с этим элементы первого подвида имеют отрицательную экспрессию (эта экспрессия направлена на само слово), а элементы второго — положительную. Первый подвид будем называть просторечием малограмотных, второй — народным просторечием.

2) Слова типа *аль*, ***бабка*** *Матрена*, ***тетка*** *Дарья*, *матка*, *молодуха*, *откуль*, *ноне* и т. п. содержат в себе ту же характеристику говорящего, что и слова типа *вчерась*, *давеча*, *пособить*, *заместо*, *покудова*, *намедни* и т п., но вместе с тем характеризуют его как жителя деревни. Следовательно, эта группа слов (назовем ее деревенским просторечием) представляет собой разновидность народного просторечия.

Языковые представления о просторечии малограмотных, народном и деревенском просторечии (как и о диалектизмах) формировались, главным образом, под влиянием художественной литературы. Просторечие малограмотных и народное просторечие закрепилось в сознании носителей литературного языка как особенность речи персонажей — представителей разных социальных слоев населения. Ср. цитаты из «Словаря современного русского литературного языка» АН СССР в 17-ти томах: «Я качал *ихнего* ребятенка в люльке и по нечаянности заснул» (Чехов, Ванька); «[Липочка:] В *ихнем* кругу всегда так делают» (А. Островский, Свои люди); «— А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменьку-с с *ихним* сыном-с» (Достоевский, Село Степанчиково); «— Он только понимает, а не умеет по-нашенски; а вот я-с так знаю *по-ихнему*,— с гордостью

заметил половой» (Некрасов и Станицкий, Три страны света); «[Нюнин:] По чину он капитан второго ранга, а *по-ихнему*, морскому, это все равно что генерал-майор, или в гражданской действительный статский советник» (Чехов, Свадьба).

Стилистические свойства деревенского просторечия формировались в текстах типа: «Старик доел свой ломоть, перекрестился и вздохнул.— Вот теперь кваску бы *испить* хорошо,— сказал он» (Салтыков-Щедрин, Губернские новости); «— На, *испей*, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке» (Л. Толстой, Казаки).

Художественная литература и в наше время остается основной (но не единственной) сферой употребления рассмотренных средств носителями литературного языка. Элементы просторечия малограмотных и народного просторечия вводятся в речь персонажей разных социальных типов, обычно сопутствуя друг другу. Элементы деревенского просторечия вместе с просторечием малограмотных и народным просторечием используются в речи персонажей-крестьян (в речи исконных горожан они производили бы впечатление стилистического «сдвига»): «— А что старуха? Она, говорят, и старуху *кажин* день колотит.— Ой, *бабы*, полноте, чего *здря* говорить. Нюшка *матку* пальцем не трагивала. Нет, дружно *у их* с *маткой*, *экую* бухтину по Нюшку разнесли.— Чего говорить, смирёнее не было *девки*.— *Дак* лошадь-то пришла? — Пришла одна, ни *мужиков*, ни накладной нету» (В. Белов, Привычное дело); «— Ты *откуль* здесь взялся? Я тебе чё наказывала? Я тебе чё говорила? А ну, марш отсюда!; — Чё-то с тобой, дева, деется — *окромя* ружья видать. Как вроде чё-то ты все время боишься» (В. Распутин, Живи и помни).

Каждый вид просторечия вносит в текст какие-то дополнительные, свои сведения. Если эти сведения уже сообщены автором, внелитературные слова и обороты служат для их подтверждения, если нет — герой получает соответствующую характеристику.

3) Принято считать, что к внелитературному просторечию относятся только средства неэкспрессивные, к литературному — только экспрессивные. Сравните однако: *Р о с к о ш н ы е волосы*, *р о с к о ш н о е платье*, *р о с к о ш н о одевается*. — *Ш и к а р н ы е волосы*, *ш и к а р н о е платье*, *ш и к а р н о одевается*. При общности значения и окраски разговорной непринужденности между словами *роскошный*, *роскошно* и *шикарный*, *шикарно* явно есть существенное различие: слова *шикарный*, *шикарно* обладают некой социальной окраской (правда, столь слабой, что их можно квалифицировать лишь как слова, стоящие у самых границ литературного языка).

Сравните также слова с разговорной и неодобрительной окраской *канителиться* и *чикаться* (*Нечего с ним к а н и т е л и т ь с я*! — *Нечего с ним ч и к а т ь с я*!); фамильярные обращения к мужчине *брат* и *браток* (*Спасибо*, *б р а т*! — *Спасибо*, *б р а т о к*!), грубоватые слова *собачиться* и *лаяться* (*Хватит с о б а ч и т ь с я*! — *Хватит л а я т ь с я*!); *окрыситься* и *попереть* на кого (*Ты что на него о к р ы с и л с я*? — *Ты что на него п о п е р*?); грубые *буркалы* и *шары* (*Стоит — б у р к а л ы вытаращил*.— *Стоит — ш а р ы вытаращил*). Социальную окраску имеют слова *братва*, *гадство*, *милка*, *милашка*, *житуха*, *оглоед*, *хахаль*, сочетание *сыграть в ящик* и т. п. Ту же окраску имеют и некоторые бранные слова. Сравните: *Вот с в о л о ч ь*! — *Вот п а р а з и т*, *вот з а р а з а*!; *Ну и г а д и н а*! — *Ну и г а д*!; *Ты*, *п а д а л ь*! — *Ты*, *п а д л а*!

Слова этого типа в силу их экспрессивности включаются в литературную речь чаще, чем слова типа *здря*, *перво-наперво*, *аккурат*, *жисть* и т. п. Однако это не является основанием относить их к литературному просторечию. Носители литературного языка употребляют такие слова,

осознавая их как элементы речи чуждой социальной среды. В их употреблении всегда есть момент «подражания или передразнивания».

Характер дополнительной информации, стоящей за социальной окраской названных и подобных им слов (а следовательно, их место в составе внелитературного просторечия), не вполне ясен. С одной стороны, они представляются наиболее естественными в речи представителей городских «низов». Так, в рассказе В. Шукшина «Танцующий Шива» элементы народного просторечия и просторечия малообразованных подтверждают сведения о персонажах этого произведения как о лицах, не являющихся представителями интеллигенции; слова же рассматриваемого типа воспринимаются как средство подчеркнуть принадлежность персонажей именно к городским «низам». Из речи плотников: «— До чего *ушлый* народ пошел!; — *Падла*,— сказал Ванька.— У меня сроду вшей не было, даже в войну...; — Он, *сука*, видел, как я работаю!?»; речь буфетчицы: «— Мужики, перестаньте *лаяться*! — крикнула буфетчица.— А то выставлю счас всех!...».

Особенно ярко роль этих элементов как средства указанной социальной характеристики персонажей обнаруживается в речи некоего Аркашки по прозвищу Танцующий Шива. Текст рассказа не содержит сведений, каково положение Аркашки в обществе, но читатель благодаря особенностям его словоупотребления четко представляет, к каким слоям жителей города он принадлежит: «— Счас как дам по башке! *Гад* такой!; — Зубы разбил? От *гад*-то! Счас ему там дадут. Мужики пошли с им...; — Поставь бутылку на стол, поставь, Ванюша. Я же вас *на понт беру*!; — *Зараза*,— сказал он с дрожью в голосе.— Еще руки распускает...; *Гад* такой. Обрадовался — здоровый? — Аркашка потер шею».

Но, с другой стороны, в речи персонажей — жителей деревни такие слова не кажутся чужеродными. Здесь они противопоставляют говорящего интеллигенции по каким-то особым, социально-психологическим параметрам, создавая своеобразные социально-маркированные характеры (впрочем, все же характеры городского «типа»). Это отчетливо проявляется, например, в рассказах В. Шукшина на деревенские темы. Ср. из рассказа «Волки»: «Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай запягнул в сани.— Ну, что они [волки] там?... — Поклон тебе передают. *Шкура*!... — Чего ты? *Лаешься*-то? — Счас я тебя бить буду, а не *лаяться*.— Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь. — Стой! — крикнул Иван и побежал за санями.— Стой, *паразит*!». Ср. в речи Ивана: «— От *сука*! — изумился Иван; — Ну не *паразит* ли! — все изумлялся Иван.— И на меня же *попер*». В речи тестя: «— ...Налил *шары*-то, успел?» (там же).

Рассмотренную лексику можно, таким образом, считать и разновидностью народного просторечия — городским просторечием, и третьим видом просторечия — социально-психологическим.

2. Диалектологи обозначают термином «диалектизм» и «характерные для территориальных диалектов языковые особенности, вкрапляемые в литературную речь» [8], и диалектные слова, «обладающие хотя бы одним диалектным дифференциальным признаком и включенные в состав литературного произведения именно как диалектные» [9, с. 320]. Употребляют этот термин и независимо от того, используются или не используются те или иные диалектные особенности в литературной речи. Стилистическое содержание термина «диалектизм» — языковые элементы, известные носителям литературного языка как областные.

Диалектизмы, как и внелитературное просторечие, фактически принадлежат лицам, не вполне овладевшим литературным языком. Если бы соответствующие сведения о говорящем в них содержались, то их следова-

ло бы признать разновидностью просторечия. Однако они заключают в себе только характеристику говорящего как носителя говора и потому представляют собой особый стилистический вид внелитературных средств. Поставим несколько диалектизмов в «немые» тексты с условием, что все они представляют собой факты словоупотребления самого говорящего: *Это твой к о ч е т*?; *Что ж вы о г о р о ж у не поправите*?; *Что ты бегаешь как г л у м н о й*?; *К у р е н ь у вас еще совсем новый*; *Он чуть свет ушел на б а з*; *Давай-ка выйдем на ш л я х*. Слова *кочет*, *огорожа*, *глумной*, *курень*, *баз*, *шлях* вносят в «немые» тексты (не содержащие никаких сведений о говорящем) информацию, что говорящий — коренной (во всяком случае давний) житель местности, где говорят не на литературном языке, а на территориальном диалекте, или, возможно, выходец из такой местности. Но остается неизвестным, сельский он или городской житель, крестьянин или агроном, врач и т. п., каков уровень его владения литературным языком.

Поэтому диалектизмы и слова, не имеющие традиций использования в литературной речи, не указывают на недостаточную образованность персонажей — ни таких, как Евстолья из повести В. Белова «Привычное дело», ни таких, как мать Славки из рассказа В. Шукшина «Вянет, пропадает», ни таких, как другой персонаж этого рассказа — Владимир Николаевич. Сведения о Евстолье как о деревенской жительнице-крестьянке подтверждают элементы собственно-народного и деревенского просторечия, на уровень образования указывают элементы просторечия малограмотных, диалектизмы же, дополняя эти сведения, характеризуют ее как жительницу местности, где говорят на территориальном диалекте: «Вот только бы ее выносить, а Иван-то в избу, да с порога на гроб-*от* хлесть, еле мы его водой отлили. Похоронили когда, *дак* вина-то ни капли в рот не взял, как *неумной* сделался, все сидит, а слезы-*ти* так *у его* и катятся, оброс, на себя стал непохож. „Мне, говорит, матка, все равно не жить теперичe“. Вот один раз, гляжу, *вызнялся* да побежал, как не в себе, я за *им* кинулась...».

Мать Славки горожанка (об этом свидетельствует вопрос ее собеседника: «— ...У вас батареи не затопили еще?»). Характеристику ее как лица, не принадлежащего к образованному слою населения, дают элементы просторечия малограмотных («— Я говорила с *ихним* учителем-то: шибко, говорит, способный;— Сама иной раз с *им* сяду: „Учи! Тебе надо-то, не мне“; — Детей-то *проведуете*?»), а также написания, нарушающие орфографические нормы при соответствии нормам орфоэпическим или нерезком отклонении от них («— Был бы *мущина* в доме...; — Жалеет *счас* небось?»). Эти элементы дополняют те сведения о ней, которые читателю сообщают факты собственно-народного просторечия («— Отойди *оттудова*, не торчи; — *Сердешный*... — вздохнула мать;— Сколько же шкура *станет*?; — Лень-матушка! *Вперед* нас, видно, родилась»). Диалектизмы же («— А чего ему тут делать? — отвечала мать.— Алименты свои плотит — и довольный. А тут *рóсти*, как знаешь...; Гляди-ко, до чего можно дойти») уточняют, что она — жительница провинциального города.

Владимир Николаевич бухгалтер, работает в типографии. Речь его оставляет впечатление подчеркнутой литературности (усиленное ярко выраженной нелитературностью речи собеседницы): «—Алименты — это *удовольствие ниже среднего*,— заметил дядя Володя»; «— А вот пили-то,— поинтересовалась мать,— жена-то как же? — Жена-то?... — Дядя Володя задумался над доской. Славка неожиданно сделал каверзный ход.—*Реагировала-то*?»; «Софы есть чешские... Раздвижные — *превосходные*. Отпускные получу, обязательно возьму». Областное *наспроть* не контрас-

тирует с этими специфически литературными словами. Оно, как и в речи Славкиной матери, лишь подчеркивает, что герой — житель провинциального города. «В голове — дымовая завеса,— обстоятельно рассказывал дядя Володя. А у меня еще стол *наспроть* окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!... И мысли *комичные* возникают: в ведомости, допустим: „Такому-то на руки семьсот рублей". Постарому. А ты думаешь: „Это ж сколько поллитр выйдет?"» [2].

Как правило, носители литературного языка не имеют точных представлений о месте бытования слов с диалектной окраской (а нередко и об их предметном содержании). Таковы, например, диалектизмы, имеющие в литературном языке синонимические соответствия: *кочет* и *петун* («петух»), *городьба* и *огорожа* («изгородь»); слова, которым в литературном языке соответствуют родовые наименования: *балка* — «овраг с пологими склонами, поросшими травой, кустарником, деревьями», *яруга*, *яр* — «глубокий широкий овраг»; слова, обозначающие местные реалии: *кулеш* — «жидкая кашица из пшена или гречневой крупы, сваренная с салом», *поскотина* — «пастбище, выгон, непосредственно прилегающие к деревне и со всех сторон огороженные забором». Лишь отдельные областные слова связаны в представлениях говорящих на литературном языке с какой-то более или менее определенной местностью. Например, *курень* — «жилой дом», *баз* — «огороженная площадка или крытый двор для скота; задний двор в крестьянской усадьбе», запомнившиеся по произведениям М. Шолохова и Серафимовича; *гольцы* — «безлесные горные вершины», известное как сибирское.

Поэтому основная масса диалектизмов заключает в себе только обобщенную диалектную характеристику говорящего. Свидетельство тому — современная проза с установкой на отражение конкретного говора. Вопреки стремлению писателей диалектизмы не переносят читателя, не знакомого с данным говором, в строго локализованную диалектную среду. Этот эффект если и создается, то не чем иным, как мастерским описанием местности или местного быта, подкрепленным прямыми указаниями на место действия (например, в рассказе В. Белова «За тремя волоками»). Таким образом, оснований для деления диалектизмов на разновидности нет. Однако эти элементы не вполне однородны.

Во-первых, существенны различия между теми диалектизмами, которые имеют то или иное соответствие в литературном языке, и наименованиями местных реалий. Первые дают диалектную характеристику только лица, в чью речь они включены, или того, с кем или о ком это лицо говорит (в художественном произведении — персонажа, рассказчика, повествователя-автора): «— *Чё* ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? *Ничё* не пойму» (В. Распутин, Живи и помни); «Не усни у меня! Ох, *сотоненок*, вроде опять *напруденил*. Другой раз на дню — где и копится? Обсушу, а больше не буду, пеленок на тебя, *сотоненка*, не напасти» (В. Белов, Колыбельная).

Слова второй группы не только характеризуют говорящего или того, о ком (с кем) он говорит, но и создают впечатление особых, местных условий жизни: «— Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо, и не на *заимке* живу, чтобы дальше глаз своих не видеть, а с народом» (В. Распутин, Живи и помни); «Никого в избе не было. В *кути*,

---

[2] В речи этого персонажа тоже встречаются орфографические «ошибки» (Сегодня у нас *што*? Двадцать седьмое?; Заполним вакуум, как говорит наш главный *бугалтер*; Жена-то? Тайно, *конешно*, жалеет; Раньше не отказался *ба*). Трудно сказать, каковы были замыслы писателя, но по читательскому восприятию указанные факты речи героя указывают не уровень его образования, а характер его интеллигентности (чисто внешней).

за дощатой переборкой, стреляла и дымилась печь, заставленная чугунками с картошкой и пойлом для скотины» (В. Белов, Деревня Бердяйка); «А за Пинегой прибрежный песок-желтяк, белые развалины монастыря, красная *щелья* и леса, леса — синие, бескрайние, до самого неба...» (Ф. Абрамов, Дом).

Во-вторых, различие между диалектизмами связано с теми их признаками, которые И. А. Оссовецкий называет дифференциальными. Признаков, по которым можно было бы безошибочно определить стилистический характер слова, нет ни у просторечных слов [3], ни у диалектизмов. Сомнительной кажется и возможность с помощью каких-либо дифференциальных признаков проникнуть в «кухню» писателя, «выделить в литературном языке художественного произведения иносистемные диалектные элементы, которые писатель в в е л (разрядка наша.— *П. Е.*) в языковую ткань своего произведения с определенной художественной целью» [9, с. 306]. Очевидно, однако, что стилистическое впечатление от слов, полностью отличающихся от литературных по фонемному составу (*кочет*, *куржак*, *базлать*, *гутарить*), от слов, которые отличаются от литературных в словообразовательном, морфологическом, произносительном отношении (*сарайка*, *парнишата*, *пировка* — «пирушка», *во степу*, *глупой*), от слов, омонимичных литературным, от слов, отличающихся от литературных значением или стилистической окраской (*х р и п гнул*, *лиственничная с е р а*, *огород* «изгородь»), неодинаково.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что ни предложенное в этой статье понимание терминов «внелитературное просторечие» и «диалектизм», ни понимание внелитературных средств как средств стилистически маркированных и их классификация не противоречат взглядам, принятым в лингвистической науке. В статье преследовалась цель доказать, что средства, не входящие в литературный язык, должны рассматриваться не только с точки зрения их социальной, территориальной, профессиональной принадлежности (т. е. с точки зрения диалектологической), но и с точки зрения языковых представлений носителей литературного языка об этих средствах (т. е. с точки зрения стилистической), и продемонстрировать стилистический подход на примере внелитературного просторечия и диалектизмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Митрофанов Г. Ф.* К вопросу о понятии просторечия в современном русском языке.— Тр. Томского гос. университета им. В. В. Куйбышева, 1960, т. 138.
2. *Филин Ф. П.* О структуре современного русского литературного языка.— ВЯ, 1973, № 2.
3. *Филин Ф. П.* О просторечном и разговорном в литературном языке.— ФН, 1979, № 2.
4. *Филин Ф. П.* Просторечие.— В кн.: Русский язык. Энциклопедия. М., 1979, с. 239.
5. *Коготкова Т. С.* Роль просторечия в процессе освоения говорами лексики литературного языка.— В кн.: Литературная норма и просторечие. М., 1977.
6. *Михайловская Н. Г.* Просторечная и разговорная лексика в судебных выступлениях.— В кн.: Литературная норма и просторечие. М., 1977, с. 147.
7. *Виноградов С. И.* «Просторечие» как категория нормативной оценки лексики в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова.— В кн.: Литературная норма и просторечие. М., 1977, с. 247.
8. *Касаткин Л. Л.* Диалектизмы.— БСЭ. 3-е изд., т. 8.

[3] Ср.: «Ответ на этот вопрос [являются ли те или иные словообразовательные аффиксы дифференциальными признаками просторечного слова.— *П. Е.*] в целом носит негативный характер: на основании данных ТСУ мы практически не можем выделить стилистически специализированные — просторечные — словообразовательные разряды» [7, с. 231].

9. *Оссовецкий И. А.* Диалектная лексика в произведениях советской художественной литературы 50—60-х годов.— В кн.: Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971.
10. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 188.
11. *Петрищева Е. Ф.* Лексика и фразеология в авторском повествовании от 1-го лица.— В кн.: Языковые процессы современной русской художественной литературы, М., 1977.
12. *Скляревская Г. Н.* К вопросу о лексикографических понятиях «разговорное» и «просторечное».— В кн.: Лингвистические исследования. Л., 1970.
13. Словарь русского языка. Сост. С. И. Ожегов. 9-е изд. испр. и доп. М., 1972.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

БЕЛОУСОВА А. С.

РУССКИЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА

(лексический класс и вопросы его словарного описания)

I. Исследователи неоднократно отмечали как недостаток наших современных толковых словарей непоследовательность отражения в них системности словарного состава, отсутствие унифицированных описаний семантически близких слов. Определяя причины этих недостатков, В. В. Виноградов писал, что объясняются они, с одной стороны, сложностью самого объекта описания, необходимостью дальнейшего углубленного исследования «семантической системы современного русского языка в целом и в отдельных ее структурных элементах и компонентах», а с другой стороны, существующей техникой лексикографической работы, при которой редакторы и составители словаря вынуждены работать с алфавитным списком, «от слова к слову, по соседству», а не с систематизированным словником; он подчеркивал необходимость учитывать при лексикографической обработке слов их соотношения и связи с семантически близкими словами и лексическими группами: это будет способствовать устранению недостатков и ошибок в дифференциации значений слов и их оттенков, в их семантической характеристике [3, с. 251; см. также 22]. В работах, посвященных вопросам унификации лексикографических квалификаций семантически близких слов, предлагались возможные пути решения: выделение тематических или лексикосемантических групп, выявление основных типов словарных описаний входящих в них слов и существующих расхождений в этих описаниях, определение способов преодоления выявленных расхождений путем разработки однотипных определений (моделей) для тех или иных групп лексики [22, 2, 9, 10, 18, 14]. Тем не менее, задача выработки научно обоснованных унификаций лексикографических характеристик семантически близких слов продолжает оставаться актуальной. Преодоление сложившегося положения исследователи видят в создании научно обоснованной классификации лексики, отражающей ее внутреннюю иерархическую организацию и основанной на таких принципах, которые позволили бы сгруппировать и поставить рядом слова, требующие идентичных лексикографических квалификаций [24].

В настоящей статье предпринята попытка выработать принципы построения такой классификации на материале имен существительных со значением лица — достаточно широкого и семантически своеобразного участка русской лексической системы: наименования лица характеризуются «семантической двойственностью, возникающей вследствие того, что данные имена устойчиво ассоциируются с действиями, поступками, поведением их носителей, отражают в своем значении разные стороны человеческого бытия» [6; см. также 1]. За единицу принимается «семема», т. е. отдельное значение многозначного слова или слово в целом, если оно однозначно. Наименования лица вычленяются из состава конкретной лек-

сики на основании общего признака «название человека». В этот же класс включаются и названия вымышленных человекоподобных существ, мифологических, религиозных образов, сказочных персонажей; это, с одной стороны, слова типа *бес*, *водяной*, *леший*, *русалка*, *сатана*, с другой — наименования типа *герой* («главное действующее лицо литературных произведений»), *богатырь* («герой русских былин, совершающий воинские подвиги»), *персонаж* («действующее лицо в литературном произведении»), *арлекин* («традиционный персонаж итальянской „комедии масок“»). Основанием для включения этих слов в класс наименований лица служат их языковые характеристики. Названия типа *русалка*, *леший* наряду с названиями человека входят в разряд одушевленных существительных: они означают «существо способное к мышлению»; они противопоставлены по признаку пола (*баба-яга — дед-мороз*, *волшебник — волшебница*); их валентностные свойства совпадают с валентностными свойствами реальных лиц. Слова типа *герой*, *персонаж*, кроме того, включают в свое значение элемент «действующее лицо», который объединяет их в один класс с названиями реальных лиц и определяет общность их языковых характеристик [1].

Предварительный анализ словарных толкований именных лексем со значением лица, содержащихся в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова [12], показывает характерные расхождения в лексикографическом описании слов этого класса.

1) Семантическая структура слов, обозначающих соотносительные понятия, разрабатывается по-разному. Например, слово *мужчина* представлено как однозначное: «взрослый человек, лицо, противоположное женщине по полу», а в слове *женщина* соотносительные понятия расчленены и представлены двумя значениями: «1. Лицо, противоположное мужчине по полу; та, которая рождает детей. 2. Взрослая, в отличие от девочки, девушки».

2) Полнота отражения элементов значения в толкованиях различна. Например, в толковании существительного *невеста* отражена возрастная характеристика: «достигшая возраста, при котором можно вступать в брак», а в толковании слова *жених* этот элемент значения не отражен (ср.: *У нее уже дочери невесты.— У нее уже сын жених*); в слове *девушка* выделяется значение «обращение к молодой женщине», а в слове *юноша* этот смысловой элемент не отражен (см. об этом ниже). В толкования слов — названий титулов, рангов, чинов (*барон*, *виконт*, *доцент*, *камергер*, *камер-юнкер*, *мичман* и под.) последовательно включается элемент «и лицо, имеющее этот титул (чин, звание)», а в толкованиях слов *богдыхан*, *городовой*, *гроссмейстер*, *падишах*, *стражник* он отсутствует.

3) Подача субстантивированных прилагательных со значением лица непоследовательна: они даются в словаре то как иллюстрация к соответствующему прилагательному (*больной*, *дорогой*, *милый*), то как самостоятельное значение, выделяемое в прилагательном (*рулевой*), то как отдельное слово (*связной*, *вахтенный*).

4) Образные употребления семантически близких слов также отражаются непоследовательно: например, в статью *бес* образные употребления не включаются, в статье *дьявол* дается несколько иллюстраций образных употреблений, а в статье *черт* употребления в образных выражениях представлены достаточно полно.

5) Нет последовательности в подаче существительных с модификационными суффиксами уменьшительности и детскости; например, слово *дьяволенок* представлено самостоятельной словарной статьей, а *бесенок* и *чертенок* помещены с пометой «уменьш.» в гнездо под основными словами.

[1] О референтной отнесенности слов типа *русалка* см. [4].

Отмеченные расхождения, безусловно нежелательные для словаря, имеют языковые объяснения. Так, в описании слов *мужчина* и *женщина* принципиально возможны оба способа разработки их семантической структуры: очевидно, что приведенное выше толкование слова *мужчина* включает в себя необходимые элементы его значения [2]. Отсутствие в толковании слова *юноша* элемента «обращение к молодому мужчине» объясняется тем, что в современном языке в этом значении чаще употребляется сочетание *молодой человек* (фиксируемое в словаре), а слово *юноша* как обращение приобрело оттенок устарелости. Отсутствие в толкованиях слов *городовой* («в царской России: нижний чин городской полиции»), *стражник* («в царской России: низший полицейский чин в сельских местностях»), элемента «а также лицо, имеющее этот чин» объясняется тем, что толкующее слово *чин* уже само по себе многозначно: это и «служебный разряд у военных и гражданских служащих», и лицо — «чиновник, служащий, представитель какого-н. ведомства». Непоследовательность словарного описания субстантивированных прилагательных объясняется сложностью самого явления субстантивации. Если для одних слов можно говорить о том, что в субстантивате уже сформировалось самостоятельное значение (например, *вахтенный* — не любое лицо, имеющее отношение к вахте, а только «матрос, несущий вахту»; *связной* — не всякое лицо, служащее для поддержания связи, а только «боец, поддерживающий живую связь между командиром и его непосредственным начальником, между воинскими частями»), то в других случаях определить степень самостоятельности выделяемых в рамках прилагательного субстантивирующихся значений оказывается затруднительным.

II. Полная классификация существительных со значением лица, построенная на таких принципах, которые позволят объединить слова, требующие единых лексикографических квалификаций, даст возможность выявить все существующие здесь расхождения, а сам материал подскажет возможные пути их устранения.

Имена существительные со значением лица неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. Работы, в которых класс наименований лица исследуется с точки зрения содержания составляющих его членов, можно разделить на два круга. С одной стороны, это работы, посвященные анализу семантических свойств отдельных лексических группировок в аспекте их соотношения с формальными средствами выражения; с другой стороны,— работы, посвященные семантическому анализу различных лексико-семантических групп слов в аспекте выявления их внутрисистемных отношений. Так, на материале отдельных лексико-семантических групп наименований лица разрабатывались положения об уровневой организации лексической системы [16, 23], о строении отдельного лексического значения, об использовании метода компонентного анализа применительно к конкретным существительным [7, 15, 13]. Назывались признаки, на основании которых может быть определена тематическая организация класса наименований лица: «род занятий», «принадлежность к общественным группировкам», «участие в чем-л.», «национальная принадлежность», «место жительства», «внутренние качества», «личные отношения», «социальное положение», «имущественное положение», «возраст», «брачные отношения», «внешние особенности», «родственные отношения» и др. [8, 13]. Хотя в исследованиях, посвященных изучению существительных со зна-

[2] В конкретной речевой ситуации в слове *мужчина* могут актуализироваться те или иные отдельные признаки, включаемые в его обобщенное толкование; например, в предложении *Пете было весело оттого, что уехав из дома мальчиком, он вернулся... молодцом-мужчиной* (Л. Толстой) в слове *мужчина* актуализируется признак взрослости.

чением лица, и не было выработано общей лексической классификации этого класса слов, тем не менее в них определился общий принцип, который может быть положен в основу построения такой классификации: от наиболее общих классов — к классам более конкретным, к лексическим группам и подгруппам. Такой подход определяется прежде всего тем, что современные методы исследования лексической семантики позволяют подойти к анализу значения слова как к сложному единству, комплексу элементарных семантических признаков, по которым слова могут объединяться или противопоставляться друг другу. Применительно к названиям лица эти признаки выявляются как абстрагированные свойства лица и могут быть сгруппированы в два больших класса: признаки общие и индивидуализирующие [3]. Общие признаки служат для объединения единиц в класс и соотнесения его с другими словесными группировками внутри лексической системы в целом; это признак предметности (включающий названия лица в категорию имени существительного), признак конкретности (вводящий эти слова в группу конкретных имен существительных) и признак лица (формирующий тематическую группу «наименования лица»). Индивидуализирующие признаки служат для выделения различных группировок внутри класса и соотнесения их между собой. Например, в словах типа *бондарь*, *горшечник*, *гончар* последовательно выделяются индивидуализирующие признаки: 1) деятельности; 2) трудовой деятельности; 3) квалифицированной производственной деятельности; 4) деятельности, создающей продукты производства. Все эти признаки для слов типа *горшечник*, *бондарь*, *гончар* являются объединяющими; противопоставляются же эти слова по наиболее конкретизированному — пятому признаку — по виду продуктов производства.

Общие признаки определяют положение слов со значением лица в лексической системе языка в целом, но оказываются иррелевантными при построении классификации, отражающей внутреннюю иерархическую организацию именно данного лексического класса. Конкретный анализ и детальная классификация должны осуществляться путем соотнесения друг с другом индивидуализирующих признаков, полученных в результате расчленения и последовательного сужения смысловых элементов слова.

Известно, что структурная организация лексико-семантической системы характеризуется последовательным включением слов нижестоящего уровня абстракции в вышестоящий. Следовательно, классификация слов со значением лица как определенного участка этой системы должна отражать основную характеристику системы и строиться на принципах «ступенчатости» и «инклюзивности» [11, 5].

Лексический класс слов со значением лица достаточно широк и включает в себя группы слов, связанных различными видами семантических отношений. С одной стороны, это узкие группировки, члены которых могут быть противопоставлены друг другу по одному вполне конкретизированному семантическому признаку (например, наименования лиц по полу, возрасту: *мужчина — женщина*; *старик — юноша*). С другой стороны, это широкие группировки, члены которых не имеют такой семантической противопоставленности (например, наименования лиц по социальному состоянию: *банкрот*, *заводчик*). Тем не менее, и такие широкие объединения слов «не осуществляются вне тех рамок, которые устанавливаются языком, а соответственно в той или иной мере определяются общим характером семантических отношений, свойственных данному конкретному языку» [26; см. также 21]. Поэтому изучение существительных со значением лица не может быть ограничено только анализом отношений, воз-

[3] «Обобщенные» и «эмпирические», по определению А. А. Уфимцевой [19].

никающих в группировках первого типа. При построении классификации следует исходить из учета всех существующих в лексическом классе семантических отношений между его членами. Избранный путь построения классификации — от выделения тематических классов — к тематическим подклассам, с дальнейшим вычленением лексико-семантических групп и рядов слов разной степени обобщенности, связанных отношениями противопоставления, ступенчатого соподчинения и обратного включения — позволяет выявить и соотнести между собой все такие группировки [4]. При этом классификация естественно достигает такой ступени членения, на которой оказывается возможным выделить ряды слов, характеризующиеся не только общностью индивидуализирующих семантических признаков, но и общими валентностными и деривационными характеристиками [5].

На основании изложенных принципов нами получена следующая классификация русских наименований лица [6]. На первом шаге классификации выделяются два неравных по объему тематических класса, противопоставляемых на основании различий в их референтной отнесенности: тематическому классу А «названия реальных лиц», члены которого характеризуются отнесенностью к объектам реальной действительности, противопоставляется класс Б — «названия существ человекоподобных, мифологических, вымышленных, сказочных персонажей», для которых предметом обозначения является конструируемый образ несуществующего объекта. Особый характер референтной отнесенности слов класса Б определяет собою и тот весьма существенный факт, что, не представляя класса реальных объектов, эти слова не организуются в иерархически организованные подклассы. Характерными семантическими свойствами слов класса Б является отсутствие родо-видовых связей между словами, широко распространенных в классе А, а также тенденция к образованию специфических переносных оценочных значений, например: *богатырь* «герой русских былин, совершающий воинские подвиги» и «перен. человек безмерной силы, стойкости, отваги»; *ведьма* «в старых народных поверьях: колдунья» и «перен. о злой, сварливой женщине»; *бука* «фантастическое существо, которым пугают детей» и «перен. нелюдимый, угрюмый человек». В значение каждого члена рассматриваемой группы Б входит семантический признак нереальности именуемого лица, который должен получить отражение в толкованиях слов в виде таких элементов, как: «сверхъестественное существо», «сказочный персонаж», «мифологический образ». Дальнейшее исследование слов класса Б связано с выявлением и расчленением в рамках каждой отдельной единицы конкретных семантических признаков, которые соответствуют комбинации элементов, положенных в основу конструируемых образов (например, образ русалки, представляющий комбинацию женщины и рыбы; образ

---

[4] Классификация строится на материале, извлеченном из «Словаря русского языка» С. И. Ожегова [12], в котором достаточно полно представлены современные русские наименования лица. Этот материал проверялся и пополнялся путем обращения к «Словарю современного русского литературного языка» в 17-ти томах [17].

[5] В современном русском языке существует ряд слов, которые в конкретной речевой ситуации могут обозначать как лицо, так и не-лицо, например, *дрянь* «о ком-чем-н. скверном, плохом, ничтожном», *прелесть* «о ком-чем-н. прелестном, чарующем», *гигант* «существо громадных размеров, великан», *создание* «о человеке, живом существе», *существо* «живая особь, животное, человек» и под. Эти слова в классификацию наименований лица не включались.

[6] В журнале по техническим причинам описываемая классификация не может быть представлена в виде общей схемы. На схеме I представлены четыре первых шага классификации с последующей детализацией подгруппы 2. На схеме II представлены последующие шаги классификации подгруппы 3.

Схема I

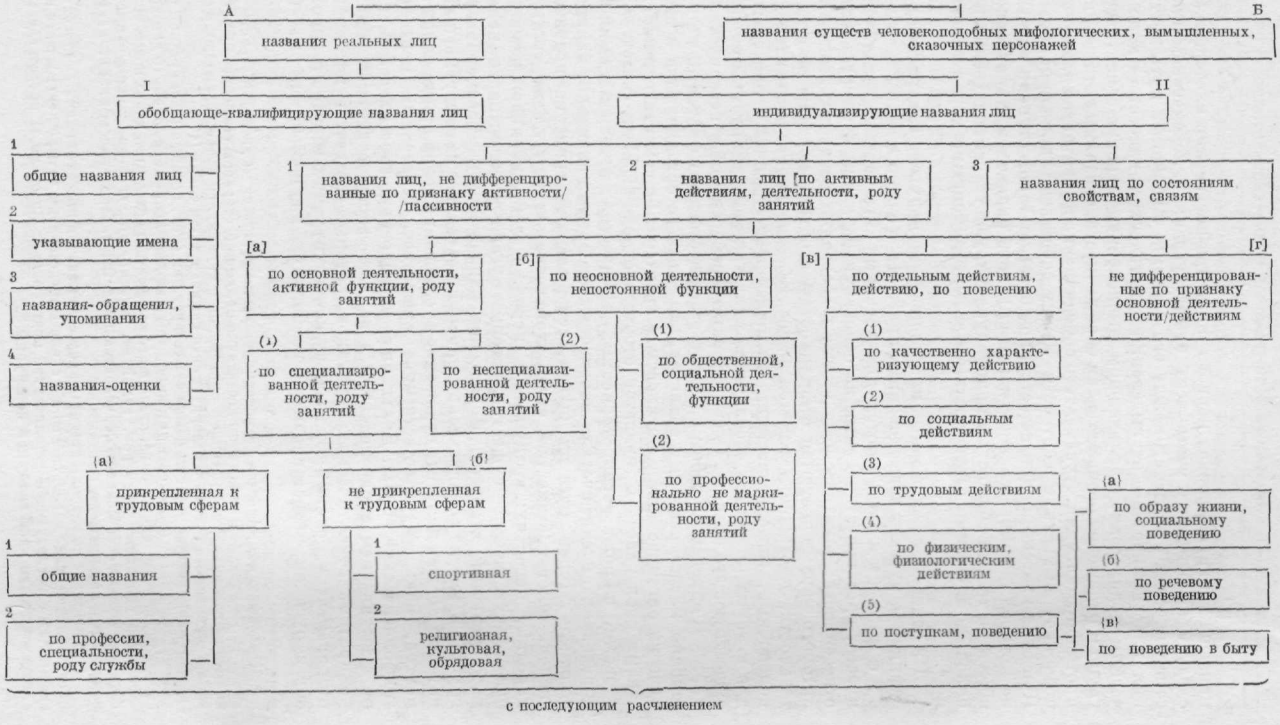
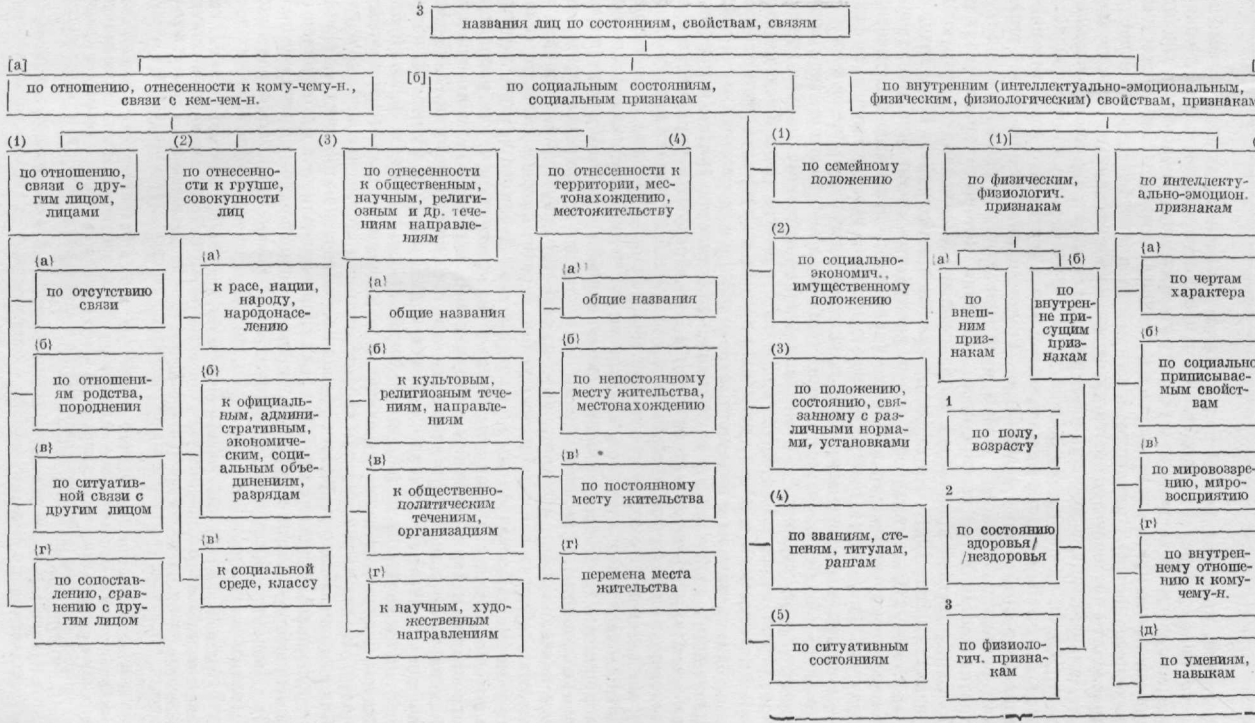

А
названия реальных лиц
Б
названия существ человекоподобных мифологических, вымышленных, сказочных персонажей
I
обобщающе-квалифицирующие названия лиц
II
индивидуализирующие названия лиц
1
общие названия лиц
2
указывающие имена
3
названия-обращения, упоминания
4
названия-оценки
1
названия лиц, не дифференцированные по признаку активности/ /пассивности
2
названия лиц по активным действиям, деятельности, роду занятий
3
названия лиц по состояниям свойствам, связям
[а]
по основной деятельности, активной функции, роду занятий
[б]
по неосновной деятельности, непостоянной функции
[в]
по отдельным действиям, действию, по поведению
[г]
не дифференцированные по признаку основной деятельности/действиям
(1)
по специализированной деятельности, роду занятий
(2)
по неспециализированной деятельности, роду занятий
(1)
по общественной, социальной деятельности, функции
(2)
по профессионально не маркированной деятельности, роду занятий
(1)
по качественно характеризующему действию
(2)
по социальным действиям
(3)
по трудовым действиям
(4)
по физическим, физиологическим действиям
(5)
по поступкам, поведению
(а)
по образу жизни, социальному поведению
(б)
по речевому поведению
(в)
по поведению в быту
(а)
прикрепленная к трудовым сферам
(б)
не прикрепленная к трудовым сферам
1
общие названия
2
по профессии, специальности, роду службы
1
спортивная
2
религиозная, культовая, обрядовая
с последующим расчленением

Схема 11


3
названия лиц по состояниям, свойствам, связям
[а]
по отношению, отнесенности к кому-чему-н., связи с кем-чем-н.
[б]
по социальным состояниям, социальным признакам
[в]
по внутренним (интеллектуально-эмоциональным, физическим, физиологическим) свойствам, признакам
(1)
по отношению, связи с другим лицом, лицами
(а)
по отсутствию связи
(б)
по отношениям родства, породнения
(в)
по ситуативной связи с другим лицом
(г)
по сопоставлению, сравнению с другим лицом
(2)
по отнесенности к группе, совокупности лиц
(а)
к расе, нации, народу, народонаселению
(б)
к официальным, административным, экономическим, социальным объединениям, разрядам
(в)
к социальной среде, классу
(3)
по отнесенности к общественным, научным, религиозным и др. течениям направлениям
(а)
общие названия
(б)
к культовым, религиозным течениям, направлениям
(в)
к общественно-политическим течениям, организациям
(г)
к научным, художественным направлениям
(4)
по отнесенности к территории, местонахождению, местожительству
(а)
общие названия
(б)
по непостоянному месту жительства, местонахождению
(в)
по постоянному месту жительства
(г)
перемена места жительства
(1)
по семейному положению
(2)
по социально-экономич., имущественному положению
(3)
по положению, состоянию, связанному с различными нормами, установками
(4)
по званиям, степеням, титулам, рангам
(5)
по ситуативным состояниям
(1)
по физическим, физиологич. признакам
(а)
по внешним признакам
(б)
по внутренне присущим признакам
1
по полу, возрасту
2
по состоянию здоровья/ /нездоровья
3
по физиологич. признакам
(2)
по интеллектуально-эмоцион. признакам
(а)
по чертам характера
(б)
по социально приписываемым свойствам
(в)
по мировоззрению, мировосприятию
(г)
по внутреннему отношению к кому-чему-н.
(д)
по умениям, навыкам
с последующим разграничением

кентавра, представляющий комбинацию человека и лошади; образы лешего, водяного, сочленяющие в себе признаки человека и специфической, «нечеловеческой» внешности и сферы обитания; образы бабы-яги, ведьмы, совмещающие признаки человека и не свойственных ему сверхъестественных способностей). Выявление таких признаков и их комбинаций позволит проследить последовательность их отражения в словарных толкованиях.

Дальнейшие классификационные шаги связаны с анализом слов класса А. В этом классе второй шаг классификации определяется характером взаимоотношения в рамках отдельного значения понятийного и предметного содержания. Группе наименований лица с широкой понятийной основой («обобщающе-квалифицирующие названия» I) противопоставляется группа слов, значения которых характеризуются более конкретной предметной направленностью («индивидуализирующие названия лица» II) [7]. В отличие от наименований группы II, в которых далее могут быть выделены более конкретные индивидуализирующие семантические признаки, вводящие слово в определенный тематический подкласс (например: *слесарь* — «род занятий», *урод* — «внешний физический признак»), значения слов, входящих в группу I, сводятся к максимально общим признакам, соотносящим их с любым лицом (например: *человек*, *лицо*, *персона*) [8]. Классифицирующие возможности этих признаков, отражающих самые общие свойства и качества, ограничены отнесением называемого к классу реальных лиц, а референт, стоящий за данным наименованием в виде конкретного лица с присущими ему характеризующими свойствами и качествами, определяется только в контексте высказывания. Поэтому слова группы I не образуют иерархически организованных классов и подклассов. Дальнейший их анализ связан с выделением — в зависимости от качества обобщенного признака — достаточно четко очерченных лексико-семантических групп. Выделяются четыре подгруппы. 1. «Общие названия лица», например: *индивидуальность* «отдельная личность, индивидуум», *лицо* «человек как член общества»; *личность* «человек как носитель каких-н. свойств, лицо», *человек* «живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда» [9]. Эта немногочисленная подгруппа включает слова, выступающие как родовые по отношению к наименованиям, объединяемым в группе II, и по существу находящиеся с ними в отношениях семантической гипонимии. 2. «Указывающие имена», т. е. имена с полностью дейктической функцией, например: *душа* «о человеке (обычно в устойчивых сочетаниях; разг.: *В доме живой души нет*)», *голова*, *субъект*, *тип* (о человеке, с элементом оценочности). По своим лексическим характеристикам члены этих двух подгрупп близки: они обладают низким уровнем семантической индивидуализации; обобщающий характер значений этих слов определяет и их основное семантическое свойство: иррелевантность по отношению к признаку пола. 3. «Названия-обращения, упоминания»: *голубчик* «ласковое обращение»,

---

[7] «Можно разграничить, по-видимому, слова, лексические значения которых имеют более определенную „предметную“ направленность, и слова, лексические значения которых имеют менее определенную „предметную“ направленность..., хотя нужно заметить, что данное разграничение не совпадает с распространенным делением лексики на конкретную и абстрактную» [25].

[8] Тезис о противопоставлении предметных имен по характеру их номинативного значения развивается в работе А. А. Уфимцевой [20]; принцип разграничения конкретных имен существительных по характеру номинации на два класса: «названия единиц, входящих в классы (собственно-названия)» и «названия-квалификаторы» обосновывается Н. Ю. Шведовой.

[9] Здесь и далее, естественно, приводятся не полные списки слов, а только отдельные иллюстрации.

господин «форма вежливого обращения или упоминания», *девушка* «обращение к молодой женщине», *дорогуша* «дружеское фамильярное обращение». 4. «Названия-оценки»: а) собственно оценочные слова, такие, как *бестолочь, гадина, дурак, молодец* («при выражении похвалы, одобрения в значении делающий все отлично, умелый, ловкий человек; разг.»); б) оценочно-характеризующие наименования, обладающие, помимо оценочности, еще и конкретным номинативным значением (по терминологии В. В. Виноградова [3, с. 171]), но с преобладанием элемента оценки над индивидуализирующим признаком; например: *ас* «выдающийся по мастерству», *борзописец* «тот, кто пишет быстро, наспех и поверхностно», *бумагомаратель* «автор бездарных произведений», *зубрила, крючкотвор, волынщик*.

Как уже сказано, обобщающе-квалифицирующие наименования не объединяются в иерархически организованные классы и подклассы, поэтому второй шаг классификации для них оказывается последним. Дальнейшее построение классификации наименований лица (третий шаг) полностью относится к словам группы II. Характерной особенностью слов этой группы является то, что они в значительной своей части используются не столько для того, чтобы назвать лицо, сколько для того, чтобы представить некоторую информацию о нем: о его действиях, поступках, поведении, характеризующих свойствах, качествах и т. п.

Слова группы II («индивидуализирующие названия лица») по-разному соотносятся друг с другом в зависимости от того, какие индивидуализирующие признаки, отражающие свойства и качества именуемых лиц, могут быть выделены в их значениях. Сами эти признаки иерархически организованы. Например, в словах типа *библиофил, богомол, властолюбец, гастроном* последовательно, путем постепенного сужения, могут быть выделены признаки: лицо, называемое по внутреннему состоянию → лицо, называемое по интеллектуально-эмоциональному свойству → → лицо, называемое по склонности, пристрастию к каузирующему объекту. В словах типа *годок, двойник, единоплеменник, земляк, одногодок, однолеток* соответственно выделяются признаки: лицо, называемое по состоянию соотнесенности, связи с другим лицом или другими лицами → по сопоставлению с другим лицом или лицами → по сходству в чем-л. с другим лицом или лицами. В словах типа *бумажник, водник, кожевник* последовательно выделяются признаки: лицо, называемое по деятельности → по специализированной трудовой деятельности → по трудовой деятельности в определенной сфере промышленного производства. Так отвлекаемые от значений признаки, представляя различные виды действий, состояний, связей, свойств, сами образуют иерархически организованные противопоставленные классы: активные признаки (деятельность, действие) противопоставляются пассивным признакам (разнообразные виды внешних и внутренних состояний, связей). Внутри этих групп соответственно выделяются более мелкие группировки. В наименованиях лица деятельность может быть представлена как специализированная и неспециализированная; специализированная деятельность выступает как деятельность трудовая (профессия, специальность, должность, род службы) и деятельность, не прикрепленная к трудовым сферам (религиозная, культовая, спорт). Пассивные признаки также организуются в зависимости от того, какие виды состояний, связей, свойств представлены в наименованиях: внешние по отношению к лицу (социальные состояния и связи, отнесенность к территории, учреждению, организации и т. д.) или внутренние (интеллектуально-эмоциональные, физические, физиологические).

Важно отметить, что в наименованиях лица могут быть одновременно представлены признаки одного уровня обобщения, относящиеся к проти-

вопоставленным группировкам; например, сочленяются активные и пассивные признаки. Поэтому при построении классификации соблюдается принцип, согласно которому наряду с выделением групп слов, противопоставляемых друг другу по наличию или отсутствию того или иного семантического признака, выделяются группировки, целиком противостоящие двум первым.

В соответствии с изложенными принципами, на третьем шаге классификации в группе II выделяются подгруппы: 1) «названия лиц, не дифференцированные по признаку активности-пассивности»; 2) «названия лиц по активным действиям, деятельности, роду занятий»; 3) «названия лиц по состояниям, свойствам, связям (лицо как объект воздействия или как пассивный носитель состояний, свойств, отношений)».

В подгруппе 1 объединяются слова, в значениях которых сочленены признаки активные (действие, деятельность, род занятий, активная функция) и признаки, представляющие те или иные виды состояний, связей и отношений. Например, в словах типа *гонец* («в старину: человек, посланный куда-н. со срочным известием»), *нарочный* («лицо, посланное со спешным поручением, гонец, курьер»), *посланец* («высок., лицо, посланное куда-н. с каким-н. поручением, заданием») и под. сочленены активная функция лица (выполнение поручения, задания) и пассивный признак (лицо как объект чьего-л. волеизъявления). Сложность значений таких слов объединяет их в подгруппы, противопоставленные вместе подгруппам 2 и 3.

Последующие шаги классификации слов подгрупп 1, 2 и 3 различны. В подгруппе 1 членение связано с выявлением характера сочлененных активных и пассивных признаков, в подгруппах 2 и 3—с дальнейшей последовательной конкретизацией (сужением) признаков.

Итак, на четвертом шаге классификации в подгруппе названий лиц, не дифференцированных по признаку активности/пассивности, выделяются: наименования лица по социальной деятельности (представительству), одновременно указывающие на связь с тем (лицом, группой лиц, учреждением), кого оно представляет и кто на него воздействует, например: *делегат* «выборный или назначенный представитель, уполномоченный государством, коллективом» (лицо, представляющее коллектив и одновременно этим коллективом делегированное): *делегат конференции*; *депутат* «выборный представитель, член выборного государственного учреждения»; *заседатель* «выборный представитель населения, привлеченный к участию в делах какого-н. учреждения» [а]; наименования лица по социальной деятельности (исполнение поручения), одновременно представляющие его как объект воздействия со стороны другого лица (или лиц), например: *гонец*, *нарочный*, *посланец*, *курьер* [б]; наименования лица по социальной деятельности (покровительство, опека), одновременно представляющие лицо как объект воздействия со стороны другого лица (или лиц) и характеризующие его с точки зрения правовых норм, установок, например: *душеприказчик* «лицо, которому завещатель поручает приведение в исполнение завещания»; *опекун* «лицо, которому поручена опека над кем-н.»; *попечитель* «официально назначенное лицо для попечения о ком-н.» [в]. Новые виды соотношений активных и пассивных признаков дают и новые группировки и продолжают внутреннее членение данного класса.

Сочлененные семантические признаки, на основании которых на четвертом шаге классификации в подгруппе 1 выделяются рассмотренные группировки, представляют собой семантические идентификаторы для членов этих группировок. Например, для слов группы [а] идентификатором будет: лицо + социальная деятельность (представительство) + связь с

лицом, коллективом, который это лицо представляет + воздействие на него со стороны представляемого лица, коллектива (делегирование, избрание). Выделяемый семантический идентификатор предполагает следующую схему дефиниции идентифицируемых слов: «лицо, которое представляет кого-что-л., будучи с этой целью избрано, уполномочено, делегировано куда-л.». Таким образом, четвертый шаг классификации слов подгруппы 1 подводит к выделению групп слов, для которых оказывается возможным предложить общую схему дефиниции и проследить последовательность ее отражения в имеющихся словарных толкованиях.

Как было отмечено выше, дальнейшее членение подгруппы 2 — «названий лиц по активным действиям, деятельности, роду занятий» и 3 — «названий лиц по состояниям, свойствам, связям» определяется последовательным сужением и конкретизацией индивидуализирующих семантических признаков слова. В подгруппе 2 выделяются названия лиц: [а] по основной деятельности, по активной функции, роду занятий; [б] по неосновной деятельности, непостоянной функции; [в] по отдельным действиям, действию, по поведению; [г] названия, не дифференцированные по признаку основной деятельности/отдельным действиям. В подгруппе 3 выделяются названия лиц: [а] по отношению, отнесенности к кому-чему-н., связям с кем-чем-л.; [б] по социальным состояниям, социальным признакам; [в] по внутренним (интеллектуально-эмоциональным, физическим, физиологическим) свойствам, состояниям и внешним физическим признакам. Последующие шаги классификации покажем на примере названий лица по отношению, отнесенности к кому-чему-л., связям с кем-чем-л.

В соответствии с тем, что является предметом соотношения, связи с именуемым лицом, на пятом шаге членения в группе слов 3 [а] выделяются названия лица: (1) по соотнесенности, связям с другим лицом или лицами; (2) по отнесенности к группе, совокупности лиц; (3) по отнесенности к общественным, научным, религиозным и др. течениям, направлениям, организациям; (4) по отнесенности к территории, местонахождению, местожительству.

На последующих шагах классификации последовательно выделяются: среди (1) названий лица по соотнесенности, связям с другим лицом или лицами: {а} названия по отсутствию связи: *чужак*, *никто*; {б} по отношениям родства, породнения, брачным отношениям, где в свою очередь могут быть вычленены: общие наименования — *родственник*, *родич*, *родня* «то же, что родственник или родственница»; общие наименования, содержащие спецификацию по потомственной соотнесенности: *отпрыск*, *потомок*, *праотец*, *прародитель*, *пращур*, *предок*; наименования по родству: *бабушка*, *батя*, *внук*, *дед*, *дочь*, *сын*, *мать*, *прадед*, *прабабушка*; по породнению: *восприемник*, *крестник*, *крестница*, *кум*, *кума*; по свойству: *деверь*, *золовка*, *невестка*, *свекровь*, *тесть*, *сват*, *сваха*; по официальным брачным отношениям: *жена*, *муж*, *жених*, *невеста*; по неофициальным брачным отношениям: *любовник*, *любовница*, *сожитель*, *сожительница*, *наложница*; наименования по семейным, брачным отношениям, содержащие дополнительную характеристику по социальному положению на основании родственной связи с лицом (*декабристка*, *генеральша*, *губернаторша*, *дьячиха*); на основании неофициальных брачных отношений с лицом (*содержанка*, *сутенер*); {в} названия по ситуативной связи с лицом с последующим выделением: наименований по контакту, общению, знакомству: *дружок*, *знакомец*, *коллега*, *кореш*, *кунак*, *побратим*, *подруга*, *приятель*; по совместным действиям, деятельности: *дама* «женщина, танцующая в паре с кавалером», *кавалер*, *компаньон*, *конкурент*, *напарник*, *партнер*, *попутчик*, *приспешник*, *сообщник*, *соумышленник*; {г} названия по сопоставлению, сравнению с кем-л. с последующим выделением наименований по несов-

иноземец, человек иной веры»,
иноверец «человек другой веры,
неровня; по сходству, совпаде-
к, *единоплеменник*, *земляк*, *ком-*
ик, *одноклубник*, *односельчанин*,
аг связан с выделением внутри
иняемых сравниваемым призна-
ли, организации, религии и т. д.
руппе, совокупности лиц (2) по-
по отнесенности к расе, нации,
м вычленением — по смешению
к одной нации, народу, народо-
нголы, *половцы*, *поляки*; {б} по
ративным, экономическим, со-
гиозным: *мирянин*, *монах*, *прихо-*
рсник, *пятиклашка*; экономико-
к; военизированным: *буденовец*,
льной среде, классу с последую-
адлежности к одной среде, клас-
нин и наименований, отражаю-
«тот, кто перешел из одной со-
жуазно-дворянской среде: чело-
го происхождения, разночинец».
общественным, научным, религи-
ганизациям (3) далее вычленяют-
«человек, следующий какому-н.
х-н. взглядов, какого-н. учения»;
зным, культовым течениям, на-
иудей, *католик* ; {в} по отнесен-
ппировкам, течениям, организа-
изоляционист, *космополит*, *кон-*
к различным направлениям, те-
декадент, *импрессионист*, *конст-*

несенности к территории, место-
деляются: {а} общие названия:
епостоянному месту жительства,
, *дачник*, *ночлежник*, *зимовщик*,
нному месту жительства: конти-
, *австралиец*, *африканец*; стране,
кавказец, *островитянин*, *помор*,
енному пункту: *горожанин*, *коло-*
т, кто занимает жилое помещение
ния, отражающие перемену места
ец, *поселенец*; {д} содержащие до-
«уроженец Поволжья, по своей
ями», *таежник* «житель таежной
угими промыслами в тайге», *донец*
царской России: постоянный жи-
к податным сословиям».
ных со значением лица доводится
ия, когда оказывается возможным
ные группировки слов, связанных
ких признаков. Возможно и даль-
таты его не будут однозначны, так

как каждая из группировок, выделяемых на последнем шаге классификации, имеет собственную внутреннюю организацию, отличную от других. В одних случаях могут быть выделены пересекающиеся группы слов, когда одни и те же слова включают признаки, вводящие их сразу в несколько групп (например, среди названий по родству могут быть выделены наименования, противопоставляемые по полу, и наименования, противопоставляемые по возрасту, причем наборы слов той и другой групп будут сходными). В других случаях могут быть выделены те или иные ряды синонимов [например, в группе названий лица по сравнению, идентификации: совпадение по возрасту (*годок*, *одногодок*, *ровесник*, *однолеток*, *сверстник*), совпадение по отнесенности к одной нации, народу, племени (*единоплеменник*, *соотечественник*, *соплеменник*)] или отдельные узкие ряды вплоть до выделения отдельных слов (например, *современник* среди названий лиц по сравнению, идентификации с кем-н. на основании временнóй соотнесенности). В приводимой классификации такие максимально детализированные группировки не показываются, так как их вычленение выходит за рамки поставленной в статье задачи — представить наименования лица в виде групп слов, не только требующих унифицированных лексикографических квалификаций, но и содержащих в своих значениях собственно языковые основания для осуществления таких унификаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976, с. 146, 347.
2. *Биржакова Е. Э.* Об определениях в толковом словаре слов, обозначающих животных.— В кн.: Лексикографический сборник. Вып. II. М., 1957.
3. *Виноградов В. В.* Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
4. *Гак В. Г.* К типологии лингвистических номинаций.— В кн.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977, с. 253, 254.
5. *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1977, с. 14.
6. *Купина Н. А.*, *Скорнякова М. Ф.* Коннотативность в семантической группе названий лица.— В кн.: Классы слов и их взаимодействие. Свердловск, 1979, с. 92.
7. *Ломтев Т. П.* Конструктивное построение смыслов имен с помощью комбинаторной методики (Термины родства в русском языке).— ФН, 1964, № 2.
8. *Максимова Г. В.* Основные проблемы изучения лексико-семантических групп (На материале существительных современного английского языка).— Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза, 1972, вып. 70.
9. *Моисеев А. И.* Типы толкования терминов родства в словарях современного русского языка.— В кн.: Лексикографический сборник. Вып. V. М., 1962.
10. *Моисеев А. И.* Наименования лиц по профессии и толковые словари современного русского литературного языка.— В кн.: Современность и словари. Л., 1978.
11. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972, с. 417.
12. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 9-е изд. Под ред. Шведовой Н. Ю. М., 1972.
13. *Путягин Г. А.* О принципах организации групп слов в лексической системе (На материале имен существительных, называющих человека по возрасту, росту, степени физической силы и степени физической красоты). Дис. на соискание уч. ст. канд филол. наук. Воронеж, 1975.
14. *Романова Н. П.* О некоторых свойствах дефиниций толкового словаря.— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972.
15. *Романова Н. П.* Построение лексико-семантической группы «наименования по профессии и роду занятий» с помощью компонентного анализа.— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии: Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции. Минск, 1970.
16. *Савельева Н. П.* Обобщенные наименования лиц в сфере изобразительного искусства.— Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1971, № 423а.
17. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.—Л., 1950—1965.
18. *Толикина Е. Н.* О некоторых правилах толкового словаря.— В кн.: Современная русская лексикография. 1976. Л., 1977.
19. *Уфимцева А. А.* Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968, с. 177.
20. *Уфимцева А. А.* Лексическая номинация (первичная, нейтральная).— В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., 1978, с. 64—65.

21. *Филин Ф. П.* О лексико-семантических группах слов.— В сб.: Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов. София, 1957.
22. *Филин Ф. П., Сороколетов Ф. П., Горбачевич К. С.* О новом издании «Словаря современного русского литературного языка» (в семнадцати томах).— ВЯ, 1976, № 3.
23. *Хашимов Р. И.* Лексико-семантическая группа слов, означающих ребенка в русском языке.— Уч. зап. Душанбинского пед. ин-та, 1971, сер. филол. наук, т. 80.
24. *Белоусова А. С.* Хроникальная заметка.— ВЯ, 1979, № 1, с. 157.
25. *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, с. 152.
26. *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык. Лексика. М.. 1977, с. 187.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

КУРКИНА Л. В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЮЖНЫХ СЛАВЯН В СВЯЗИ С ПАННОНСКОЙ ТЕОРИЕЙ Е. КОПИТАРА

К 200-летию со дня рождения Е. Копитара

В истории славистики с именем Е. Копитара связано зарождение и первая научная разработка исходных положений общей теории этногенеза южных славян, теории, которая и в настоящее время далека от ясности и завершения и, строго говоря, пока еще находится в стадии предварительных наблюдений и выводов. В отдельных работах Е. Копитара и переписке с И. Добровским [1] намечены эскизно, в остро полемической форме узловые вопросы становления и развития южнославянской языковой группы. Е. Копитар горячо и убежденно ставит вопрос о славянах как исторически самостоятельном народе, обсуждает генетические отношения между южнославянскими диалектами, затрагивает проблему прародины славян. В заметках и письмах Е. Копитара мы не найдем развернутого, последовательно аргументированного изложения научной концепции; подход к этногенезу южных славян в целом вырисовывается из отдельных высказываний, размышлений, полемически поставленных вопросов, затрагивающих разные аспекты историко-генетических отношений южных славян. В общей системе взглядов Е. Копитара на южных славян, в его паннонской теории наиболее дискуссионными и вместе с тем плодотворными оказались, на наш взгляд, две идеи, которые оформлялись и уточнялись в полемике с И. Добровским. Во-первых, это идея соединения словаков со словенцами в паннонском словенизме, давшая начало теории, призванной объяснить характер отношений западно- и южнославянских языков. Другая идея Е. Копитара связана с признанием хронологических различий двух основных миграционных потоков, идущих с севера, из Паннонии в Восточные Альпы и на Балканский п-ов. И хотя в последующем это положение Е. Копитара было воспринято критически, все же нельзя не признать, что своей полемической заостренностью оно усилило интерес к проблеме двух диалектных зон (западной и восточной) на южнославянской территории и послужило толчком к поискам генетических истоков этого состояния.

Е. Копитар исходит из двухчастного деления славянских языков и отводит важное место в формировании славян Паннонии. По обе стороны Дуная, по мысли Е. Копитара, жили праславяне (словене), в дальнейшем словаки отошли к моравам, чехам, полякам и т. д., а словенцы к каринтийцам, хорватам, болгарам и т. д. «И хотя словаки и словенцы представляют одно древнее унаследованное имя, все же,— спрашивает Е. Копитар,— *не соответствовало ли оно двум племенным образованиям в праславянском?*» [1, № 8, S. 88; № 13, S. 140]. В истолковании гетерогенности южнославянской языковой группы Е. Копитар, а вслед за ним и Ф. Миклошич исходят из положения о более раннем по времени мощном потоке

переселенцев, состоявшем преимущественно из словенских и болгарских племен, захвативших Паннонию, Моравию и всю территорию от Краса до Черного моря. Позднее этот лингвистически однородный слой был раздвинут к западу и востоку вклинившейся колонией носителей сербохорватского языка. Из этого положения вытекает ошибочный вывод Е. Копитара о паннонско-каринтийском происхождении старославянского языка. Е. Копитар полагал, что во времена Кирилла и Мефодия древний словенский пласт уже подвергся сильной модификации и лишь словенский язык, некогда занимавший огромную территорию, сохранил древний облик во всей неприкосновенности и чистоте. Он определил словенский язык как pulcherrima dialectus pulcherrimae linguae [2]. В работах В. Ягича и В. Облака была показана несостоятельность такого понимания [3]. Уже с древнейших времен словенские (X в.) и болгарские (IX в.) памятники обнаруживают достаточно устойчивые различия 1) в отражении *tj*, *dj*; 2) в форме 3-го л. ед. и мн. ч. наст. вр. (без согласного в словен. — *mъ* в ст.-сл.); 3) в род.-вин. прилагательного муж. и ср. рода (*-ga* в др.-словен. — *-го* в ст.-сл.) и т. д. Словенский язык генетически не имеет ничего общего со старославянским языком, который отражает южномакедонский диалект окрестностей Солуни.

В полемике с И. Добровским относительно хорватского языка Е. Копитар, признавая близкое родство хорватов со словенцами, все же не склонен был объединять их под общим названием — хорваты. В составе хорватской группы Е. Копитар различает настоящих генетических хорватов, которые, по свидетельству Константина Багрянородного, пришли с севера и теперь занимают Адриатическое побережье, и хорватов, примыкающих к Словении, из областей Вараждин, Криж, Загреб. Последние генетически ближе всего словенцам, поэтому Е. Копитар настаивал на общем для них названии — словенцы («... меня шокирует неправильное название: мы не хорваты, напротив, они сами, как есть, словенцами называются») [1, № 8, S. 86; № 5, S. 50; № 6, S. 62; № 26, S. 193; № 27, S. 198; № 195, S. 538]. В противопоставлении диалектов, языковым знаком которого Е. Копитар считал местоимения *kaj* и *što*, уже заложена идея единства северо-западной части южных славян. По мнению Е. Копитара, обстоятельные исследования должны привести к тому выводу, что в пространстве между Дунаем, Савой и Купой славянский диалект выступал в трех разновидностях, которые он условно обозначил как 1) Vindica seu Carniolana, 2) Hungaro-vindica и 3) Croato-vindica [1, № 6, S. 62], что в терминах современной славистики может быть представлено как единство диалектов словенских, хорватско-кайкавских и, по всей видимости, словацких племен. На это указывает пояснение И. Добровского в ответном письме: «Древнеморавский диалект является не венгерско-венетским, а словацким» [1, № 7, S. 74].

Намеченное Е. Копитаром членение южнославянской области и признание некоторой обособленности северо-западного региона лежит по существу и в основе современной классификации южнославянских диалектов. Более детальное и углубленное понимание диалектной карты южнославянских языков с учетом генетического аспекта связано с хронологическим осмыслением ареальных показаний разных языковых уровней. Преимущественным вниманием пользуются факты морфологии и особенно фонетики. В последние десятилетия в связи с интенсивным развитием лексикографических исследований усилился интерес к лексическому уровню, к реконструкции диалектных отношений по данным лексики. Все больше осознается, что именно данные лексики способны дополнить и уточнить сложившиеся представления о диалектной дифференциации южнославянских языков. По совокупности признаков, в том числе и лексических, на

южнославянской территории выделяется несколько диалектных зон, которые объединяют диалекты разных языков или совпадают с диалектами отдельных южнославянских языков. Две основные части — западная (словен.-кайк.-чакав.-шчакав.) и восточная (штокав.-болгаро-макед.),— соответствующие в этногенетических построениях двум основным волнам славянских миграций, имеют существенные различия в фонетике, морфологии, а также в лексике [4]. В пределах этих зон некоторое единство отличает диалекты словенско-чакавский [5, 6], штокавско-болгарский, болгаро-македонский. Можно говорить и о лингвистической гетерогенности отдельных южнославянских языков. В составе словенского языка разграничивается собственно словенская часть и северо-западная, обнаруживающая тесные соприкосновения с южной частью западнославянских языков. В области болгарского языка довольно определенно прослеживается граница, проходящая с северо-востока на юго-запад и с севера на юг. По мнению М. Младенова [7], эта граница является той линией, около которой и в одном направлении с которой наблюдается целый ряд явлений языковых и этнографических. Не однородна структура и сербохорватского языка.

В генетическом плане встает общий вопрос: в какой степени эта диалектная дифференциация унаследована из праславянского и в какой степени она явилась результатом различных процессов, сопутствующих миграциям славянских племен? В комплексном подходе к решению этой проблемы на передний план выдвигается лексика, исследование словарного состава методом лингвистической географии. Пучки изолекс представляют собой определенную обработку славянской лексики, дальнейшая интерпретация которой в известной мере служит основанием для реконструкции исторической динамики диалектной карты, распределения и миграций славянских племен. Инвентаризация лексических изоглосс, в разных направлениях связывающих славянские диалекты, остается одной из насущных задач славистики. Для общего понимания процесса формирования южнославянской языковой группы важно выявить особенности отдельных диалектов в их внутренней взаимосвязи и в отношении с северно-славянскими языками. Лексическая характеристика определенного ареала должна строиться с учетом наиболее выразительных и показательных явлений. Известно, что наибольшими диагностирующими возможностями обладают изоглоссы, объединяющие территориально удаленные регионы. Напротив, изолексы, проходящие по исторически смежной территории, не столь определенны и не содержат в себе объективных критериев для различения явлений унаследованных, общих новообразований и результатов интерференции. Во взаимоотношениях славянских диалектов важно учитывать не столько массовые общеславянские словарные повторения, сколько сепаратные изоглоссы, отмечающие соотнесенность лишь некоторых славянских регионов. Именно пучки архаичных изолекс, связывающие отдельные диалекты, наиболее показательны в плане генетических отношений. Недостаток многих работ, так или иначе разрабатывающих проблему славянских изоглоссных связей, состоит в том, что устанавливаемое соответствие вычленяется из круга славянских соответствий и рассматривается изолированно без учета полной географии. А между тем при наличии широкого славянского фона изолекса может быть понята как общеславянское наследие, при ограниченном же наборе соответствий возникает необходимость в выявлении однородного контекста в виде пучков однонаправленных изоглосс. Показателем внутридиалектных отношений служит не только лексическое тождество сопоставляемых ареалов, но и несовпадение, различия в словаре. Как показывают наблюдения, многие лексемы западной части южнославянских языков не обнаруживают со-

ответствий в восточной части и наоборот. Так, в сфере географической терминологии только восточный ареал характеризуют некоторые обозначения горного рельефа, ср.: *urъva, *urъvina (серб.-хорв. *ȕрвина* «крутой склон горы», болг. *урва* «долина между высокими горами»), *čelopekъ/ *čelopokъ (серб.-хорв. *čelȍpek* «pars aprica collis aut montis», макед. *челопек*, болг. топоним *Челопечане* и т. п.), *krężь (болг. диалектн. *креш* «скалистая возвышенность», *кръш* «пологий склон»), *golma (серб.-хорв. *гла̏ма* «голая каменистая гора», болг. *глама* «большая скала») и т. д. [8]. Для словенского языка, занимающего западную окраину южнославянской области, важным отрицательным показателем является отсутствие многих лексем, известных сербохорватскому, македонскому и болгарскому, ср.: *gatati, *gavьrati, *globa, *dolga, *deběti, *naprasьnъjь, *mečьka, *ristati/*riskati и т. д. [9, 10].

В составе южнославянской группы особое положение занимает северо-западная часть, образующая довольно устойчивое единство в первую очередь диалектов словенских, кайкавских, чакавских. Вопрос о хронологической глубине этого единства решается по-разному. Одни исследователи (Белич, [11], Маргулис [12], Лер-Сплавинский [13]) относят его к праславянской эпохе и считают, что термин «южнославянский прадиалект», если и может быть использован, то только применительно к этой части южнославянской языковой группы. Не случайно Ф. Копечный связывал название «южнославянские языки» лишь с двумя языками — сербохорватским и словенским [14]. По другой теории, южнославянского прадиалекта в том смысле, в каком принято говорить о восточнославянском, не существовало; единство северо-западной части относится к новому времени, к эпохе миграций и освоения новой родины (Ван-Вейк [15], Рамовш [16], Колярич [17]). Эта локальная группа складывается в тесном взаимодействии с западнославянскими языками. Изоглоссы самого различного характера объединяют словенский, главным образом его северо-западную часть, с чешским, словацким языками и особенно со среднесловацкими диалектами (ср. сохранение группы *tl* — *dl*, наличие приставки *vy-*, совпадение редуцированных в одном гласном и т. п.). Значительное число сепаратных изолекс проходит через эту исторически сопредельную территорию:

словен., серб.-хорв. *cesta* «дорога» ~ чеш., словац. *cesta*;

словен. *teden*, *tjeden* «неделя» ~ чеш. *týden*;

словен. *dvorek* «рукоять сверлильного устройства» ~ словац. *doren* «устройство для растягивания обода»;

словен. *kŕgati*, *črgáti* «капать; стекать; оплывать» ~ чеш. *krhati*, *krhavý* «о слезящихся глазах»;

словен. *lanož* «choiromyces» ~ чеш. *lanýž* «то же»;

словен. *koprnẹ́ti* «изнемогать; томиться; ждать» ~ чеш. *koprněti* «застыть в ужасе; нетерпеливо ждать»;

словен. *ramuš*, *ramuh* «шум» ~ чеш. *rámus*, *rámusiti* «поднимать шум»;

словен. *sonten*, *soten* «сильный» ~ чеш. *sotiti* «ударить», словац. *sotiti* «то же»; еще укр. *присотáтися* «привязываться, пристать; придти, приобрести»;

словен. *žima* «конские волосы» ~ ст.-чеш. *žině* «грубая нить», чеш. *zine* «то же»; словац. *zinka* «тонкая веревка»;

словен. *vrvrati* «бурлить, клокотать» ~ чеш. *vravor* «головокружение», словац. *vrvrat* «бурчать», н.-луж. *wawriś* «говорить чепуху» < *vor-vor/- *vьr-vьr-* и т. д. [4, I, § 13; 18—20].

Для объяснения особого характера отношений словенского с чешскими и словацкими диалектами выдвигаются разные причины. В этой близости видят результат длительных контактов эпохи славянских миграций

в исторических условиях IV—V вв. (до аварского ига) и особенно в VI—VII вв. [21]. Сопредельность территорий, длительное соседство в Паннонии способствовали интерференции языковых явлений. Наблюдаемая в северо-западной части словенского западнославянская инфильтрация, возможно, объясняется генетическим преобладанием западнославянского элемента, косвенным подтверждением этому служат выводы О. Кронштайнера об исключительно западнославянском типе личных имен у альпийских славян [22]. И. Попович указывал на возможность взаимопроникновения этносов в эпоху славянских миграций, когда под давлением суперстрата южнославянскими становятся диалекты (словенские), изначально к ним не принадлежащие, и, наоборот, какая-то часть южных славян (среднесловацкие диалекты) теряет исконные связи с южным ядром и втягивается в сферу западнославянского влияния [4, I, § 13—14]. Сходные идеи, но в более широком культурном контексте развивает хорватский этнограф М. Гавацци [23]. На основании общих черт в лексике, обычаях, материальной культуре, данных топонимики он выделяет архаичную западнопаннонскую область, охватывающую северо-западную часть южных славян (словенцы, хорваты-кайкавцы) и южную часть западных славян (чехи, моравы, словаки). М. Гавацци предполагает, что миграционные процессы шли в двух направлениях: с севера из Паннонской котловины (область средней Словакии) на юг в область южнославянской языковой и этнографической ориентации и с юга на север с рассеиванием южнославянских черт в области словацкого языка. Вытекающий из этих теорий вывод об участии западнославянского элемента в формировании альпийских и шире всех южных славян особенно активно развивается польскими лингвистами [24]. По мысли З. Штибера, один из потоков славянских миграций шел из современной западнославянской области, что и объясняет сохранение группы *tl* — *dl* в словенских диалектах и племенное название *Dudlebi* в северной Каринтии и южной Чехии [25, 26]. Эти идеи были критически восприняты Ф. Рамовшем, в понимании которого южные славяне двигались с востока от устья Дуная и на пути следования не имели прямых контактов с западными славянами. Общность, ограниченная лишь некоторыми чертами (*tl* — *dl*, приставка *vy-*), могла быть следствием последующей территориальной близости. П. Ивич [27] видит в северо-западной части словенского переходную зону от чешских земель через современную Австрию до теперешней Словении. Такими же переходными по своему характеру признаются словацкие говоры, далее вошедшие в западнославянский языковой тип.

Лингвистическая и во многом культурная обособленность северо-западной части южных славян сложилась не без воздействия целого комплекса причин, детальное и всестороннее раскрытие которых требует изучения всех сторон языка, включая и лексические отношения, с учетом диалектной дробности этих регионов.

Теория Е. Копитара и Ф. Миклошича о двух этапах освоения южнославянской территории и вытекающий из нее вывод о генетическом тождестве словенского и старославянского языков в свое время встретили резкую критику со стороны В. Ягича. Своим авторитетом, как впоследствии писал Бр. Братанич, В. Ягич надолго отвлек интерес и внимание от проблемы, выдвинутой Е. Копитаром. Возрождение интереса к идее Е. Копитара об особой генетической близости западной и восточной окраин на южнославянской территории наблюдается в 30-е годы в работах хорватских этнографов М. Гавацци и Бр. Братанича [29, 30] [1]. В 1936 г. в докла-

[1] Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность Н. И. Толстому за любезно предоставленную возможность ознакомиться с работами М. Гавацци и Бр. Братанича.

де на IV конгрессе славянских географов и этнографов М. Гавацци сформулировал положение о двух южнославянских зонах — центральной и латеральной. Обе зоны — латеральная (частично Словения, западная Хорватия, побережье Далмации, Черногория, южная Македония, южная и восточная Болгария) и центральная (остальная часть Хорватии, Боснии, Герцеговины, Сербии и западной Болгарии) — противопоставлены лингвистически и этнографически. М. Гавацци продемонстрировал это различие на примере пахотного орудия — рала. Из двух типов рала, наблюдаемых на территории южных славян, архаичный тип охватывает латеральную зону, а более новый тип представлен в центре. Различие касается не только устройства пахотного орудия, но и номенклатуры составляющих его частей. В работе Бр. Братанича, вслед за М. Гавацци разрабатывавшего ту же проблему, это различие получило следующее наглядное выражение:

Центральный тип	Латеральный тип	Означаемое
gredelj	*oje*, *ojištъ*, *voištъ* (болг. — серб. — макед.) *ojić*, *oić* (хорв.)	грядиль
raonik (ralnik)	*lemeš (lemež*, *emeš — jemeš)*	лемех, сошник
kozlac	различные названия, из которых чаще всего повторяются *brcъ — brdica*	часть рала, соединяющая грядиль с полозом

и т. д. [2].

Из других явлений материальной культуры М. Гавацци отмечает особую архаичную технику ткачества квадратными дощечками, хорошо засвидетельствованную, с одной стороны, в Болгарии, а с другой,— в западной Боснии и северной Далмации, но не известную центральной части. В той же сфере текстильного производства два типа прялки распределяются следующим образом: конусообразная прялка и термин **kǫžьlь* > > *kuželj* на большей части Болгарии, в Далмации, Боснии, Словении и лопатообразный тип прялки с иным обозначением в центре. В этих двух зонах представлены разные слова для обозначения челнока: в Болгарии, восточной Сербии *suvajka*, *snuvajka*, *soveljka*, на западе, в Далмации,— *sovilo*, *sovjelica*, в Словении *suvalnica*, а в центральной части *čunak* (и *ladica*). Один из обрядов в центральной зоне называется *dodola*, *dodole*, *dudula*, на востоке преобладают для него обозначения *peperuda*, *peperuna*, на крайнем северо-западе, от северной Далмации до Истрии, отмечаются названия *prporuša*, *preporuša*. Билатеральное размещение характеризует обозначение верхнего культурного слоя: старое хорв. *vreten*, в Далмации *vreteno* и *vrit*, в болгарском *врѣтенъ* (Геров, однажды).

В интерпретации этого явления М. Гавацци, а вслед за ним и Бр. Братанич опираются на теорию Е. Копитара и Ф. Миклошича о двух хронологически различных волнах славянских миграций. Первый широкий слой славянских племен, однородных в лингвистическом и этнографическом отношениях, был раздвинут вторгшимся с севера в VII в. потоком носителей нового типа рала. Новые славянские племена утвердились в центре южнославянской территории, оттеснив живших здесь ранее славян к западу и востоку. Этногенетические построения М. Гавацци и Бр. Братанича, хотя и не лишены некоторых оснований, в целом носят несколько механистический характер и требуют к себе во многом осторож-

[2] В полном виде номенклатура рала приведена в работе Н. И. Толстого [31].

ного отношения. Исходным для этой теории является историческое свидетельство Константина Багрянородного, согласно которому хорваты пришли на Балканы в период царствования императора Ираклия (приблизительно 630—640 гг.) с севера со своей древней родины, которая называлась Белая или Великая Хорватия и занимала верховье Вислы. Окончательному утверждению хорватов первоначально в Далмации предшествовала борьба с аварами и победа над ними. Несколько позднее восточнее хорватов поселились сербы. Согласно традиции, хорваты освоили обширную территорию, границами которой были Лабин (Альбона) в Истрии, река Сава, на юге река Цетиня и на западе море с островами. Отдельные хорватские колонии проникали в Альпы, о чем свидетельствуют грамоты X и XII вв., где этот народ выступает под названием *Crauti pagus*, *Chrouuat*, *Croudi*, *Chrowata*, *Chrowath*, *Kraubat*. Поселения *Хъrvati* известны в Македонии, Греции и других местах [32]. Продвижение хорватского войска на юг в середине VII в. можно считать вполне доказанным историческим фактом, но надо иметь в виду, что в течение нескольких веков уже происходила славянизация провинций Византийской империи. Хорваты, таким образом, столкнулись со славянами, этнический состав которых остается неизвестным. Что касается лингвистической стороны дела, то она, как отмечает и Бр. Братанич, не дает никаких оснований для выводов хронологического порядка. В плане географии старых терминов **grędelь* и **oje*, относящихся к праславянскому слою лексики, необходимо считаться с возможностью лексических утрат, семантического перераспределения поздних миграций, изменяющих и нивелирующих более раннее состояние. Известно, что именно центральную часть южнославянской территории отличают инновации («штокавская инновация»), вызванные экспансией славян на запад и восток в позднюю историческую эпоху турецкого ига. Вместе с тем эта теория игнорирует факт четко выраженной противопоставленности двух славянских областей — западной и восточной. Идеи М. Гавацци и Бр. Братанича, воспринятые как возрождение теории Е. Копитара, не встретили поддержки в науке (ср. И. Попович [4, I, § 75]), но в работах самого последнего времени вновь находим попытки приложения и дальнейшей разработки этой теории на новом лексическом материале (см. работы Н. И. Толстого [33—35]).

Наблюдаемые явления, лексические совпадения западной и восточной окраин заслуживают, несомненно, самого серьезного внимания и нуждаются в дальнейшем исследовании и расширении фактической базы. В плане противопоставления центра и окраины Н. И. Толстой интерпретирует географическое распределение некоторых славянских слов. По его наблюдениям, именно через эти части южнославянской территории проходит противопоставление лексем одного семантического ряда. Географическое распределение лексем *дажд* и *киша* показывает, что центральный ареал (сербохорватский штокавский) занимает лексема *киша*, а лексема *дажд* характерна для всех словенских, болгарских и македонских говоров. Такое же отношение центра и окраины связывает **čadja* (центр) и **sadja*, **znojь* (центр) и **potъ*, правда, в последнем случае **znojь* в значении «пот» небольшими островками отмечено в словенских и болгарских диалектах, ср.: словен. *znoj* «пот», болг. родоп. *зной* «то же». Для основного массива южнославянской территории характерна дихотомия **desьnъ* — **lěvъ*, но окраинные словенско-чакавский, фракийско-родопский и отчасти южномакедонский островки представляют **pravъ* — **krivъ*.

В дополнение к этим наблюдениям могут служить лексические изоглоссы, связывающие на территории южных славян северо-западную часть с болгаро-македонской областью. И хотя изолексы такого рода и не так многочисленны, они все же вполне определенно выражены и нуждают-

ся в истолковании. К числу словенско-болгаро-македонских изолекс могут быть отнесены следующие явления:

словен. *glûta* «шишка, желвак, опухоль» [10, с. 155] ~ болг. *оглу̀тка* «огрызок» (БД II, 233);

словен. *klôp* (Plet. I, 412), сев.-чакав., кайк. *klûp*, *klúpa* «scamnum» ~ ц.-слав. *клѫпъ* с точным соответствием ст.-прусск. *clumpis* «стул» (Skok II, 103);

словен. *krada* «костер» (Plet. I, 453) ~ ст.-слав. ***крада*** «костер, огонь, жертвенник» (Супр.), др.-чеш. *krada* (Фасмер II, 363);

словен. *mlamol* «обрыв, бездна» (Plet. I, 589) ~ болг. гидроним *Мламол*, река в Брезнишко [36], ср. словац. *mlamolit* «чавкать» [37]; старая редупликация **mol-mol-* < **melti*;

словен. *šâtrati* «сильно хромать; ходить раскорячась» (Plet. II, 618) ~ болг. троян. *шàтр'ъ*, севлиев. *шѐтр'ъ*, тетев. *ш'àтри* «блуждать, скитаться» (БД IV, 233; V, 49; Кр. Стойчев. — СбНУ XXXI, 159) и чеш. диалектн. *šatrat se* «то же» [38]; локальное производное от глагола **šętati* (ср. русск. *шататься*) [3];

словен. *vêg* «кривой, изогнутый» (Plet. II, 754) ~ болг. костур. *вѐгаф*, родоп. *в'àгаф* «кривой, косой» (БД VIII, 215; II, 135), родственное литов. *viglas* «живой, подвижный» с другой ступенью чередования;

словен. *zavę̂tek* «защищенное от ветра место» ~ болг. *зàвет* «та же» (БЕР I, 575);

словен. *zôlika* «светлое место в лесу» (Похорье) [40] ~ болг. родоп. *золка* «нечто зеленое» (БД II, 169; V, 173) < **zolika*, **zolъka*, родственное **zelenъjь*, **zolto*.

На этимологическом уровне болг. родоп. *жѐлдѐ ме* (безличное) «колет, режет» представляет корневую морфему *жъл-* (с расширителем *-д*), родственную слав. **žędlo* < **geldlo* (Фасмер II, 34, 35), *želěti*, ср. далее литов. *gélti* «колоть, жалить», латыш. *dzelt* «то же». По мнению Ф. Безлая, ту же основу **žьld-* отражает словен. *žulj*, являющееся общим обозначением всех колючих растений [19, с. 135]. Ближайшие соответствия образуют русск. *жёлдъ* жен. род. «раст. Ilex aquifolium, вязожелдь, водолист, острокровь, остролист и т. д.», стар. *желды* мн. число (XVII в.), диалектн. псковск. *жѐледь* «тростник, из которого делают жалейку» (Даль [3] I, стлб. 1358, 1322).

Обращает на себя внимание участие в изолексах архаичных родопских диалектов болгарского языка, а из западнославянских языков чешского и словацкого. В более широком плане можно говорить о связи двух ареалов — северо-западного и юго-восточного. Именно этими ареалами ограничено распространение лексемы **osorьnъ/*osorьlivъ*, соотносительной со слав. **sьrati*: серб.-хорв. *ȍsōran* «грубый, резкий, раздражительный; заносчивый» (Стулли), зап. серб.-хорв. *ȍsōrljiv* «mingens in lectum» (Лика), хорв. *osorno* «aspere, austere» (Miklosich, 316), словен. *osǫ̑ren* «суровый, резкий», *osoren kraj* «пустой» (Plet. I, 859) [19, с. 169—170] и болг. *осорли̇̀вый* (Геров), зап. *осорльив* «о болезни мочевого пузыря» (Маринов — СбНУ XIII, 259). В тех же частях южнославянской территории представлен семантический диалектизм **prędlo* (~ **pręsti*) «проход»: хорв.-кайк. *prẹlo* «переправа на плоту; отверстие, яма», словен. *prẹlo* «проход; яма; втулка» (Skok III, 33, 35) и болг. пирдоп. *прѐлка* «вход в пчелиный улей» (БД IV, 135). И еще одно интересное грамматическое явление. Праславянская приставка *vy-* как архаичная изоглосса объединяет словенские и словацкие диалекты (ср. словен. *vilẹsti* = *izlesti*). Следы этой приставки отмечены в старославянских памятниках (ср. ***выстѫпити***, ***выходити***

[3] Неправомерно рассматривать **šętriti* < **šętati* в одном ряду с иранизмом **šatriti* «смотреть» [39].

и т. д.) и в болгарских диалектах (ср. *вйрастен* в говоре села Еркеч). Ф. Славский видит в этих примерах не результат моравского влияния, а отражение архаичного состояния [41].

Естественно встает вопрос: как объяснить, что при делении южнославянской территории на две части некоторая общность в словаре связывает западную и восточную окраины?

В этой общности что-то может быть отнесено за счет случайности, но далеко не все объяснимо действием этого фактора. В интерпретации этих явлений в плане этногенетических отношений главным и определяющим, однако, был не фактор времени (ранняя — новая зона заселения), а отношение центра и периферии в ходе освоения новой территории. Поэтому отмеченные факты отнюдь не противоречат традиционной теории двух основных путей, по которым шло заселение Балкан и Восточных Альп,— через Нижнедунайскую низменность и Паннонскую котловину. Напротив, вполне определенно выраженная соотнесенность окраинных областей может быть интерпретирована в рамках этой теории как сохранение архаичных явлений на периферии по отношению к одному из центров славянских миграций, каким можно считать Паннонию. Общепринятая теория в основе своей подтверждается лингвистически и достаточно надежно объясняет лингвистическую самостоятельность двух южнославянских регионов. Различие двух больших диалектных областей, вероятнее всего, возникло еще в эпоху прародины и усилилось благодаря тому обстоятельству, что «сербохорваты» и «болгары» двигались на юг отдельно друг от друга, а на новой родине они оказались в разных сферах субстратного и культурно-языкового влияния: развитие болгарского языка шло в области греческого влияния, а сербохорватский испытал воздействие романских языков. Несколькими столетиями позднее в результате конвергентных процессов складывается целый ряд балканизмов на всей южнославянской территории [4, VI]. Вместе с тем эта теория, обладающая достаточной доказательной силой, определяет лишь главные, магистральные линии славянских миграций. Лингвистический же материал и в особенности факты лексики показывают более сложные и многообразные взаимоотношения южнославянских регионов. Реально в распоряжении исследователя не всегда четкие, порой слабо выраженные контуры изолиний, стертые многократными и разнонаправленными историческими процессами. Следы изолиний, проступающие сквозь толщу истории, лишь в известной мере можно считать показателями древних отношений, при восстановлении которых необходимо учитывать весь доступный комплекс исторических и лингвистических условий. Инвентаризация лексических изоглосс, характерных для южнославянской языковой группы, пока находится в стадии предварительных наблюдений, тем не менее уже сейчас совершенно очевидно, что выявляемые изоглоссы не укладываются в строгие схемы с жесткой раскладкой временных, локальных и этнических отношений первых переселенцев. Экспансия славян на юг не сводима к разовому массированному захвату новых территорий, напротив, освоение новой родины было достаточно длительным процессом, проходившим в несколько этапов с разнонаправленными и многократными миграциями и с сопутствующим им перераспределением диалектов и образованием межплеменных объединений [42]. Волна славянских племен, идущая с востока, достигала самой западной окраины южнославянской территории, а движение славян из Паннонии шло не только в направлении север — юг, но и север — юго-восток. Славянские миграции, пересекавшие южнославянскую территорию в самых разных направлениях, определили незамкнутость и взаимопроницаемость двух южнославянских языковых типов, что находит отражение прежде всего в лексике. Позволительно считать достаточно надежным свидетель-

ством этих процессов такие общеюжнославянские изоглоссы, которые обнаруживают ограниченные севернославянские соответствия, локализованные в южной части западнославянских языков и отдельных восточнославянских диалектах с включением Карпатского ареала.

Примером подобных лексических связей служит диалектное название дышла — **kъrpelь*, наиболее полно представляемое южнославянскими языками: серб.-хорв. *крпел* «палка на дышле плуга, регулирующая пахоту», *кр̀пела* «о воловьей упряжке: два јарма... шест гужава и двоја *крпела* (по средини и позади)», *кр̀пеле* мн. = *кр̀пеље* «устройство, соединяющее ярмо с плугом», *крпељ* «палка» [43]; словен. *krepél* = *krepêl* = *krepélo* = = *krpèlj* (Бела Краина) «палка», *krpȩ̑li* «деревянная рама у сети; вилообразное дышло», *krpȩ̑lje* мн. «деревянные дуги у цепа», *krep̂le* мн. «маленькое ярмо» (Plet. I, 478); болг. карлов. *кърпил* «короткая деревянная палка» (БД VIII, 142), плевен. *кръпей* «криво отрезанное дерево» (БД VI, 187), казанл. *кърпел'*, *кърпи'ъл* «короткая палка для бросания» (БД V, 127; БД I, 194), родоп. *ко̀рпел* «две деревянные палки, соединяющие ремни в конской парной упряжи» (БД V, 180), диалектн. *крпел* «кривое толстое дерево; треугольный деревянный обруч на шее у свиньи, чтобы она не смогла пролезть через ограду» (СбНУ XL IV, 528). Для южн.-слав. **kъrpelь* находим соответствия в западнославянских языках: чеш. морав. *krpadla*, морав.-словац. *krpadla* «хомут для волов», ляш. *křpela* «цепь, соединяющая одиночные бороны» (Machek [2], 298), морав. *karpel'* «палка, нога» [44]. Этимологические словари Махека и Скока, очень неполно представляющие продолжения слав. **kъrpelь*, рассматривают материал южных и западных языков изолированно, в отрыве друг от друга. Для слова **kъrpelь*, идущего с пометой dunkel, лишь предполагается возможность родства со слав. **krěpъkъ* или **kromy* (~ др.-англ. *hremman* «стискивать»), соответственно по-разному восстанавливается исходная основа — в форме **krepelъ* (Berneker I, 610) и **krъp-* или **krъp-* (Махек). Между тем, сама соотнесенность материала и, в частности, привлечение болгарских соответствий уже содержат в себе указание на внутреннюю форму слав. **kъrpelь*, на его первоначальное значение «палка, кусок отрезанного дерева», что и позволяет наметить родство со слав. **kъrpati* ~ литов. *kirpti* «резать, стричь». Ф. Славский к этому же гнезду относит польск. *karpa* «подземная часть некоторых растений, напр., спаржи; пень, коряга, колода, за которую можно закрепить лодку, рыбацкую сеть» (XVI в.). В ближайшем родстве с ними ст.-прусск. *curpis* «колода в наковальне» и с чередованием литов. *kerpelẽ* «вырванный с корнем сгнивший пень, корневище поваленного дерева» (Sławski II, 82—83).

Другой близкий термин **kъrčelъ* охватывает всю южнославянскую область и выходит в Карпаты. Его представляют серб.-хорв. *krčel* муж. род. (Дубровник, Крк) = *krčèl* (Жумберак) «болт, клин, соединяющий ярмо с дышлом», *krčele* (Вук) = *krčelo* (Лика) «соединение дышла с плугом», *krčalo* (Вук) «рукоять плуга», *krčèlja* «простое устройство, напоминающее детские санки из раздвоенного дерева» (Skok II, 186), *кр̀чела* «раздвоенная палка, рукоять, вертела», *крчѐлāн* «болт, шкворень», *кр̀чѐљке* мн. «передние доски у бороны» [43, с. 434]; словен. *krčalo* = *krčel* «деревянный гвоздь» (Plet. I, 460; Доленьско); болг. родоп. *карчдли* мн. «задняя раздвоенная часть дышла», *корчйни* мн. «вертикальные жерди в ткацком станке» (БД V, 177, 181); укр. буков. *корчйги* «спаренные сани для перевозки дров», бойк. *корч.* «рукоять плуга» [45, 46]. Несколько дальше семантически отстоит родственное им чеш. морав. *krčál* «недоразвитое дерево», *krčál* «ботва» [47, 48]. Скок рассматривает серб.-хорв. *krčel* в одной статье с *krpèl*, попутно замечая, что в Жумбераке это два разных слова с разными значениями: *krčel* обозначает соединение в ярме, а *krpèl* палку на плуге, с по-

мощью которой регулируют пахоту. По всей видимости, слав. **kъrčelъ*, этимологически отличное от **kъrpelь*, первоначально обозначало искривленный, изогнутый кусок дерева, используемый как скрепляющее, соединяющее устройство, что делает понятным и оправданным предложенное еще Мурко сближение с **kъrčiti* «сжимать» (Skok II, 186).

К южнославянским лексико-семантическим диалектизмам с соответствиями в восточнославянских языках можно отнести **gaziti* — **gazъ* «идти вброд; брод» при белорусск. *газ* «брод» [49], **bъšь*, наречие в ст.-слав. *бъшиѫ*, болг. диалектн. *баш*, серб.-хорв. *bȁš*, словен. *bȁš*, русск. диалектн. *бо́шно*, *башно́* [50]. Выразительная семантическая изолекса **galiti* «заголять, обнажать» (~ **golъ*) объединяет южнославянские языки и русские диалекты: серб.-хорв. *galiti se* «закатывать, засучивать», словен. *gáliti* «обнажать, раскрывать», болг. родоп. *во̑з-гали си краце́те* «засучивать штанины», при русск. диалектн. *галить младенца* «дать полежать незапеленутым» [49, с. 92]. Термин прядения **vitъlъ*/**vitъlo* (серб.-хорв. *vitao* «мотовило», словен. *vitlo* «то же», болг. *вител*; русск. диалектн. *витлина* «ботва картофеля, гороха» и т. д.) соответствует литов. *vytūlas* «сноп соломы», *vutulẽlis* «мотовило». Праслав. **čukъ* «молот, цеп», известное преимущественно южнославянским языкам (ср.: болг. *чук* «молот», серб.-хорв. *чук* «то же» и т. д.), сохраняют следы в русск. диалектн. *чук* «чуб» и польском сложении *Czukomłoty* [51]. Целый ряд карпато-южнославянских изолекс достигает территории словенского языка. Изолексы этого типа выявлены в работах К. Гутшмидта [52], который, исходя из вопросника Карпатского диалектологического атласа, проследил распространение так называемых карпатизмов в словенском языке. Как видим, специфические южнославянские изолексы захватывают отдельные диалекты севернославянских языков. Известная самостоятельность и обособленность южнославянских диалектных зон находит выражение в составе лексических диалектизмов, направлении внешних и внутренних связей. Исследования последних лет выдвинули проблему лексических связей западно- и южнославянских языков, которая рассматривается в общем плане и в плане особых отношений кашубско-болгарских [53, 54], словенско-западнославянских. Фрагментарно выявлены словенско-сербохорватско-украинско-белорусские изолексы, в стадии первых предварительных наблюдений серболужицко-сербско-хорватские отношения. Особая проблема — изолексы, связывающие балтийские языки с двумя южнославянскими языковыми группами. Необходимо считаться с тем обстоятельством, что та диалектная дробность, которую представляют современные языки, не может быть прямо проецирована в плоскость отношений VI—VII вв. Мы стоим перед необходимостью выявления древнего слоя, фрагментов древних отношений, и основное препятствие на этом пути — не поддающиеся восстановлению более поздние процессы конвергентного характера, сильно видоизменяющие первоначальную картину. Вместе с тем с некоторой долей вероятности, если не прямо, то косвенно, внутриюжнославянские отношения и их внешние связи позволяют говорить в общем виде о сложном, неоднородном диалектном и этническом составе первых переселенцев на Балканы и в Восточные Альпы.

Принятые сокращения

БД — Българска диалектология. I—IX. София, 1962—1979.
Berneker — *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913.
Machek [2] — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé opravené a doplněné vydání. Praha, 1971.
Miklosich — *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
Plet.— *Pleteršnik A.* Slovensko-nemški slovar. I—II. Ljubljana, 1974.

Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I—IV. Zagreb, 1971—1974.
Sławski — *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. II. Kraków, 1958—1965.
Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения Трубачева О. Н. Т. I—IV. М., 1964—1973.
Даль [3] — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. Т.I—IV. М., 1903—1909.
СбНУ — Сборник за народни умотворения. София.

ЛИТЕРАТУРА

1. Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar. Hrsg. von V. Jagić. Berlin, 1885.
2. *Kopitar B.* Glagolita Clozianus. Vindobonae, 1836, s. XXX.
3. *Jagić V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913, § 3, 15.
4. *Popović I.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, гл. I, VII.
5. *Sławski F.* Związki słownikowe czakawsko-słoweńskie.— In: Sprawozdania z prac naukowych wydziału nauk społecznych. Rok V: 1962, zesz. 5 (27). Wrocław — Warszawa — Kraków, 1963.
6. *Boryś W.* Ze studiów nad czakawsko-słoweńskimi związkami leksykalnymi.— In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 12. Warszawa, 1972.
7. *Младенов М. Сл.* Об одной древней лексической изоглоссе в болгарском языке (названия ярма в болгарских говорах).— В кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.
8. *Куркина Л. В.* Названия горного рельефа (на материале южнославянских языков).— В кн.: Этимология. 1977, М., 1979, с. 45 и сл.
9. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 4. М., 1977, с. 203.
10. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 6. М., 1979, с. 105, 112, 131 и т. д.
11. *Belić A.* Les rapports mutuels du serbo-croate et du slovéne.— RÉSL, I, 1921.
12. *Margulies A.* Historische Grundlagen der südslavischen Sprachgliederung.— AfslPh, 1926, XL.
13. *Lehr-Spławński T.* Słowianie południowi (z cyklu: początki słowian). Kraków, 1946.
14. *Korečný F.* K otázce klasifikace slovanskych jazyků.— Slavia, 1949, XIX.
15. *Wijk M., van.* O stosunkach pokrewieństwa między językami południowo-słowiańskimi.— PF, 1927, XI.
16. *Ramovš F.* Über die Stellung des slovenischen im Kreise der slavischen Sprachen.— In: Annales Avademiae scientiarum fennicae, 1932, ser. B, t. XXVII.
17. *Kolarič R.* Periodizacija razvoja slovenskega jezika.— SR, 1958, XI, 1—2.
18. *Popović I.* Die Berührungen des Südslavischen und des Nordslavischen in Noricum, in Pannonien und in Dazien.— WdS, 1962, VII, 1—2, S. 68—96, 113—145.
19. *Bezlaj F.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967, гл. VII, s. 144—156.
20. *Куркина Л. В.* Словенско-западнославянские лексические связи.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. 1978. М., 1980.
21. *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, с. 78.
22. *Kronsteiner O.* Die Alpenslawischen Personennamen. Wien, 1975.
23. *Gavazzi M.* Zapadni-panonski slavenski pojas u davnini (Prolegomena).— Etnografia Polska. III. Wrocław, 1960.
24. *Nalepa J.* Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy i jej rozpad. Poznań, 1968.
25. *Stieber Z.* O Serbach i Chorwatach północnych a południowych.— Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968.
26. *Штибер З.* О древних словенско-западнославянских языковых связях.— В кн.: Русское и славянское языкознание. М., 1972, с. 309.
27. *Ивић П.* Српски народ и његов језик. Београд, 1971, с. 15.
28. *Jagić V.* Ein Kapitel aus der Geschichte der südslavischen Sprachen.— AfslPh, 1895, XVII.
29. *Gavazzi M.* Problem karakterističnoga razmještaja nekih etnografskih elemenata na Balkanu.— In: Extrait des comptes rendus du IV-e congrès des géographes et des ethnographes slaves. Sofia, 1936.
30. *Bratanić Br.* Uz problem doseljenja južnih slavena (Nekoliko etnografsko-leksičkih činjenica).— In: Zbornik radova. I. Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Zagreb, 1951.
31. *Толстой Н. И.* Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногеографических исследований.— В кн.: Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974.

32. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956, с. 76—80.
33. *Толстой Н. И.* Из географии славянских слов 1. «Даждь». 2. «Саламандра».— ВСЯ, 1962, 6.
34. *Толстой Н. И.* Из географии славянских слов: 3. *правый — левый*; 4. *хорохориться*; 5. *класть*.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. М., 1965.
35. *Толстой Н. И.* Из географии славянских слов: 6. *сажа — чад*; 7. *пот — зной*.— В кн.: Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972.
36. *Дуриданов Ив.* Южнославянски етимологии.— Език и литература, 1970, XXV/5, с. 60.
37. *Palkovič K.* Oravsky idiotikon Ctibora Zocha.— Slavica Slovaca, 1961, roč. 2/1, s. 75.
38. *Hošek J.* Nářečí českomoravské. I. Praha, 1903, s. 101.
39. *Dukova U.* Zur Frage des iranischen Einflusses auf die slawische myphologische Lexik.— ZfSl, 1979, Bd. 24/1, S. 15.
40. *Bezlaj F.* Etyma slovenica.— Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razprave — dissertationes. Ljubljana, 1970, VII/4, s. 20.
41. *Sławski F.* Ślady prasłowiańskiego prefiksu *vy-* w języku bułgarskim.— In: Studia linguistica Slavica Baltica Canuto-Olavo Falk sexagenario a collegis amicis discipulis oblata. Lundae, 1966/1968.
42. *Трубачев О. Н.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграций славян.— ВЯ, 1974, № 6.
43. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. X. Београд, 1978, с. 654.
44. *Buffa F.* Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava, 1953, s. 162.
45. *Онышкевич М. О.* Словарь бойковского диалекта.— В кн.: Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972, с. 371.
46. *Прокопенко В. А.* Областной словарь буковинских говоров.— В кн.: Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972, с. 434.
47. *Bartoš F.* Dialektický slovník moravský. Praha, 1906, s. 162.
48. *Kott F. Št.* Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému. Praha, 1910, s. 44.
49. *Трубачев О. Н.* Наблюдения по этимологии лексических локализмов (славянские этимологии 48—52).— В кн.: Этимология. 1972. М., 1974, с. 22—24.
50. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 3. М., 1976, с. 139.
51. *Szmańda E.* O kilku reliktach wyrazów prasłowiańskich w toponimii staropolskiej.— JP, LIX/1, s. 37.
52. *Гутшмидт К.* К карпато-южнославянским лексическим параллелям.— В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975.
53. *Бернштейн С. Б.* К изучению польско-южнославянских языковых связей.— SFPS, 1965, V.
54. *Popowska-Taborska H.* Z problematyki badawczej nawiązan leksykalnych (na materiale kaszubsko-południowosłowiańskim).—RS, 1975, XXXVI//1 (там же литература).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

ВИНОГРАДОВ А. А.

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЯВЛЕНИЙ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ И ДИНАМИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

(на материале русского языка)

В современном русском языке, особенно в языке художественных произведений и публицистики, очень распространены синтаксические конструкции, которые представляют собой как бы расчлененное на две или более частей предложение. Эти части, оформляемые в тексте как отдельные предложения, т. е. «от точки до точки», по смыслу и грамматически тесно связаны друг с другом и легко могут быть объединены в одну коммуникативную единицу — простое или сложное предложение, ср.: — *Софья Николаевна, вам письмо. С фронта*! (А. Рекемчук, Товарищ Ганс) — *Софья Николаевна, вам письмо с фронта*; — *Просьб не имею, кроме одной. Поддержать нас противотанковыми орудиями* (А. Чаковский. Блокада) — *Просьб не имею, кроме одной: поддержать нас противотанковыми орудиями*; *С ребятами я по-прежнему дружен. Хотя мне становится с ними все труднее* (А. Битов, Такое долгое детство) — *С ребятами я по-прежнему дружен, хотя мне становится с ними все труднее*; *Мы осуществили эту идею. Чрезвычайно успешно и весело*! (Лит. газета, 1979, 1 янв.) — *Мы осуществили эту идею — чрезвычайно успешно и весело.*

Такие семантико-синтаксические целые функционируют в тексте как особые коммуникативные единства, как единицы более высокого уровня, чем предложение,— и вместе с тем специфической чертой их структуры является именно их «коммуникативное расчленение» на отдельные высказывания, на отдельные «молекулы коммуникации» (термин Г. В. Колшанского, см. [1, с. 28]).

Для обозначения этих семантико-синтаксических целых используются параллельно два термина — «присоединительная конструкция» и «парцеллированная конструкция (структура)», причем в отдельных случаях ими обозначаются явно однотипные (более того: почти тождественные) коммуникативно расчлененные синтаксические целые (ср., например, [2, с. 244] и [3, с. 146]).

Эта терминологическая разница связана с двумя принципиально противоположными трактовками коммуникативно расчлененных синтаксических конструкций указанного типа, с одной стороны, сторонниками концепции парцеллированных структур, возникшей сравнительно недавно [1], в 60-е годы (см. работы Ю. В. Ванникова, Г. Н. Рыбаковой и др.), а с другой стороны, теми, кто, следуя традиции, рассматривал эти конструкции как присоединительные (со всей определенностью об этом было сказано, например, уже в известной работе С. Е. Крючкова [6, с. 400]).

Особенно активно отстаивали свои позиции защитники понятия и термина «парцелляция» и производного от него «парцеллированная конструк-

---

[1] Если не считать предшествующей ей концепции «сепаратизованных» структур, или структур с «сепаратизацией» [4, 5].

ция (структура)». В ходе исследований имели место как резкая критика противоположной концепции (например, Ю. В. Ванников отрицает присоединение в письменной речи; см. [7] и [2, гл. «К вопросу о так называемой присоединительной связи предложений»]) или замена старого понятия новым (ср.: «Под парцелляцией... имеется в виду синтаксическое явление, которое принято называть (разрядка наша.— *В. А.*) присоединением» [8, с. 277]), так и попытки освещения одного явления через призму другого (например, Г. Н. Рыбакова, говоря о присоединительных конструкциях как о материале для обучения русскому языку школьников, в подавляющем большинстве случаев пользуется термином «парцеллированная конструкция» и разъясняет сущность парцелляции [9]).

Отмеченные разногласия в синтаксической характеристике названных конструкций приобретают тем большую остроту, что явления парцелляции и присоединения представляются, по сути дела, взаимоисключающими. Вполне очевидно, что членение уже «готовой» синтаксической структуры — предложения — на отдельные коммуникативные составляющие разной степени сложности (парцелляция) и складывание ее в процессе акта речи посредством «наращивания» структурными «фрагментами» — дискретными «молекулами коммуникации» (присоединение) — представляют собой противоположные явления.

Разная квалификация даже явно однотипных коммуникативно расчлененных синтаксических конструкций отражает недостаточную их дифференцированность в плоскости письменной речи. Многие конструкции можно рассматривать и как следствие применения парцелляции — особого приема текстового оформления высказываний в ходе творческой работы автора над словом [2], и как отражение письменной речью устно-речевого присоединения.

Но устно-речевое присоединение и его отражение письменной речью представляют собой различные явления; кроме того, устно-речевое присоединение в письменной речи (его отражение в ней) отличается от «языкового» присоединения. В. А. Белошапкова говорит в этой связи о динамическом и статическом присоединении; последнее, по ее замечанию, совсем не предполагает «коммуникативной отторгнутости части структуры» [10, с. 27]. Статическое («языковое») присоединение является особой семантико-синтаксической категорией: семантическое отношение добавочного сообщения в статических присоединительных конструкциях имеет свое формальное выражение [11, с. 128].

Однако во многих исследованиях и в характеристику статических, и в характеристику динамических присоединительных конструкций с «коммуникативной отторгнутостью» частей «традиционно» включался один и тот же признак — «непреднамеренность», спонтанность добавления дополнительных сведений, что было справедливо лишь по отношению к устно-разговорным присоединительным конструкциям, но не к их отражению письменной речью, или к статическим присоединительным конструкциям, которые представляют собой синтаксические структуры «языка-предложения» (термин Ю. В. Ванникова).

Таким образом, возникновение концепции парцеллированных структур, в которой нашли четкое противопоставление явления устно-разговорной речи и их письменное отражение, было закономерным, явившись, если можно так выразиться, реакцией, во-первых, на неразличение двух типов присоединения — «языкового» и устно-речевого, а во-вторых, на недоста-

---

[2] Ср.: «Парцелляция — это прием литературно-письменного языка, самым „чистым“ проявлением которого является авторская речь» [8, с. 280].

точно последовательную дифференциацию устно-разговорных присоединительных конструкций и их письменно-литературных эквивалентов. Однако поскольку термины «присоединение» и «присоединительная конструкция» оказались достаточно устойчивыми, то квалификация коммуникативно расчлененных структур в плоскости письменной речи длительное время была двоякой. Можно, пожалуй, сказать, что необходимость последовательного разграничения явлений парцелляции и (динамического) присоединения пока еще только начинает осознаваться. Пути к их разграничению намечаются, в частности, в исследованиях А. П. Сковородникова, Н. И. Формановской и Н. С. Ляпидевской.

А. П. Сковородников предлагает «постулировать присоединению статус полевой структуры» [11, с. 122], в результате чего конструкции, относящиеся к «ядру „поля присоединения“» [11, с. 122], становится легко отличать от парцеллированных, поскольку характерным формальным признаком «ядерных» присоединительных конструкций является наличие в них специальных показателей присоединительности (*да и*, *кроме того*, *к тому же*, *причем*, *притом*, *при этом*, *вдобавок* и др.). Отсутствие таких показателей переводит конструкцию «в менее яркую зону ядра „поля присоединения“» [11, с. 123] или в разряд «периферийных» [11, с. 124], с связи с чем возникает ситуация формального неразличения таких конструкций и парцеллированных структур. Чтобы различать их и в этом случае, автор предлагает использовать «контекстно-семантический анализ» [11, с. 128], т. е. опираться на функционально-стилистические характеристики контекста.

Подобную точку зрения высказывает и Н. И. Формановская, указывая, что «вопрос: присоединение или парцелляция — решается в зависимости от функциональных параметров контекста» [12, с. 174].

Н. С. Ляпидевская считает, что различие между присоединительными и парцеллированными конструкциями имеет функционально-стилистический характер и связано с их стилевой дистрибуцией. Она пишет: «Выявление функционального различия этих структур... поможет описанию характерологических черт данного стиля» [13, с. 137].

Таким образом, ученые сходятся во мнениях: различия между расчлененными (периферийными), или динамическими присоединительными конструкциями (далее — ДПК) и парцеллированными структурами вытекают из функционально-стилистических характеристик контекста.

Мы будем придерживаться этого положения. В качестве же основной задачи настоящего исследования попытаемся ответить на вопрос, существуют ли еще какие-нибудь различительные признаки, кроме функционально-стилистических, для ДПК, находящихся на «периферии» поля присоединения, и парцеллированных конструкций. Иначе говоря: можно ли различить эти конструкции также в формально-структурном аспекте, и если можно, то какие из названных признаков — функционально-стилистические или формально-синтаксические — являются главными в разграничении этих двух интересных явлений синтаксиса речи?

Стилистической функцией коммуникативно расчлененных конструкций в письменной речи является, как отмечают исследователи, имитация бытового говорения, когда «речь формируется по мере течения мысли, а не является заранее обдуманной и вмещенной в готовые, законченные формулы» [3] [8, с. 280]. Расчлененная конструкция по сравнению с нерасчлененной более выразительна, маркирована экспрессивно и стилистически и более приспособлена для передачи момента спонтанности, «необдуманности», входящего

[3] Это замечание Е. А. Иванчиковой относится, естественно, к парцеллированным конструкциям, поскольку существование присоединительных структур ею отвергается.

в психолингвистическую характеристику высказываний устно-разговорной речи.

Поэтому оправданным выглядит заключение, что для адекватного отражения «непреднамеренности», «необдуманности» высказываний устно-разговорной речи в речи письменной очень подходят динамические присоединительные конструкции.

В устном общении говорящий часто чувствует необходимость что-то уточнить, что-либо добавить к уже законченному высказыванию. Добавочные сведения содержатся в синсемантичных высказываниях, следующих за основным автосемантичным сообщением, образующих вместе с ним одно коммуникативное целое, выражающих одну сложную мысль. Структура такого целого отчетливо расчленяется на основную часть, являющуюся объектом информативного распространения — присоединяющую, и синсемантичный присоединенный компонент (компоненты), по смыслу и грамматически полностью зависимый от присоединяющей части. Эта зависимость отражается в его формальной и лексической неполноте: в присоединенном компоненте содержится только «новое», т. е. добавочные замечания по содержанию первой части. Повторение в присоединенных компонентах членов из присоединяющей части (которые в одних случаях являются их необходимыми структурными единицами и служат для поддержания семантико-синтаксической связи их с присоединяющей частью, а в других случаях факультативны) придает конструкции добавочную эмоционально-экспрессивную окраску [14, с. 131], но не несет новой информации в плане денотативном.

Грамматическая зависимость присоединенных компонентов от присоединяющей части ярко проявляется в их структурной «фрагментарности»: чаще всего они представляют собой «отрезки» структуры предложения — член предложения или сочетание членов, придаточное предложение или вторую часть сложносочиненного предложения. Например: *Я попрошу вас / сделайте потом к нему рисуночек // К документу этому // На переводе*; *Мне пожалуйста, вон тот покажите / серый в полоску // Потемнее который*; [Сваришь кофе?] — *Я стираю // И варю*; [Есть-то что будем?] — *Борщ вон стоит // Если не прокис* и др.

В конце первого высказывания (присоединяющей части) интонация понижается и делается небольшая пауза. Присоединенный компонент произносится обычно в более убыстренном темпе и более напряженно (интенсивно); ср. [15, с. 244].

Синтаксическое и смысловое единство, полученное от сложения присоединяющей части с одним из структурных вариантов присоединенного компонента, мы будем рассматривать в качестве модели присоединения в устной речи. В интонационных характеристиках этой модели выражается ее основной функциональный и психолингвистический признак — «непреднамеренность» сообщения дополнительных сведений.

Можно думать, что на эту модель ориентируется и письменная речь[4], несмотря на то, что «физическое содержание» упомянутого признака не может быть воспроизведено ее средствами. При отражении устно-речевых присоединительных конструкций письменной речью первостепенное значение приобретает их специфическое пунктуационное оформление и строгое сохранение их формального устройства. Последнее имеет место не только в ДПК, но и в других письменно-литературных эквивалентах устно-разговорных конструкций. Так, структурным параллелизмом характеризуются устно-

[4] Ср.: «При имитации говорения с естественными в этом случае добавлениями новых сведений к уже сказанному может возникать синтаксическое присоединение» [12, с. 174].

разговорные конструкции с именительным темы и конструкции добавления и соответствующие им в письменно-литературном языке конструкции с репризой и конструкции с антиципацией [16], часто встречающиеся в языке газеты и в художественных текстах, отражающих разговорную речь. Ср.: *А дочка ваша, она историк*? (конструкция с именительным темы) — *Наука-то, Аня... да жизнь вообще! — она не на одних звездах первой величины стоит* (Ю. Эдлис, Проездом) (конструкция с репризой); *А он будет завтра, художник ваш*? (конструкция добавления) [5] — *Где они нынче, принцы-то*?! (Ю. Эдлис, Серебряный бор) (конструкция с антиципацией).

Здесь важно отметить, что, несмотря на различия физического и функционально-стилистического характера между устно-разговорным «оригиналом» и его письменно-литературным «отражением», существенные структурные особенности «оригинала», т. е. упомянутых устно-разговорных конструкций, полностью сохраняются в их письменно-литературных эквивалентах. Однако вряд ли целесообразно предполагать, что это достигается путем специальных операций над структурами «языка-предложения» (введением в них местоимений). В данном случае, очевидно, имело место просто заимствование устно-разговорной синтаксической модели письменной речью без дополнительной ее «обработки».

Именно так мы склонны квалифицировать проникновение в письменную речь и устно-речевых присоединительных конструкций. В самом деле, почему необходимо считать, что данные конструкции средствами письменной речи передаются на базе конструктивных принципов, противоположных принципам их конструирования в устной речи, особенно там, где коммуникативно-стилистической установкой автора является показ особенностей непосредственного, реального говорения в виде речи его героев? (Здесь, конечно, не имеется в виду, что соответствие устно-разговорных и письменно-литературных присоединительных конструкций должно быть полным в том смысле, что пишущий, как и говорящий, «не знает», что он скажет дальше, и таким образом последующие высказывания будут «непреднамеренными».) Утверждение, что определенная устно-разговорная конструкция — (динамическая) присоединительная, в то время как ее письменно-литературный эквивалент — парцеллированная, в связи с чем отпадает сам вопрос о наличии ДПК в письменной речи,— представляется недостаточно объективным.

Отражение устно-разговорных произведений письменной речью — очень сложное явление. Мы не выскажем новой мысли, заметив, что в изучении его недопустимо как излишнее сближение устно-речевого «оригинала» с его письменно-литературным «отражением», которое ведет к стиранию их принципиальных функциональных различий, так и их чрезмерное обособление, поскольку в таком случае «отражение» может потерять существенные особенности «оригинала». В этой связи кажется уместным привести слова Д. Н. Шмелева о том, что «между типичными средствами письменной и устной речи, конечно, нет непреодолимых границ. Те качества, которые в целом отличают устную речь (неподготовленность, спонтанность, непосредственность общения), могут разнообразно трансформироваться и перекрещиваться в отдельных типах устной и письменной речи...» [18, с. 77]. Это можно продемонстрировать на примере психолингвистического признака «непреднамеренности», который является определяющим в образовании присоединительных конструкций в устно-разговорной речи.

Данный признак в письменной речи качественно изменяется, поскольку в ней «предстоящие к написанию фразы» [19, с. 329] заранее планируются.

---

[5] Примеры конструкций с именительным темы и конструкций добавления взяты из книги О. А. Лаптевой [17, с. 142 и 269].

Письменную речь характеризует «момент „избираемости“ формы выражения» [20, с. 3], «сознательный анализ средств ее выражения» [21, с. 212]. Поэтому в ней и «непреднамеренность преднамерена» [22, с. 377], в ней происходит «обдуманное воспроизведение свойств необдуманного высказывания» [23, с. 278]. «Непреднамеренность» как психолингвистическая характеристика устно-разговорного присоединения в плоскости письменной речи не исчезает бесследно, особым образом передаваясь такими же средствами, как «разделительные» знаки препинания (точка, вопросительный и/или восклицательный) между присоединяющей частью и присоединенным компонентом, обозначающие паузу в конце первого высказывания, за чем следует сообщение дополнительных сведений.

«Непреднамеренное» присоединение, наконец, может быть и в письменной речи, например, в личном письме близкому или хорошо знакомому человеку. Здесь, однако, следует принимать во внимание коммуникативно-целевую установку и личность пишущего, его ориентацию на создание художественного произведения: если такая установка отсутствует, например, в личной переписке автора или в его дневниковых записях, не носящих следов специальной литературно-стилистической обработки, то даже при последующей публикации этих личных записей обнаруженные в них присоединительные конструкции можно, очевидно, квалифицировать как «непреднамеренные» (ДПК). Ср.: *Напиши мне, Рува, письмо. Хотя бы коротенькое* (из письма А. П. Гайдара Р. И. Фраерману). С другой стороны, если автором подобных записей является персонаж литературного произведения, а значит, у реального автора имелась специальная художественно-творческая установка, то названные конструкции в речи его героев должны рассматриваться уже как «преднамеренные».

Можно ли в таком случае сказать, что «преднамеренное» присоединение — это и есть парцелляция, если понимать под этим результат творческой работы автора над словом, разрешение им определенной стилистической задачи? Очевидно, да, поскольку в этом случае имеется в виду одно и то же явление — стилизация повествования «под разговорную речь». Здесь, однако, необходимо указать, что у приема парцелляции в тексте есть и другая функция (ее отмечают многие исследователи), которой лишено динамическое присоединение. В этой функции парцелляция используется как средство упрощения громоздких синтаксических структур, «перегруженных логико-грамматическими отношениями и синтаксическими связями» [24, с. 14]. Указанную функцию приема парцелляции в письменной речи мы склонны рассматривать в качестве ее главного отличительного признака, а за динамическим присоединением закрепить статус особого функционально-стилистического средства, используемого для имитации «разговорных интонаций» в той области письменно-литературного языка, которая отражает разговорную речь. Рассматриваемая область представлена различными в стилевом отношении текстами (художественными, публицистическими и научно-популярными) и различными в плане функционально-речевых параметров контекстами, в которых встречаются ДПК (прямая речь, несобственно-прямая речь, авторское повествование).

Разграничение ДПК и парцеллированных конструкций на основе функционально-речевых параметров контекста мы будем рассматривать как первый этап их разграничения в письменной речи.

Прежде всего следует отметить, что стилистическая функция ДПК в письменной речи не кажется одной и той же в текстах с различными функционально-речевыми параметрами, с разной стилевой отнесенностью. Так, определенное различие в стилистической функции ДПК в речи персонажей и в авторском повествовании, которые «представляют собой... принципиально различные языковые сферы» [23, с. 268], как кажется, заключа-

ется в том, что в речи героев (прямой), и особенно в речи действующих лиц драматических произведений они имеют скорее воспроизводящую, чем стилизующую функцию, а в авторском повествовании — наоборот. В несобственно-прямой речи стилистическая функция ДПК, по-видимому, также скорее воспроизводящая, чем стилизующая. Примеры на использование ДПК в воспроизводящей функции очень многочисленны:

в прямой речи: — *Борька, у тебя что-то случилось. С Ольгой?* (Г. Бакланов, Друзья); — *Странный какой-то этот... Жогин. И говорит как-то... по-епиходовски* (А. Чаковский, Блокада); — *Я помню это место, даже выписал нарочно, когда читал в журнале. Потому что точнее уж не скажешь!* (Ю. Трифонов, Нетерпение); ...— *И пусть адреса напишут. И где работают — сами напишем туда. Чтобы знали* (Лит. газета, 1979, 1 янв.); — *Пришли бы вы на десять минут раньше, он здесь как раз был. И девочки из его класса* (Комс. правда, 1979, 16 янв.);

в несобственно-прямой речи: *Ей было жалко его сегодня, она даже, честное слово, мучилась за него, хотела щадить его самолюбие, ничем не обидеть, поговорить по-хорошему. А сейчас — ненавидит. И не будет щадить* (Н. Ильина, Возвращение); *Здесь ждут тебя твои старички. И все поймут и все простят. И ты опять чище чистого* (Г. Бакланов, Друзья); *Тебе кричат через дверную цепочку: «Завтра!» — и хлопают дверью. И все-таки это работа, как-то продержаться можно. И ты себя уважаешь. И к Зотову теперь не стыдно пойти, а раньше стыдно было...* (Н. Ильина, Возвращение).

В авторской же речи как «в контексте, не ставящем задач речевого воспроизведения или изображения» [25, с. 153], ДПК используются уже в стилизующей функции. В авторское повествование они проникают благодаря выразительности, лаконичности и «экономичности» [26, с. 21] формы.

Однако именно авторскую речь характеризует ситуация формального неразличения «периферийных» ДПК и парцеллированных конструкций [6], — поскольку в контексте, нацеленном на воспроизведение «живой» разговорной речи, функционируют ДПК и, следовательно, указанная ситуация в ней не имеет места. Так функционально-стилистические параметры контекста помогают выявить сферу контекстуального использования, с одной стороны, ДПК, а с другой стороны, парцеллированных конструкций, и служат, таким образом, их дифференцирующим признаком на предварительном, первом этапе их разграничения в письменной речи.

Поэтому, прежде чем привести примеры ДПК в авторской речи — в стилизующей функции, — необходимо, очевидно, указать на их особенности, отличающие их от парцеллированных конструкций и тогда, когда функционально-стилистическая характеристика контекста уже не может быть использована в качестве различительного признака.

В разграничении ДПК и парцеллированных конструкций в авторской речи, или на втором этапе, первостепенное значение приобретают формально-синтаксические признаки — как, например, степень синтаксической сложности постпозитивных частей коммуникативно расчлененного целого (т. е. эквивалентность их члену предложения, или сочетанию членов, или придаточному предложению и т. д.), их количество и характер их связи с предыдущей (базовой) структурой.

Как уже говорилось, содержанием приема парцелляции в письменной речи является намеренное расчленение пишущим высказывания (предло-

---

[6] Ср.: «...Характеристика развития в языке... приема парцелляции должна опираться на материал авторской письменной речи» [8, с. 280].

жения) на отдельные коммуникативные составляющие. Цель использования данного приема — повышение коммуникативного динамизма высказывания, стремление придать сообщению лучшую «обозримость» посредством привлечения внимания к отдельным его смысловым компонентам («блокам»). Р. П. Лисиченко, например, пишет: «Парцелляция является сильным средством выделения отдельных частей высказывания, превращая каждую парцеллированную часть в актуальный элемент сообщения» [27, с. 13]. Выделение отдельных частей сообщения особенно необходимо в том случае, если данное сообщение имеет сложную структуру, характеризуется многообразием семантико-синтаксических отношений. Как уже говорилось выше, указанное свойство приема парцелляции рассматривается нами в качестве ее основной, характерной функциональной черты в письменной речи.

Причиной парцелляции может быть наличие в предложении нескольких предикативных частей, осложненность его структуры однородными и/или обособленными членами. В многочленах усложненной и смешанной структуры [7], в предложениях с интегрированной структурой (как их понимает Ю. В. Ванников [2, с. 268]) и в так называемых «макропредложениях» [29] условия для парцелляции также являются благоприятными. Например: *Худенькая, с дерзкими глазами, она стояла подбоченясь, смотрела на меня и ухмылялась. И я растерялся от ее ухмылки, и злость моя прошла* (Н. Евдокимов, У памяти свои законы) (парцеллируется сложное предложение усложненной структуры с однородными и обособленными членами); *Он швырнул ее* [бутылку] *не наугад, не с отчаянием, но с точным, холодным расчетом, прицелившись, точно бросая биту, как бросал ее много лет назад, в детстве, когда играл в городки. И с холодной яростью увидел, как пламя заплясало на танковой броне* (А. Чаковский, Блокада) (парцеллируется сложное предложение смешанной структуры с однородными и обособленными членами); *Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка* (В. Катаев, Алмазный мой венец) (парцеллируется сложносочиненное предложение, осложненное однородными и обособленными членами); *Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы. Стрелочники трубили* (И. Ильф, Е. Петров, Двенадцать стульев) (парцеллируется предложение с интегрированной структурой).

Особенно часто парцеллируются многочлены с разнотипными семантико-синтаксическими отношениями. Примеры такого рода можно найти не только в художественном или публицистическом тексте, но и в языке «чисто научных» произведений или политического документа: *Разумеется, незначительная часть света, отраженного от поверхности стекла, будет отражаться обратно в стекло, вместо того чтобы выходить к наблюдателю. Поэтому часть света может частично отражаться несколько раз внутри стекла, но для таких отражающих сред, как стекло или мыльная пленка, обычно заметны только первые два отражения: от передней и задней поверхности слоя среды* [31, с. 162]; «Необычайно широка и разнообразна в современных условиях деятельность нашей партии на международной арене, нет теперь, наверное, такого уголка на земле, положение дел в котором так или иначе не приходилось бы учитывать при формировании нашей внеш-

---

[7] В понимании их мы разделяем точку зрения Н. И. Формановской [12, с .187—189]. Несколько иное их определение см., например, в [28, с. 211].

ней политики. Но, разумеется, нам, коммунистам, нашему уму и сердцу ближе всего та часть мира, где находят свое практическое воплощение коммунистические идеалы — свобода от эксплуатации и угнетения, полновластие людей труда, развитие социалистической демократии, расцвет культуры и подъем благосостояния широчайших народных масс, равенство и братство всех народов и национальностей» [30, с. 5].

Вместе с тем необходимо указать, что такой критерий дифференциации ДПК и парцеллированных конструкций, как количество составляющих их частей, является довольно расплывчатым. Поэтому в качестве дифференциального признака, как представляется, можно скорее назвать однотипность или, наоборот, разнотипность семантико-синтаксических отношений между несколькими постпозитивными компонентами и между ними и базовой структурой, а также степень развернутости однородных и обособленных членов в составе конструкции, под чем понимается наличие или отсутствие у них зависимых членов. Однако и в этом случае отнесение расчлененной конструкции к присоединительным или парцеллированным будет в значительной мере условным, так как очень часто указанные структурные признаки встречаются в них в различных комбинациях, характеризуя их, таким образом, как смешанные типы. Очевидно, что вопрос идентификации расчлененных структур в этой ситуации может быть решен лишь в результате своего рода соглашения о том, чтó считать «эталоном» отдельно динамических присоединительных и отдельно — парцеллированных конструкций с точки зрения синтаксической сложности конструкции. В качестве такого структурного «эталона» присоединительной конструкции ad hoc принимаются двучленные построения, предикативные части которых не осложнены многочленными оборотами с обособленными или однородными членами, например:

художественный и публицистический текст: *Он отставлял ее* [банку] *на стул, развернув этикеткой. Чтоб все видели* (А. Битов, Такое долгое детство); *Он понимал это. И все же хотел ее видеть* (А. Чаковский, Блокада); *Голубев глянул. И обмер* (Н. Ильина, Возвращение); *Причину объяснять отказалась. И это, конечно, было ее ошибкой* (Правда, 1979, 10 окт.); *Совет национальной безопасности США и ЦРУ спешно призваны «спасти» положение. И вот появляются планы так называемой дестабилизации* (Лит. газета, 1978, 18 окт.); научно-популярный текст: *«Память» современных машин способна вмещать и хранить до 100 млн. двоичных единиц информации. И все же ей далеко до мозга* (И. Дзюбин, Путешествие в страну лилипутов); *Таким образом, этот принцип имеет большое методологическое значение. Поэтому он и играет такую роль в познании свойств и взаимодействий микрочастиц* (В. Готт, Удивительный неисчерпаемый познаваемый мир).

Однако и этот метод разграничения ДПК и парцеллированных конструкций в аспекте их формальной устроенности, очевидно, не является единственно правильным и устраняющим все неясности, связанные с таким разграничением. Менее спорной представляется квалификация коммуникативно расчлененных конструкций как ДПК в том случае, если их постпозитивные компоненты формально эквивалентны членам предложения или сочетаниям таких членов, так как их явная структурная «ущербность» и синсемантичность отражают их устно-разговорное происхождение. Чаще всего они встречаются в авторской речи художественных и публицистических произведений (в стилизующей функции): *Он лежал и курил. Ни о чем не думая* (Г. Гулиа. Зеленые когти); *Подумав, он сделал еще один звонок. Выше* (Г. Бакланов, Друзья); *Вот он сидит за барьером. Потерянный, одутловатый, бледный* (В. Амлинский, Дело Красовского); *Мама работала там же. По двенадцати часов в день* (Комс. правда, 1979, 21 сент.); *Да ведь и с дорожными катастрофами дело обстоит не лучше. По той же статистике* (Лит. газета, 1979, 17 окт.), также — в языке научно-популярной литературы:

Где-то в нашем мозгу остался мысленный слепок с карандаша, которым мы писали. Его образ (Е. Сапарина, «Ага!» и его секреты); [Постепенно в сознании обезьяны соразмеряется расстояние до цели с длиной палки.] *Палка выбрана правильно. Но лишь по величине* (Е. Сапарина, там же).

ДПК с присоединенными компонентами этого типа очень многочисленны.

В связи с этим же расчлененные конструкции, в которых связь постпозитивных компонентов в форме предикативных частей с базовой структурой аналогична связи членов в словосочетании, также рассматриваются нами как ДПК — независимо от степени синтаксической сложности данных компонентов, например: *А базилика? Которая за мостом* (Г. Гулиа, Реликты и раритеты); «И, наконец, важнейший итог прошедшего шестидесятилетия — это советский человек. Человек, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в самых тяжких боях. Человек, который строил будущее, не жалея сил и идя на любые жертвы. Человек, который, пройдя все испытания, сам неузнаваемо изменился, соединил в себе идейную убежденность и огромную жизненную энергию, культуру, знания и умение их применять» [30, с. 87].

В последнем примере синтаксико-смысловая связь присоединенных компонентов (их три) с присоединяющей частью поддерживается, кроме согласования, также с помощью повтора («человек»). Здесь необходимо отметить, что ДПК с повтором в качестве окказиональных вкраплений могут иметься в таком тексте, внутристилевая норма которого в целом не допускает элементов с экспрессивно-стилистической окраской «разговорности», в данном случае — в тексте политического документа. Выше уже говорилось о том, что лексический повтор характеризует структуру расчлененных (динамических) присоединительных конструкций; как отмечает Е. А. Иванчикова, конструкции «с лексическим повтором... построены на ином синтаксическом принципе, чем парцеллированные конструкции» [14, с. 133] [8]. Повторяться может как отдельное слово или словосочетание, так и целая предикативная часть: *Есть еще п р и ч и н ы изнутри. П р и ч и н ы, не зависящие от других* (В. Амлинский, Мальчишки без девчонок); *Для того мы и встретились, ч т о б т ы э т о з н а л. Что это на тебе и всех таких — на всю жизнь. Ч т о б ы т ы э т о з н а л и чтоб помнил* (Ю. Эдлис, Где твой брат, Авель?) (в последнем примере присоединенный компонент, в составе которого повторяется предикативная часть *Чтобы ты это знал* из присоединяющей структуры, отделен от нее другим присоединенным компонентом *Что это на тебе и всех таких — на всю жизнь*).

Очевидно, как динамическое присоединение можно рассматривать и расширение структуры расчлененных конструкций по линии экстенсионала [9] (в аспекте семантических отношений однородности): *Три года все делалось само собой: первый завтрак, второй завтрак, чай, обед. И эта квартира. И раскрытые двери магазинов. И услуги Фу-Цинь-ена. И такси* (Н. Ильина, Возвращение); *Снова и снова, как в замедленной съемке, воспроизводился момент, когда близкий им человек перестал существовать. Когда насильственной волей этих двух сидящих за барьером людей он был навсегда оторван от детей, от дома* (В. Амлинский, Дело Красовского).

Из сказанного следует, что коммуникативно расчлененные многочленные структуры, в которых связь постпозитивных частей с препозитивными не аналогична связи слов в словосочетании и не характеризуется отношением однородности, а также если в постпозитивных частях отсутствует лексический повтор, можно квалифицировать как парцеллированные:

---

[8] Иное мнение по этому поводу высказывают Ю. В. Ванников [2, с. 113] и Н. И. Формановская [12, с. 170].

[9] О понятии экстенсионала и интенсионала структуры предложения см. [2, с. 48 и сл].

1) художественный текст: *Но самым главным из того, чего он еще не знал был он сам, Анатолий. Ибо всю свою сознательную жизнь привык считать себя смелым, стойким, способным руководить людьми* (А. Чаковский, Блокада);

2) газетно-публицистический текст: *Мир сознательного коллективизма, в котором «выпадение» из жизни общества по той или иной причине какой-то личности,— это сигнал для общей тревоги. Таков образный лейтмотив фильма молодого польского постановщика* (Правда, 1979, 10 окт.);

3) научно-популярный текст: *Число вопросов, на которые еще не дает ответа наука, довольно велико, и это может породить определенное недоверие к ней и даже пессимизм. Что и имеет место, когда ученый только стихийный материалист и не руководствуется в своей деятельности принципами диалектического материализма* (В. Готт, Удивительный неисчерпаемый познаваемый мир);

4) научный текст: *В глубине куска стекла или другой преломляющей среды частица света окружена со всех сторон одним и тем же веществом. Поэтому она не испытывает неуравновешенного толчка ни в каком направлении. Но на поверхности стекла положение совсем другое: вполне возможен толчок поперек границы раздела* [31, с. 78—79];

5) текст политического документа: «Точно считать и эффективно использовать каждый рубль, каждый час труда, каждую тонну продукции, до конца изжить бесхозяйственность и разгильдяйство — это наш высокий партийный долг. Ибо экономим мы ради самого для нас дорогого — ради богатства и могущества Родины, благосостояния и процветания нашего народа» [30, с. 45]. Отличительным признаком ДПК можно также назвать разницу в коммуникативной установке и модальности присоединяемой и присоединяющей частей, например: *Таня боялась: а вдруг другие не увидят в них того, что видела она сама? И никому своих рисунков не показывала* (Н. Ильина, Возвращение).

Если при экспериментальном снятии точек (или знаков с функцией точки — вопросительного и восклицательного) расчлененная конструкция не может быть реализована в границах одного предложения (например, из-за категориальной разницы сказуемых, одно из которых — имя, а другое — глагол), то ее также можно рассматривать как присоединительную (динамическую), а не парцеллированную.

Наконец, самой существенной формальной приметой динамических присоединительных конструкций, отличающей их от парцеллированных,— независимо от функционально-речевых параметров контекста, степени сложности постпозитивных компонентов, количества предикативных частей и т. д.— являются специальные показатели присоединительных отношений, которыми, как было сказано, обладают «ядерные» присоединительные конструкции [*да и, вместе с тем, к тому же, при этом, причем, притом, кроме/помимо/более/сверх/мало того, (и) тоже, (а) также, в довершение всего, вдобавок, да еще и, да к тому же еще, (а) кстати*, и др.]. ДПК с этими показателями встречаются в любых текстах с точки зрения стилевых и функционально-речевых параметров:

1) художественный текст (речь персонажей и авторское повествование): — *Я ничем не помог бы ей и погиб бы сам. К т о м у ж е у меня было задание, важное боевое задание* (А. Чаковский, Блокада). *Луначарский был от нее в восторге. Станиславский т о ж е.* (В. Катаев, Алмазный мой венец); *Этот план подрывал репутацию Виктора как руководителя. Да и, к р о м е т о г о, почему он должен брать на себя ответственность за фантазии Лобанова* (Д. Гранин, Искатели);

2) публицистический текст: *Здесь человек не знает даже тех, кто жи-*

вет с ним в одном доме, а общается разве что с двумя-тремя соседями. К т о м у ж е стремительный городской пульс лучше согласуется с перспективой будущего, нежели с ритмом прошлого (Лит. газета, 1979, 5 сент.);

3) научно-популярный: *Массу действий мы совершаем только на уровне внешнего плана. П р и э т о м не вполне осмысленно* (Е. Сапарина, «Ага!» и его секреты).

4) научный: *Не считая того, что импульс перемещается, форма импульса на всех кадрах совершенно одинакова. К р о м е т о г о, мы видим, что между двумя последовательными кадрами импульс перемещается всегда на одинаковую величину, т. е. он перемещается вдоль пружины с постоянной скоростью* [31, с. 94];

5) политический: «Четко формулировать практические задачи, которые требуют максимального внимания ученых,— это дело прежде всего центральных планирующих и хозяйственных органов, Государственного комитета по науке и технике. Вместе с тем и сама наука должна быть постоянным „возмутителем спокойствия“, показывая, на каких участках наметились застой и отставание, где современный уровень знаний дает возможность двигаться вперед быстрей, успешней» [32].

На основании сказанного выше в качестве дифференциальных признаков ДПК и парцеллированных конструкций в структурно-синтаксическом аспекте можно, таким образом, предложить следующие: 1) степень синтаксической сложности постпозитивных компонентов коммуникативно расчлененной конструкции; 2) эквивалентность — неэквивалентность данных компонентов частям сложных предложений или — реже — отдельным предложениям; в этом случае имеет значение их количество в целой конструкции; 3) характер синтаксической связи между коммуникативными составляющими конструкции; 4) отношения между постпозитивными и препозитивными частями в аспекте коммуникативной установки, модальности и функционально-речевых параметров; 5) наличие — отсутствие между ними отношения однородности; 6) возможность—невозможность «свернутого» представления коммуникативно расчлененной конструкции в структурных границах предложения; 7) наличие — отсутствие в структуре конструкции специальных показателей присоединительности.

С помощью данных признаков достигаются более или менее удовлетворительные результаты в различении ДПК и парцеллированных конструкций в авторской речи, т. е. на втором этапе.

Разграничение ДПК и парцеллированных конструкций в формально-синтаксическом аспекте следует из предварительного их различения на базе функционально-стилистических признаков, которые, таким образом, превалируют над структурными.

В заключение следует заметить, что предложенные здесь способы различения ДПК и парцеллированных конструкций, как представляется, лучше согласуются с реальной картиной их использования в контексте, чем, например, попытка их разграничения в аспекте однозначной соотносимости с тем или иным стилем в качестве его характерологической приметы. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что, по всей вероятности, существуют и иные способы их формальной дифференциации, помимо вышеуказанных.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Колшанский Г. В.* Текст как единица коммуникации.— В кн.: Проблемы общего и германского языкознания. М., 1978.
2. *Ванников Ю. В* Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. М., 1979.
3. *Жданова О. П.* О месте присоединительной связи в ряду синтаксических отношений.— В кн.: Синтаксис и интонация. Уфа, 1975.

4. *Гулыга Е. В.* Функционирование придаточных предложений в качестве самостоятельных.— ФН, 1960, № 4.
5. *Гулыга Е. В.* Место сложноподчиненного предложения в системе синтаксиса.— ФН, 1961, № 3.
6. *Крючков С. Е.* О присоединительных связях в современном русском языке.— В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка, М., 1950.
7. *Ванников Ю. В.* Существует ли присоединительная связь предложений? — Тр. Ун-та Дружбы народов им. П. Лумумбы. М., 1965, т. VIII.
8. *Иванчикова Е. А.* Парцелляция, ее коммуникативно-экспрессивные и синтаксические функции.— В кн.: Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., 1968.
9. *Рыбакова Г. Н.* Ознакомление школьников старших классов с присоединительными конструкциями.— Р. яз. в шк., 1977, № 6.
10. *Белошапкова В. А.* Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.
11. *Сковородников А. П.* О соотношении понятий «парцелляция» и «присоединение».— ВЯ, 1978, № 1.
12. *Формановская Н. И.* Стилистика сложного предложения. М., 1978.
13. *Ляпидевская Н. С.* О некоторых структурах экспрессивного синтаксиса в публицистическом тексте.— В кн.: Русский язык для студентов-иностранцев. Сборник методических статей. М., 1979.
14. *Иванчикова Е. А.* Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения.— В кн.: Мысли о современном русском языке. М., 1969.
15. *Мильк В. Ф.* Интонация присоединения в современном русском языке.— Уч. зап. I МГПИИЯ им. М. Тореза, 1960, вып. XVIII.
16. *Попов А. С.* Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие.— В кн.: Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966.
17. *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
18. *Шмелев Д. Н.* О стилистической дифференциации литературного языка.— Р. яз. в шк., 1975, № 2.
19. *Жинкин Н. И.* Механизмы речи. М., 1958.
20. *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
21. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979.
22. *Попова И. А.* Сложносочиненное предложение в современном русском языке.— В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
23. *Винокур Т. Г.* К вопросу о норме в художественной речи.— В кн.: Синтаксис и норма. М., 1974.
24. *Рыбакова Г. Н.* Парцелляция сложноподчиненного предложения в современном русском языке: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 1969.
25. *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966.
26. *Иванчикова Е. А.* О развитии синтаксиса русского языка в советскую эпоху.— В кн.: Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966.
27. *Лисиченко Р. П.* Интонационные характеристики парцелляции в современном немецком языке: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972.
28. Современный русский язык. Ч. 2. Синтаксис. Под ред. Розенталя Д. Э. М., 1979.
29. *Чайковский Р. Р.* Макропредложение и художественный текст.— В кн.: Лингвистика текста. М., 1976.
30. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза.— Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976.
31. Физика. Ч. II. Оптика и волны. М., 1973.
32. Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.— Правда, 1981, 24 февр.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ГЕЛЬГАРДТ Р. Р.

НАУКА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЖУРНАЛЕ «RUSSIAN LINGUISTICS»

Из современных зарубежных журналов и сборников, в которых освещаются различные проблемы русского языка и которые в нашей стране пользуются доброй известностью, можно назвать, например, «Zeitschrift für slavische Philologie», «Zeitschrift für Slawistik», «Slavistische Beiträge», «International journal of Slavic linguistics and poetics», «Slavia», «Revue des études slaves» (преимущественно в период редактирования его А. Мазоном), а также общелингвистический журнал «Lingua Poznaniensis» и др. Публикуются такие периодические издания, как «Българска русистика», «Československá rusistika». Особое место в научной периодике занимает выходящий с 1974 г. в Дордрехте (Нидерланды) и Бостоне (США) журнал «Russian Lingusistics» (RL). Внушительное впечатление производит его подзаголовок «International journal for the study of the Russian language». Мы узнаем, что цель этого издания, печатающего материалы преимущественно на русском и английском языках, состоит в «публикации актуальных статей, затрагивающих все области русского языкознания и русской лингвистической поэтики в синхронном и диахроническом планах». По словам редактора и членов редколлегии, они «занимают в своей редакционной работе вполне нейтральную позицию по отношению к существующим теоретическим направлениям и лингвистическим школам». Высказывается и требование соблюдать «элементарные правила научной дискуссии» (RL, 1978, v. 4, № 1, p. 83). А в одной из статей говорится о неприемлемости пристрастных выступлений против «советских или даже марксистских ученых», потому что такие акции имеют «явно субъективно-политическую, т. е. неуместную в научном труде окраску...» (RL, 1974, v. 1, № 1, p. 59).

Поставленные редакцией научные цели и задачи следует признать актуальными, а декларируемые формы академического поведения вполне корректными. Однако журнал так и не стал подлинно международным органом, хотя бы потому, что советские филологи-русисты не входят в его авторский коллектив. В нашей стране он вообще не пользуется авторитетом и не имеет среди лингвистов сколько-нибудь значительного распространения. Причины эти перестанут казаться загадочными после того как филолог, отнюдь не стремящийся в чужих сочинениях находить только пороки, ознакомится с рядом напечатанных здесь статей и рецензий, как бы предваряя характеристики, которые даст этому периодическому изданию историк науки о языке. Читатель увидит ошибки разных видов и

удивится, встречая непривычные в научных текстах выражения «пламенных порывов чувств», воплощенных с помощью соответствующей лексики. Читатель заметит еще в некоторых статьях и определенную «клавиатуру тонов», хорошо зная, что «der Ton macht die Musik». Но, быть может, все это лишь спорадические отклонения от нормы, которые чужды общему направлению журнала и которые не снижают его престижа в глазах цивилизованного общества?

На пути знакомства с содержанием статей и рецензий, предлагаемых журналом «Russian Linguistics», встречаются разные помехи. Многочисленные нарушения правил пунктуации снисходительный читатель отнесет за счет недосмотра корректоров. Но тот же же читатель не пройдет мимо серьезных ошибок — орфографических, стилистических, грамматических — лишь потому, что они встречаются в текстах языковедческих. Полный перечень таких ошибок был бы излишним. И все же есть необходимость отметить некоторые из них. Вот несколько иллюстраций. Это, например, написание «ассиметрия» (RL, 1976, v. 3, № 1, p. 192), «аполлогетический» (RL, 1977, v. 4, № 3—4, p. 368). Или вместо «улюлюканье» употребляется «улюлюкивание» — слово, которое не входит в фонд лексики русского языка (RL, 1978, v. 4, № 1, p. 84). Также: «Наш журнал подробно *реферировал об этих публикациях*» (RL, 1977, v. 4, № 3—4, p. 355). Еще: «...трудно *себе представить, что из себя представляло* „господство нового учения о языке“» (RL, 1977, v. 4, № 3—4, p. 83). Стилист не стал бы в близком соседстве использовать частицу *себе* и местоимение *себя* или глаголы *представить* и *представлять*, а вместо *из себя* сказал бы *собою*. Образцом хорошего стиля читатель едва ли назовет тавтологическое сочетание: «Автор *панегирических восхвалений...*» (RL, 1978, v. 4, № 1, p. 130). Сочетание «нежелательные неточности» (RL, 1975, v. 2, № 1—2, p. 111) преподаватели русского языка, вероятно, сопроводили бы в тетради учащегося такой ремаркой: «Разве бывают неточности желательными?». Союз *поскольку* используется вместо наречия *насколько*: «*Поскольку* нам известно, представители современной теоретической семантики никогда и не пытались дать „формальные“ определения названий столь экзотических животных» (RL, 1978, v. 4, № 3—4, p. 336). В такой фразе, как «появление слова в письменности вовсе *не идентично с появлением* данного слова в языке» (RL, 1976, v. 3, № 1, p. 76), предпочтительнее была бы беспредложная конструкция (*идентично* не *с чем*, а *чему*). В рецензии на первый выпуск «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (М., 1975) неправильное построение фразы делает высказывание едва ли не бессмысленным. Автор заявляет: «*Говорить в XI веке* (sic!) о русском языке антинаучно» (RL, 1976, v. 3, № 1, p. 78).

Перечень такого рода фактов (количество их легко увеличить) неизбежно нарушает стиль строго академической речи. Но эти иллюстрации, быть может, наведут читателя на мысль о допустимости исследовать русский язык, не владея прочными навыками орфографии, стилистическим чутьем и знанием грамматики.

Дезориентируют читателя случаи произвольной номинации. Например, «Словарь русского языка» в четырех томах (1957—1961) назван по месту его опубликования «Московским четырехтомником», хотя лексикон этот разрабатывался сотрудниками находящегося в Ленинграде Словарного сектора Института русского языка АН СССР. Вообще же называние лексиконов по городу, где происходит их публикация, далеко не всегда бывает приемлемым. Сомнительна и допустимость различения «нормальных» и «обратных» словарей (RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 336): лексикографии чуждо оперирование понятием нормы и нормальности применительно к жанровой характеристике лексиконов. Автор одной из рецензий при-

знается, что ему «почему-то всегда казалось, что единственным организационным принципом современного словаря является строгое соблюдение раз установленного алфавитного порядка» (RL, 1976, v. 3, № 1, p. 66). Акад. Я. Грот был более осторожным, утверждая, что такая композиция заглавий словарных статей оправдана лишь в той мере, в какой она облегчает читателю поиски нужного слова. А. Х. Касарес, отлично осведомленный в современной лексикографической практике, называл алфавитный порядок «организованным беспорядком», отнюдь не настаивая на его универсальности. Отнесет ли редакционная коллегия журнала «Russian Linguistics» словари предметные или словари идеологические к «отклонениям от нормы», поскольку в них лексика скомпонована не по «раз установленному алфавитному порядку»? Читатель также не намного обогатит своей тезаурус, узнав, что «церковнославянский литературный язык» считается «восходящим в конечном итоге (!) к языку греческому» (RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 392).

Никто не станет требовать от лингвистов тонких знаний, например, ботаники и зоологии. Но причислять баобаб, наряду с кенгуру, к «экзотическим животным» (RL, 1978, v. 4, № 3—4, p. 336) вряд ли допустимо даже в специализированном лингвистическом журнале.

Перечисленные и некоторые другие высказывания несомненно стоят ниже академического уровня. Они не дают повода для дискуссии. А цитирование их таит в себе опасность отступления от стиля научной речи. Однако нам пришлось пойти на такой риск потому, что редакция журнала «Russian Linguistics» претендует на роль «законодателя вкусов» в сфере науки о русском языке.

В журнале рассматриваются преимущественно частные вопросы, а не кардинальные проблемы науки о языке. Это, например, изящная заметка Д. Чижевского «Меры расстояний и размеров в „Хождении“ Игумена Даниила» (RL, 1974, v. 1, № 3—4), статья У. Бергегорд «„Глоссарий русского разговорного языка конца XVII в.“, составленный И. Г. Спарвенфельдом» (RL, 1975, v. 2, № 3—4), публикация М. Альтбауера «Рифмованный акафист в честь Нила Столобенского» (RL, 1975, v. 2, № 1—2) и др. Из статей дискуссионных назовем работу Дж. Братковского о предсказуемости палатализации в русском языке (RL, 1980, v. 4, № 3), статью В. Лефельдта, посвященную структуре русской парадигмы, где автор предлагает свой метод описания спряжений перенести на все славянские языки, что, по мнению исследователя, позволит провести их парадигматическое сопоставление (RL, 1978, v. 4, № 1). Фонетистов заинтересует статья Р. Де Армонда о фонетическом статусе /i/ и /j/ в русском языке (RL, 1975, v. 2, № 1—2). Более широкий круг вопросов поставлен в статье А. Г. Ф. Ван Холка, посвященной текстологическим категориям и русской морфологии (RL, 1975, v. 2, № 3—4). Вопросы морфологии русского языка в аспекте некоторых идей общей лингвистики рассмотрены и в статье Т. Петтерссона (RL, 1975, v. 2, № 3—4). Уточнению понятия системной организации языка способствуют статья Д. С. Ворта «О нерегулярностях (фактических и мнимых)» (RL, 1976, v. 3, № 1—2) и статья С. Димитровой «Понятие исключения и его научная правомерность в описаниях русского языка» (RL, 1976, v. 3, № 2). Осведомленность зарубежного читателя в современной литературе по русскому языку расширяют аннотации — изложение содержания новых книг и статей (см. раздел «Reviews»). Можно было бы думать, что нет смысла останавливать свое внимание на рецензиях, в которых место серьезных и спокойных критических суждений занимает малопристойное злословие. Припоминаются слова А. С. Пушкина, который говорил о «благородном молчании, каковым... писатели... ответствовали на

неприличные и пристрастные выходки некоторых журналистов» («Отрывок из литературных летописей»). Однако в данном случае «благородное молчание» не было бы уместным. Оно принесло бы только вред.

Нет сомнения в том, что статьи нескольких эрудированных языковедов украшают журнал «Russian Linguistics». Но украшают ли они всех ученых, входящих в авторский коллектив?

Перейдем к собственно научным темам — к частным, иногда мелким вопросам лингвистики, которые занимают в статьях журнала весьма заметное место. В соответствии с общей тенденцией этого периодического органа рассуждения по поводу фактов современного русского языка и его истории регулярно сопровождаются неприязненными выступлениями против советских ученых. Как уверяет автор одной статьи, советские ученые ведут «усиленную борьбу с неискоренимыми формами *пáльта* (!) или *пóльта* ...» (RL, 1974, v. 1, № 3—4, p. 287). Высказывание это является симптомом отсутствия у автора возможности наблюдать то, что Б. Гавранек называл «актуальным говорением», считая «ошибочным представлять себе норму литературного языка вне действительно существующего литературного языка данной эпохи» [1, с. 340]. В наше же время *пóльта* произносят лишь представители сравнительно небольшой группы малообразованных людей. И «форма» эта встречается настолько редко, что никто не ведет с ней «усиленной борьбы». Желательна была бы документация, позволяющая установить, где, когда и у кого автор зарегистрировал форму *пáльта*. Если бы читатель этой статьи перенял принятую в данном журнале манеру речевого выражения (кроме допускаемых здесь грубостей), то он сказал бы, что форму *пáльта* автор мог услышать только при галлюцинаторном состоянии. Порицание «блюстителей чистоты русского литературного языка», которые «и по сей день» «борются за эту несклоняемость, якобы «совершенно чуждую русскому языку», аргументируется тем, что «формы *пáльта* или *пóльта, в пальтé* и т. п.... вполне понятны у (!) русских образованных людей, воспитанных на французском языке...» (с. 287). Знаменательно, что еще в прошлом столетии И. И. Срезневский, основываясь на массовой речевой практике его времени, предлагал узаконить склонение этого слова, а русский литературный язык так и не принял предложения, выдвинутого авторитетным ученым: форма *пóльта* осталась в пределах нелитературного просторечия. К сожалению, наших оппонентов нельзя назвать «блюстителями чистоты русского литературного языка», в чем убеждают приведенные выше факты. А что касается сочетания *понятные у кого*, то образованные люди предпочтут форму синтагмы *понятные кому* или *для кого*. Кроме того, редко кто из наших современников решится поставить уровень образованности в зависимость от «воспитания на французском языке», хотя бы из опасения уподобиться петиметрам, которые в XVIII в. были осмеяны в русской сатирической литературе.

Незаслуженным упрекам подвергаются «какие-то (!) пуристы» (RL, 1974, № 3—4, v. 1, p. 287) за то, что вследствие их «вмешательства» словари современного русского языка признают «фактически употребляющуюся» словоформу *кофей* просторечной, «социально неполноценной», недостойной литературной нормы и якобы бытующей лишь в каком-то там (!) «разговорном» языке или даже в «просторечии» (с. 287). Стилистическая нейтральность и безукоризненная литературность формы *кофей* доказывается ссылкой на употребление ее Гоголем, Салтыковым-Щедриным, Л. Толстым, Чеховым (там же). Можно было бы здесь же припомнить и «Словарь Академии Российской», узаконивший форму *кофей* [2]. А, например, у Аксакова в «Семейной хронике», как и у других известных писателей, встречалась форма *кофь*, что не дает веского повода к ее вклю-

чению в современный литературный язык. Апелляцию же к авторитету классиков русской литературы нельзя выдвигать в качестве приема убеждения: прошлая речевая практика даже выдающихся мастеров художественного слова далеко не всегда остается неизменной моделью для людей последующих поколений. Вероятно, что никто не потребует доказательства реальности диахронических смещений стилистических коннотаций и решающей роли в этих процессах речи членов общества, вполне владеющих литературным языком. А лексикографы, обладающие развитым «чувством языка» (Sprachgefühl), только фиксируют в пометах стилистические окраски языковых фактов, получившие значительное распространение и апробацию. В малопочтительном тоне говорится о «каких-то пуристах» (с. 278), хотя имеются в виду Д. Н. Ушаков — превосходный знаток русского языка и редактор «Толкового словаря русского языка» или В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Г. О. Винокур и др., которые, будучи составителями этого лексикона, несли ответственность за его содержание. Они обвиняются в санкционировании пометы «просторечное» при слове *кофей* (м. род) и пометы «разговорное» при *кофе* (ср. род). «Закрепление» же за словом *кофе* мужского рода объявлено «более или менее (?) произвольным актом (анонимного) языкового законодателя». Мы откажемся от комментирования этого высказывания и зададим только риторический вопрос о том, почему в этой связи оставлен без внимания авторитет Пушкина, хотя упомянуты другие классики русской литературы? Может быть, не так уж случайно в речи автора или повествователя романа «Евгений Онегин» представлена только форма *кофе*: «Потом *свой кофе* выпивал» (гл. 4, XXXVI—XXXVII). И в «Путешествии Онегина»: «С восточной гущей *кофе* пью». Но ср. в речи ключницы Анисьи: «Здесь почивал он, *кофей кушал*» (гл. 7, XVIII). «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля в заглавии словарной статьи указывал форму *кофе* и лишь на втором месте приводил вариант *кофей*. Отсутствие возможности непосредственно наблюдать «актуальное говорение» в русской национально-языковой среде является причиной значительного количества ошибок в собственной речи некоторых зарубежных русистов и неразличения ими тонких семантических оттенков. Например, нас уверяют, что информанты — «многие образованные русские разных поколений» будто бы «всякий раз вынуждены делать над собой усилие, чтобы вместо *булка с кофием* сказать *булка с кофе*» (с. 287). У нас нет сведений о социальном статусе «многих» информантов и об их отношении к действительно существующему литературному языку, который бытует среди современных представителей русского образованного общества. Последние несомненно предпочтут конструкцию *кофе с булкой*, а не *булка с кофе* (или *кофием*) прежде всего потому, что при таком расположении компонентов синтагмы в одном из ее членов возникает значение качественности: *булка с кофе* — по модели *булка с маком*, *изюмом* и т. д. Знаменательно, что ни автор обсуждаемой статьи, ни его информанты не замечают этих семантических нюансов.

Поводом для дискуссии служит и попытка решения некоторых кардинальных вопросов истории русского литературного языка. Проблемы этой истории поставлены в широкую культурно-историческую перспективу. Дана общая характеристика древнерусской литературы в целом и отдельных ее памятников, иногда в синхронном плане сопоставляемых с произведениями западноевропейской литературы. Я имею в виду работу А. Исаченко, посвященную предыстории и возникновению современного русского литературного языка [3]. Ее содержание передано в «Russian Linguistics» цитированием и пересказом, без каких-либо критических замечаний (magister dixi!). Однако некоторые идеи этой статьи, в частности, представления об «аристократической» среде носителей русского языка и о «ре-

волюционном» скачке от его предыстории к истории требуют должного комментирования. Сначала займемся сравнительно небольшой, но важной для истории языка темой — интерпретацией текста «Жития протопопа Аввакума» (RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 393). Решительно утверждается, что «манера выражения Аввакума отнюдь не носит индивидуальных черт, но отражает довольно верно язык высших слоев общества Москвы». Правда, протопоп Аввакум еще в молодости (1647 г.) был связан с ревнителями благочестия, близкими к царскому двору. Но даже если предположить, что этой «социальной группе» были присущи особые речевые навыки, отличающиеся от языка простого народа, то вряд ли Аввакум настолько прочно усвоил этот «социальный диалект» за сравнительно короткий срок своего общения с «придворной знатью», что отразил его в тексте «Жития», написанного значительно позднее (между 1672 и 1675 гг.). Мысль об «аристократичности» языка жизнеописания Аввакума подтверждается тем, что Аввакум «пересыпает цитаты из Священного Писания самыми вульгарными непристойностями». (с. 393). «Дисгармония таких сочетаний» считается типичным признаком речи «многослойного» высшего московского общества XVII столетия (sic!). Странно, что, упоминая представленные в «Житии» цитаты из Священного Писания и непристойности, исследователь игнорирует «проявления фонетических особенностей живой, иногда областной речи» [4, с. 35] и наличие в этом памятнике отражений северновеликорусских речевых элементов, а также народных пословично-поговорочных речений, которые не причислены к фактам «настоящего русского языка», пригодного «для употребления в литературе». Интересующий нас литературный текст назван «мертворожденным детищем» (с. 393). Вряд ли кому-нибудь удастся найти tertium comparationis этой метафоры, основанной на ассоциации по сходству и призванной заменить собой недостаток строго объективной характеристики изучаемого объекта. Ведь жизнеописание протопопа Аввакума получило большой социальный резонанс не только как остро полемическое произведение публицистики, направленное против представителей официальной церкви, но и как первый в истории русской литературы опыт обстоятельной автобиографии, близкой к жанру мемуарной прозы. Что касается декларированного отсутствия «индивидуальных черт» в «манере выражения», то идея эта может шокировать исследователя «Жития». Такая реакция естественна, потому что тщательный анализ показал отражение в нем произносимой речи, «индивидуальной манеры писаний» Аввакума, которая только и могла совмещаться с его эгоцентризмом, с его «крайним субъективизмом» [5]. Акад. В. В. Виноградов давно отметил, что «стили старомосковского церковно-славянского языка культивировались и охранялись в раскольничьей среде» [4, с. 34]. Но это отнюдь не означало, что сочинения таких идеологов раскола, какими были протопоп Аввакум, дьякон Федор, Епифаний, отражали только язык «высших слоев общества Москвы» и что в них исключались те демократические тенденции, которые отличали состояние литературного языка в XVII столетии. Как раз борьба за литературные права народного языка — письменной и разговорной речи широких слоев народа, как убедительно показал В. В. Виноградов, наиболее ярко проявилась в жизнеописании протопопа Аввакума. Выводы же о «непригодности языка «Жития» для употребления в литературе», по-видимому, опровергает сам факт существования этого литературного памятника. А заявление об отсутствии в нем элементов народного языка и отражений «индивидуальных черт» имеет меньший познавательный смысл, чем результаты серьезных исследований «Жития», проведенных Н. К. Гудзием, а особенно В. В. Виноградовым и Д. С. Лихачевым. Вообще же автор «Предыстории и возникновения современного русского литературного

языка» выражает идеи, оригинальность которых создается «принципиальной оппозицией» к тем выводам, которые прочно вошли в научный оборот.

В нашей статье, конечно, нельзя охватить множество сложных вопросов истории русского литературного языка и истории литературы, получивших в рассматриваемой работе такое осмысление, с которым нам трудно согласиться. *Мы принуждены остановиться лишь на наиболее спорных* и, вероятно, ошибочных трактовках. Так, например, двуязычие в Московской Руси едва ли следует считать признаком «языковой отсталости» и даже явлением «губительным» (с. 392): диглоссия имела место и в средневековой Европе, где устным языком был родной язык, а письменным — латынь, которая долгое время выступала в функции своего рода «социального диалекта» — языка научных, философских сочинений и проч. Отрицание же художественной ценности древнерусской литературы, к которой подходят «с точки зрения нормальных эстетических критериев» (там же) и причисление к словесному искусству «в лучшем случае» «Повести о Горе-Злочастии» (там же) указывают на недостаточную библиографическую осведомленность некоторых наших зарубежных коллег. Неосновательность таких оценок литературы древней Руси стала бы очевидной, если бы состоялось знакомство с исследованиями, вышедшими в свет раньше опубликования «Предыстории и возникновения современного русского литературного языка». Мы имеем в виду ряд работ Д. С. Лихачева [6—9] и многие другие научные труды. Знание их весьма необходимо для всех, кто высказывается о древнерусской литературе и дает оценку ее «с точки зрения нормальных эстетических критериев». Нельзя избежать чувства неловкости, адресуя это дидактическое замечание специалистам-филологам, распространяющим среди зарубежных читателей научные знания о русском языке и о литературных произведениях, которые создаются на его основе.

Крайне необходима также информация о проблемах, все еще стоящих перед историками русского языка. Потребность в строго объективном и серьезном критическом изложении опытов их разработки велика потому, что, как писал А. А. Шахматов, «Едва ли какой другой язык в мире может быть сопоставлен с русским литературным языком в том сложном историческом процессе, который он пережил» [10]. Раскрытию этого процесса, его исследованию не служат ни сравнение Симеона Полоцкого с такими западноевропейскими его современниками, как Расин, Корнель, Мильтон, ни сопоставление «Жития протопопа Аввакума» с сочинениями Декарта и Бэкона, «живших и творивших в конце XVI — первой половине XVII вв.» (с.393). Такие параллели, «обслуживающие» потребность в доказательстве «губительной» отсталости древнерусской культуры данного периода, не убедят историка, имеющего отчетливые представления о сложных закономерностях исторического процесса, динамике общего, особенного и единичного, историческом развитии как ряде параллельных процессов, протекающих неравномерно в разных странах и у разных народов при движении на пути культурной эволюции. Не менее тщетной и абсурдной была бы попытка внушить сомнение в ценности истории культуры Франции или Англии, например, указанием на то, что народы северной и средней Европы еще переживали эпоху каменного века, тогда как на берегах Нила или Тигра и Евфрата уже сложилась высокая культура, материальная и духовная. *Однако никто не игнорирует тот факт, что развитие русской* культуры в период, предшествующий капиталистической общественной формации, шло замедленными темпами. Это ничуть не исключало художественности памятников древнерусской литературы, *о чем писали многие* ее исследователи. Вопрос же о периодизации истории русского литературного языка, о различении периода собственно исторического и такого, ко-

торый назван «предысторией», как я полагаю, требует терминологического уточнения.

Состояние науки об истории русского литературного языка показывает, что проблема его происхождения и развития не мыслится советскими исследователями как аксиома: лингвисты продолжают эту проблему обсуждать. Иного, догматического, способа мышления придерживаются те иностранные ученые, кто верит в абсолютную истинность своих воззрений. Все, что не согласуется с их убеждениями (или предубеждениями), объявляется «мифами», противоречащими реальной действительности [ср. 11]. Ниже мы и займемся наиболее острыми вопросами о становлении русского литературного языка, о его периодизации и норме, о допустимости оперировать термином «русский язык» применительно к текстам XI—XIII вв. и др.

Лингвисты, стремящиеся к системной упорядоченности и композиционной стройности изложения, не раз отмечали, что любая периодизация, претендующая на проведение сколько-нибудь четких хронологических границ между одним состоянием в развитии языка и другим, всегда оказывается более или менее условной и приблизительной. Попытка же установить определенную дату, начиная с которой доистория русского литературного языка переходит в его историю, представляется нам актом схоластическим. Если появление письменности и исторических свидетельств принято считать рубежом, отделяющим историю культуры какого-либо народа от доисторической эпохи, то указание на 1750 г. как на рубеж между предысторией и историей русского литературного языка (RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 391) приводит к чрезвычайно упрощенным представлениям о различных процессах языкового развития. Не принимаются в расчет внутренние, имманентные законы, направляющие эти процессы и исключающие «одномоментный» переход в новое качественное состояние. Историческое развитие языка как переход от одного синхронного состояния в другое не есть перестройка всей его системно организованной структуры. Изменение же компонентов на разных его структурных уровнях неизбежно создает новый синтез, в котором инновации сосуществуют со стабильными (константными) единицами и теми, которые утрачивают свою социальную активность. Сохранение преемственности ни у кого не вызывает сомнения. А качественные изменения становятся очевидными при диахронических сопоставлениях языковой структуры, особенно если между сопоставляемыми объектами существует более или менее значительный временной интервал (при замедленном темпе исторического развития языка).

Можно согласиться с тем, что первая половина XVIII столетия была периодом «поисков и экспериментов», когда русский язык характеризовался «смесью канцеляризмов, церковнославянизмов и заимствованных неологизмов» (RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 393). Близкая мысль выражена Ю. С. Сорокиным, который утверждает, что русский язык этого времени «не может быть признан языковой системой, вполне подобной той, которая отчетливо выявляется в период окончательного сложения национальной нормы литературного языка» [12]. Но превращение конгломерата разнородных лингвистических образований в системную организацию не означало такого «коренного перелома», при котором утрата прежних качественных характеристик знаменовала собой отсутствие преемственности. Д. С. Лихачев, хотя и называет петровское время «перерывом в движении литературы», но считает, что время это «дало для литературного развития новые, очень сильные исторические стимулы» [13]. Следовательно, эпоха Петра I не была «пустой» в смысле полной ее непродуктивности. Я сравнил бы «перерыв» литературного развития в петровское время с «ферматой» — «звучащей паузой», в течение которой проходило накопление новых

сил или стимулов и которая была «промежуточным звеном», связывающим предшествующую часть единого исторического процесса с последующей. Любопытно, что А. И. Соболевский относил начало формирования нового русского литературного языка не к XVIII, а к XVII веку: основой этого языка первоначально была «устная форма общения образованного круга лиц в XVII веке», позднее она использовалась в публицистике петровского времени, а затем на нее «перевели» художественную литературу Тредьяковский и Ломоносов [14]. Таким образом, в действительности история литературы XVIII столетия предстает постепенным развитием, а параллельное формирование современного русского литературного языка не должно трактоваться как процесс безусловно дискретный.

Полемике по поводу различных интерпретаций понятия «литературный язык» должна быть посвящена особая статья. Мы сочтем достаточным рассмотрение всего лишь одного оценочного суждения, выраженного в журнале «Russian Linguistics». Здесь выдвинутая С. П. Обнорским теория происхождения русского литературного языка названа «комической» потому, что этот исследователь причислял к памятникам литературного языка «Моление Даниила Заточника» наряду с «явно нелитературной» «Русской Правдой» (RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 387). Литературность связывается с нормативностью, которая «предполагает существование грамматик и словарей, фиксирующих некую норму, мыслимую как обязательную для всего общества...» (RL, 1975, v. 2, № 1—2, p. 155; ср. еще RL, 1975, v. 2, № 3—4, p. 387). Но ведь норма бывает и некодифицированной, что отлично знают диалектологи, не раз констатировавшие наличие у носителей местных говоров отчетливых представлений о правильной речи, о должных средствах или формах употребления языка в речевой практике. Некодифицированную в грамматиках и в словарях норму имел в виду Ф. де Соссюр, когда он признавал явлением литературного языка поэмы Гомера, обладающие свойствами, присущими языку литературному, хотя в ту отдаленную эпоху не было ни нормативных грамматик, ни словарей, а «письменность или вовсе или почти не существовала» [15]. Также и обычное (неписаное) право, регулирующее поведение людей, предшествовало письменной кодификации его в своде законов, каким и является «Русская Правда», причем период устной передачи от поколения к поколению обычаев, сложившихся в обществе, вероятно, был весьма длительным. Это и давало веские основания автору статьи «Об истоках русского литературного языка» (ВЯ, 1975, № 5, с. 139) утверждать, что в «Русской Правде» получила отражение многовековая языковая культура. Если же рецензент данной статьи придерживается иных убеждений (RL, 1975, v. 2, № 1—2, p. 154—155), то они являются всего лишь фактом его биографии, но не истории науки.

Читателя уверяют, что «антинаучно» говорить о существовании русского языка XI в. (RL, 1976, v. 3, № 1, p. 78). Кстати, Л. А. Булаховский, например, пользовался термином «литературный язык восточных славян XI и ближайших столетий» [16]. Большинство же русских, советских и зарубежных филологов-русистов называют объект своего исследования языком древнерусским [1]. Советские историки русской литературы и русского языка разделяют идеи, четко сформулированные Д. С. Лихачевым и ставшие едва ли не conditio sine qua non современных исследований в этой области: восточные славяне называли себя «русскими», о чем свидетельствует «летопись и все остальные памятники, включая „Слово о полку Игореве“». Но, предупреждает Д. С. Лихачев, «читатель должен твердо

[1] А. И. Соболевский, также употреблявший этот термин, признавал, что наличие диалектных форм не позволяет считать древнерусский язык вполне единым [18].

помнить, что Русь X—XIII вв.— это еще не Россия, а русские в X—XIII вв.— это восточные славяне в целом, предки современных русских, украинцев, белоруссов...» [17].

И еще одно принципиально важное положение присуще концепции истории русского литературного языка, сложившейся у языковедов, которые выступают в журнале «Russian Linguistics». Это признание французского языка «одним из главных катализаторов при создании нового языкового сплава», каким являлся формировавшийся современный русский литературный язык (RL, 1975, v. 2, № 1—2, p. 156). О влиянии французского языка на русский писали многие авторы, отмечавшие лексические заимствования. Разве влияние это не ограничивалось сферой лексики, отчасти — фразеологии, и распространялось на другие уровни структуры русского языка, например, на его фонемный состав? Проникшие в русский язык калькированные конструкции (типа *дева красоты*) не намного пополнили собой набор синтагм и сложных синтаксемных моделей. Некоторые из них воспринимались как отклонения от присущих русскому языку способов объединения слов в целостные единицы речи (предложения). Строго говоря, это было не столько влиянием французского «языка» (resp. элементов разных структурных уровней), сколько воздействием со стороны жанрово-стилистических форм французской организованной речи, по общему признанию, отличающейся «ясностью, гибкостью, изящностью» (RL, 1975, v. 2, № 1—2, p. 156). Близость складывавшегося литературного языка «европеизирующейся интеллигенции» к «светской русско-французской речи» давно была установлена В. В. Виноградовым, который подчеркивал, что «идеологическая узость и экспрессивная бедность» салонных стилей «при утонченной отделке внешних форм выражения лишали этот литературный язык устойчивости и жизнеспособности, мешали его обобществлению...». Препятствиями были «социальная ограниченность, недостаток... народности и широкого демократизма» [4, с. 191]. Выдвинутому здесь тезису явно противоречит заявление о том, что современный русский литературный язык складывался только в среде русской аристократии (RL, 1974, v. 1, № 1, p.95). Однако непредубежденный лингвист не увидит в этой стадии формирования русского литературного языка «petit jargon de coterie» и не сочтет возможным игнорировать деятельность Тредьяковского, Ломоносова, а также других писателей из разночинной демократической среды, участвовавших в становлении литературно-языковых норм. Тенденциозное отрицание участия в творчестве культуры далеких от среды «аристократов» общественных классов и социальных групп идет в русле идей Г. Наумана, убежденного в том, что «Das Volk produziert nicht. Es reproduziert».

В научной литературе различимы несколько разновидностей жанра рецензии. Упомянем, например, рецензии академические, обогащающие науку новыми решениями проблем и вводящие в нее новый фактический материал. Есть рецензии остро полемические, написанные в стиле публицистики и раскрывающие идейные позиции самого рецензента. Часто встречаются рецензии библиографо-аннотационные, в которых даются общие сведения о содержании рассматриваемой работы, иногда с краткой ее оценочной характеристикой (см. разделы «Reviews» и «Bibliographical survey» в журнале «Russian Linguistics»).

Рецензию на первый выпуск «Словаря русского языка XI—XVII вв.» нельзя назвать ни «академической» в указанном выше смысле, ни остро полемичной, потому что ошибки, найденные в этом лексиконе, не дают повода для полемики, а несколько замечаний по поводу качества словаря и личности его авторов или составителей вообще выходят за рамки научной дискуссии. Эта рецензия оригинальна потому, что содержит в себе

иррелевантный для данного жанра материал биографический: критик осведомляет читателей о своих научных интересах и замыслах. Всем предлагается узнать, что рецензент (он называет себя «автор этих строк») «провел много лет за активной (sic!) лексикологической работой» (RL, 1976, v. 3, № 1, p.80) и что он «хочет сам взяться за составление словаря-глоссария к древнерусским текстам, пусть более скромного, но более надежного и филологически выдержанного» (там же). Его замечания в области лексикографии относятся к построению словаря и к набору лексических единиц, входящих в словник.

Интересны замечания о составе словника. Предполагают, что «возражения принципиального порядка вызовет... у многих специалистов невключение в словарь собственных имен, названия племен...», хотя «слова типа *Володимѣръ*, *Смольньскъ*, *весь*, *чудь* ... и т. п. входят в состав языка изучаемого периода на равных правах со словами *мужь*... и проч.» (с. 64). Никто не станет оспаривать, что собственные имена входили в лексику русского языка XI—XVII вв., как, впрочем, они входят в активный лексический фонд языка и других исторических периодов. Банальность этой мысли делает ее недостойной обсуждения. Важен лексикографический аспект поставленного вопроса. Поскольку собственные имена находят себе место в словарях энциклопедических, дающих информацию о реалиях, обозначаемых словами, тогда как толковые словари раскрывают значения слов, сопровождая семантические характеристики ремарками грамматическими, стилистическими и др., требование включать собственные имена в лингвистический словарь нельзя назвать безусловно и безоговорочно приемлемым. Во-первых, это нарушило бы выдержанность его жанровых признаков и привело бы к созданию такой гибридной формы лексикона, которая рассчитана на удовлетворение потребности в словаре-тезаурусе. Но включение собственных имен не сможет превратить лексикон в thesaurus linguae russicae по той простой причине, что словарь исторический, располагая только лексикой, запечатленной письменными текстами, не в состоянии отразить весь лексический фонд, ту его часть, которая была достоянием устной речи древнерусского общества Во-вторых, имена собственные намного увеличили бы объем исторического словаря, что вряд ли искупилось бы познавательной ценностью неизбежно лаконичных реальных комментариев в текстах словарных статей. Представим себе такую статью хотя бы на имя *Владимир* (*Володимѣръ*): «Владимир Андреевич — князь дорогобужский, сын Андрея Владимировича Доброго, князя владимиро-волынского, о которых сообщает летопись; Владимир Андреевич Храбрый — князь серпуховско-боровский, внук Ивана Калиты; Владимир Андреевич — князь старицкий — двоюродный брат Ивана Грозного; Владимир — Иван Васильевич — князь волынский; Владимир (Владимирко) Володаревич — сын Володаря Ростиславовича, князя перемышльского, сперва князь звенигородский, потом галицкий; Владимир — Василий Всеволодович, прозванием Мономах, великий князь киевский; Владимир — Димитрий Всеволодович — сын Всеволода III Юрьевича, князь стародубский; Владимир — Епифаний Глебович — князь Переяславля южного, сын Глеба Юрьевича; Владимир Давидович — князь черниговский, старший сын Давида Святославича черниговского; Владимир — Петр Игоревич — князь северско-путивльский, сын Игоря Святославича». Перечень исторических лиц, носящих имя *Владимир* и упоминаемых в древнерусских памятниках, можно было бы продолжить, если бы и эти сильно сокращенные иллюстрации не убеждали, что содержание таких словарных статей чуждо лексикологии, выступающей теоретической основой лексикографии, и ничуть не исключает возможной потребности читателя в обращении к энциклопедическим словарям для наведения соответ-

ствующих справок. Конечно, при собственных именах — личных или географических названиях — можно было бы дать пояснения типа: «Владимир — название города. Владимир на Клязьме. Владимир-Волынск» и здесь же или в другой словарной статье: «Владимир — имя человека мужского пола». Но, ориентируясь на задачу или установку «Словаря русского языка XI—XVII вв.» — быть общедоступным справочным пособием, способствующим пониманию древних памятников литературы и письменности — лексикограф может выразить сомнение в необходимости таких истолкований. Не будут ли они избыточными для читателя, которому Словарь адресован? Разве названия *Владимир*, *Смоленск* и др. станут помехами, затрудняющими понимание текста? Скорее всего, читатель в таких случаях легко обойдется без помощи реального комментария. Тем не менее вопрос о включении собственных имен в корпус лингвистического словаря весьма серьезен. Он нуждается в дальнейшем обсуждении.

Советские ученые стараются учитывать положительный опыт зарубежной науки, но избегают инертного подражания уже выработанным образцам. Поэтому критического к себе отношения заслуживает призыв или требование в практике составления исторического словаря русского языка следовать английской лексикографической традиции. «Большие английские словари, как правило, включают все имена собственные в основной словник» (RL, 1976, v. 3, № 1, p.64),— сообщает русским лексикографам журнал «Russian Linguistics». Но сведения эти оказываются неточными. Не все большие английские словари приводят имена собственные и не всегда большие английские словари приводят в с е имена собственные. Выборочный просмотр десяти английских лексиконов показал, что такие имена, как *Дон Кихот*, *Дон Жуан*, *Нью-Йорк*, *Ниагара*, *Нибелунги*, *Шекспир* находим в [19] и в [20]. Но словарных статей на эти слова нет ни в [21], ни в [22]. В [23] собственные имена даются избирательно: здесь отсутствуют слова *Don Quixote*, *New York*, *Niagara*, но есть *Nibelung* или, например, *Lombard-Street*. Нет в этом лексиконе и таких собственных имен, как *Шекспир* и *Байрон*: вместо них даны только производные типа *Shakespearian*, *Byronic* и т. д. В [24] и [25] также даны только производные от *Шекспир* и *Байрон*. Словарные статьи на эти слова не представлены и в [26], где находим только *Shakespearian*, *Byronism* и др.

Согласно рецензии в RL, «полное отсутствие словаря» предлагается предпочесть словарю, разработанному советскими учеными (там же, с. 80). Последние, как заявляет журнал «Russian Linguistics», не имеют достаточной научной подготовки (с. 68) и «недостаточно добросовестно» относятся к «филологической работе как таковой» (с. 80). Столь широкое обобщение обосновывается несколькими допущенными в Словаре ошибками. Это — случаи нарушения алфавитного порядка, неправильность (нечеткость) грамматических характеристик. Непризнание же научной ценности датировки наиболее ранних памятников, в которых встречаются те или иные слова, остается произвольным и недоказанным. Безусловно, нельзя допускать ошибки и терпимо к ним относиться. Но разве критика, так разнообразно представленная в журнале «Russian Linguistics», установив в рецензируемой работе несколько погрешностей и существенных ошибок, имеет моральное право опорочивать весь огромный труд — «Словарь русского языка XI—XVII вв»., который делает достоянием науки и читательской аудитории богатый и весьма ценный фактический материал? Отстраняя подозрение в предвзятости, мы можем сказать, что здесь, как и во многих других случаях, допущена логическая ошибка, состоящая в том, что на целое распространяется утверждение, справедливое лишь по отношению к части целого (sensu diviso ad sensum compositum).

К большинству рассмотренных нами рецензий на труды советских

ученых приложима оценка, которую один из критиков высказал о работах по истории русского языка, опубликованных в Советском Союзе: «создается впечатление, что свою задачу авторы... видят в эмоционально насыщенном... отстаивании некой заранее данной линии изложения, не обязательно определяемой лишь анализом самого материала»... (RL, 1977, v.4, № 3—4, p. 368). «Заранее данная линия изложения» в журнале «Russian Linguistics» выражена с предельной ясностью: поставлена задача убедить «заграничных читателей», что в Советском Союзе нет подлинной науки и что в нашей стране публикуется преимущественно недоброкачественная «филологическая продукция». Таков «социальный заказ». До последнего времени редакционная коллегия журнала выполняла его педантично, пользуясь услугами хорошо натренированных ученых-филологов. Идеальным для редколлегии этого периодического печатного органа был бы подбор критиков, о которых можно было бы сказать словами Тредьяковского: «Нет ни одного, кто бы не хотел находить пороков в чужом сочинении». Ошибки необходимо исправлять. Тот, кто их допускает, должен нести ответственность. И мы, отвергая грубо тенденциозные, необоснованные нападки на всю советскую филологию и на ее представителей, не можем умолчать, что у нас, к сожалению, иногда печатаются работы, недостойные публикации, и что в некоторых журнальных статьях или книгах, посвященных науке о языке, встречаются непростительные lapsus'ы. Мы уже видели, что ряд существенных погрешностей был отмечен журналом «Russian Linguistics». И это заслуживает благодарности, как все, что приближает к научной истине. А призыв к пристойному речевому поведению — это естественная реакция на грубости оценок трудов многих советских авторов, на попытки дискредитировать их личность, их научную компетентность (см. RL, 1976, v. 3, № 2, p. 199; RL, 1978, v. 4, № 1, p. 86; RL, 1977, v. 3, № 3—4, p. 356 и др.). Всем предлагается узнать, что лингвисты в нашей стране заняты «заклинаниями» вместо объективного изучения истории русского языка (RL, 1977, v. 4, № 3—4, p. 369). Всех предупреждают от вредного знакомства с выпускаемыми АН СССР сборниками под названием «Контекст», потому что они «постепенно становятся рупором наиболее ретроградных (и при этом наиболее закамуфлированных) идей в поэтике» (там же, с.381). Или в рецензии на одну из статей, опубликованных журналом «Филологические науки», даже найдена «конструкция», которая квалифицируется как «распущенность» (!). Это доказывается употреблением термина «непринужденная речь» (RL, 1977, v. 4, № 3—4, p.348). Почему же высокочтимые коллеги забывают, что термин этот прочно вошел в стилистику и что Л. В. Щерба содействовал его распространению? Не отказывается журнал и от наивно-дидактических заявлений, вроде того, что «словообразование, как-никак, серьезная дисциплина, а не „там, где производят слова“» (RL, 1978, v.4, № 3—4, p.368).

Безусловно новаторским в стиле научной прозы нужно признать прием графической передачи эмоционально-насыщенной речи критика-рецензента, задающего вопрос: «Какими н-а-у-ч-н-ы-м-и соображениями вызвано создание столь дезориентирующих терминов?» (RL, 1980, v.4, № 3—4, p.368). Читатель удивится, встретив в научном журнале окказионализм, остроумно сконструированный с помощью контаминации: «терроретик» (RL, 1978, v. 4, № 1, p. 83). Я останавливаю внимание на этих мелочах отнюдь не вследствие склонности к коллекционированию курьезов, а для того, чтобы показать разнообразие даже чисто внешних приемов, призванных «защищать» науку от всех, кто на нее посягает, кто будто бы не заинтересован в ее развитии и процветании. Той же «высокой цели» служит и подбор эмоционально-экспрессивной лексики. Редколлегия «Russian Linguistics», по-видимому, не отказывается от ответственности за допуск

на страницах журнала бранной лексики, вроде «шарлатан», уничижительных характеристик типа «антинаучный фантазер», «убогий научный уровень» (об известном советском ученом) и др. Употребление же атрибутивной синтагмы «продажная девка» (RL, 1978, v. 4, № 1, p. 83) или сообщение о Григории Распутине, который «в юности премило играл на гармошке» (там же, с. 86), доказывают, что понятие приличия не чуждо редакции этого журнала, поскольку она вполне добровольно им пренебрегает.

Последние два примера извлечены из статьи «Марр — redivivus?», не имеющей никакой связи с наукой о русском языке. Публикация этого опуса в журнале, призванном разрабатывать вопросы русистики, может показаться случайностью и недоразумением. Но такое впечатление было бы ошибочным, потому что именно здесь особенно отчетливо дает о себе знать политика конфронтации, принципиально неприязненное отношение к советской филологии — то, что выводит этот журнал за пределы науки в сторону недорого стоящей публицистики. Статья направлена в защиту языковедения и против якобы наметившейся в советской филологии тенденции повернуть историю науки вспять путем возрождения пресловутого «нового учения о языке» и «реабилитации» акад. Н. Я. Марра. Казалось бы, что умение отличать реальность от нездоровой фантазии есть минимальное требование к членам редколлегии любого журнала, не придерживающихся принципа «печатать все, что угодно».

Перед историей науки о языке (и я об этом уже писал) все еще стоит задача дать серьезную оценку работ Н. Я. Марра. Настоятельно необходимо «без гнева и пристрастия» отделить в его трудах то, что научной ценности не имеет, а потому лишено права войти в фонд позитивных знаний, от исследований, сохраняющих начную ценность до наших дней. Но намерения пропагандировать «яфетидологию» нет ни у кого. Действительно, в отечественной филологии встречаются указания на «актуальность проблем, которые пытался решать Н. Я. Марр...» [27], а также на его большой вклад в армянскую и грузинскую филологию [28]. Упоминают и содержательные работы Н. Я. Марра в области археологии и фольклористики (ВЯ, 1976, № 3). При вдумчивом же отношении к ранним лексико-семантическим изысканиям, к опытам Н. Я. Марра в сфере сравнительной лексикологии и семасиологии, к предложенным приемам реконструкции находят в них рациональное зерно. Н. Я. Марр «считал, что разные языки языкового союза (по его терминологии, „скрещивающиеся языки“) обязательно обладают словами для обозначения одного и того же понятия и в рамках языкового союза эти слова становятся синонимами. В таком виде эта идея сохраняет значение и при современном понимании „семьи-союза“. Однако далее Н. Я. Марр в соответствии со своей теорией „скрещивания“ полагал, что разные синонимические слова или их корни линейно соединяются в одной единице...»,— пишет Ю. С. Степанов [29]. И далее: «В применении к целым лексемам идея „синонимического сложения“ не находит подтверждения (заметим, однако, что в исключительных случаях такое сложение, по-видимому, может иметь место). Но в применении к корням и аффиксам принцип „синонимического сложения“ исторически подтверждается и широко используется в современных работах по реконструкции» [29, с.129].

Всех, кто следит за современной издаваемой у нас литературой, не нужно убеждать, что даже в учебниках нет ни изложения «общелингвистической теории» Н. Я. Марра, ни даже упоминания о нем. Выступление же «Russian Linguistics» против создателя так называемого «нового учения о языке», против будто бы все еще агрессивных «соратников» и «учеников» покойного академика есть импульсивная реакция на статью, опубликованную в «Вопросах языкознания» (1976, № 3). В статье этой рассмотрены

сохраняющие свою ценность работы Н. Я. Марра по фольклору и только затронуты проблемы субстрата, скрещения языков, вопросы глоттогенеза без оценочного их комментирования. Удивительно, что ни одна из этих тем не нашла себе места в критической статье «Марр — redivivus?». Все здесь свелось к нападкам на «сподвижников» и «последователей» Марра, будто бы уже приступивших к «реставрации» его учения. Однако это указывает на чрезвычайно слабую ориентацию наших оппонентов во времени и не менее слабую их осведомленность в реальном положении вещей. Среди советских ученых давно уже нет «марристов». Нет и намерения пропагандировать те их идеи, которые справедливо отвергнуты наукой о языке. Но есть понимание настоятельной необходимости строго объективного подхода к прошлому этапу развития лингвистических идей. Есть и убеждение в том, что биография ученого не напоминает жития святых. Ошибки, заблуждения часто сопровождают поиски истины. Рассудок борется с предрассудками, и борьба эта бывает напряженной, а иногда болезненной. Было бы некорректным и негуманным вменять в вину филологам их прежние заблуждения и сохранять о них злобную память.

Как заметил Л. Н. Толстой, «у писателей, описывающих известный класс народа, невольно к слогу прививается характер выражения этого класса» [30]. Не исключено и воздействие на филолога той речевой манеры, которая принята в текстах научных работ, ставших объектом его наблюдений. В нашем случае это было бы большой опасностью. Отнюдь не «невольно», а намеренно я воспользуюсь лишь выражением «автор этих строк» и несколькими замечаниями pro domo sua, следуя примеру критика «Словаря русского языка XI—XVII вв.», сообщающего читателю сведения о самом себе (RL, 1976, v. 3, № 1, p. 80). Сейчас же оговорюсь: делаю я это не вследствие заразительности дурных примеров, а для того, чтобы отвести обвинение от тех, кого за пределами нашей страны все еще причисляют к последователям Марра, пытающимся возродить его общелингвистическое учение.

Итак, «автор этих строк» никогда не был ни сподвижником, ни учеником акад. Марра. Более того, «автор этих строк» был в прошлом отстранен от чтения курса общего языкознания, потому что не придерживался идей ортодоксального «марризма». Вот почему автор, не имеющий никакой склонности к мести, которая, насколько можно судить по статье «Марр — redivivus?», отождествляется с «нравственными установками науки о языке» (с. 87), счел себя вправе выступить против непристойного поругания всех трудов ученого — его фольклористических исследований, работ по археологии, этнографии, по армянской и грузинской филологии. Никто не возводит акад. Марра в ранг «непонятого эпохой гиганта мысли» (с. 86). Не случайно, что даже оппоненты, не принимавшие его общелингвистических идей и против них выступавшие (разумеется, не во время дискуссии 1950 г.), признавали яркой его индивидуальность, его большую творческую одаренность. Она проявлялась даже в ошибочных, чисто спекулятивных построениях, основанных на такой фантазии, которая противопоказана позитивной науке: «Quod licet Jovi, non licet bovi». Ж. Вандриес был уверен, что кавказские языки Марр знает «лучше, чем кто-либо в мире» [31, с. 365—366]. А. Мейе ценил его «глубокие знания кавказских языков» и поражался установленному Марром «морфологическому сходству грузинского языка с семитическими» [31, с.158]. Г. Шухардта интересовали его работы, в которых определялись отношения между языками баскским и семито-хамитскими [31, с. 159]. В. Ф. Шишмарев в своей характеристике личности Марра писал о его «неутолимой жажде знания», которая «могла сравниться только с железной выдержкой в работе, а широта охвата — с огромной проницательностью и ярким творческим воображением» [31, с. 505].

Востоковедческие труды Н. Я. Марра были так высоко оценены, что в 1912 г. по рекомендации С. Ф. Ольденбурга и других выдающихся ориенталистов он был избран действительным членом Императорской Академии наук.

Негативная оценка последнего периода деятельности ученого распространяется на все его научные труды. Их автор уже посмертно получает оскорбительные названия лжеученого, «вреднейшего явления» и даже «шарлатана».

Допускаемые в статьях «Russian Linguistics» орфографические, грамматические ошибки как признаки далекого от совершенства знания русского языка, препятствующие его научному исследованию, отказ от речевого этикета, переходящий в отступления от принятых в цивилизованном обществе правил приличия,— эти явления беспрецедентны в филологической практике. А произвольные рассуждения об истории русского языка, о «губительных» процессах, препятствующих развитию русской культуры и будто бы предопределивших ее отставание, а также о современном уровне науки о русском языке в Советском Союзе вызывают ассоциацию с высказыванием А. И. Соболевского об авторах, руководствующихся соображениями, к науке не причастными. А. И. Соболевский упоминал о «некоторых мало знающих русский народ и русский язык иностранцах», дающих искаженное представление о русском народе и его языке [18, с.1].

Журнал «Russian Linguistics», имеющий свой индивидуальный облик, может рассматриваться как некое целое. Поэтому упоминание фамилий всех авторов было излишним. Жаль, что ценные статьи в данном периодическом издании теряются среди публикаций, тон которых создает фальшивое звучание «ансамбля». Только кардинальная перестройка журнала позволит редколлегии найти широкий отклик на ее призыв к «обмену мнениями в условиях деловой дискуссии и вдумчивого учета точки зрения оппонента».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гавранек Б.* Задачи литературного языка и его культура.— Пражский лингвистический кружок. Сборник статей. М., 1967, с. 340.
2. Словарь Академии Российской. Ч. III. СПб., 1814, стлб. 357.
3. *Issatschenko A.* Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache.— ZfslPh, XXXVII, 1974.
4. *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938.
5. *Лихачев Д. С.* Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975, с. 302.
6. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967 (2-е изд. —1971).
7. *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. М.— Л., 1958.
8. *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.
9. *Лихачев Д. С.* К изучению художественных методов русской литературы XI—XVII вв.— В кн.: Актуальные задачи изучения русской литературы XI—XVII вв. М.— Л., 1964.
10. *Шахматов А. А.* Очерки современного русского литературного языка. М., 1941, с. 60.
11. *Issatschenko A.* Mythen und Tatsachen über die Entstehung der russischen Literatur. Wien, 1975.
12. *Сорокин Ю. С.* Словарь русского языка XVIII века. Проект. Л., 1977, с. 8.
13. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. доп., М., 1979, с. 18.
14. *Алексеев А. А.* Академик А. И. Соболевский — историк русского языка.— ВЯ, 1975, № 5, с. 139.
15. *Соссюр Ф.* Труды по языкознанию. М., 1977, с. 231—232.
16. *Булаховский Л. А.* Курс русского литературного языка. Т. 2. (Исторический комментарий). 4-е изд. испр. и доп. Киев, 1953, с. 11.
17. История русской литературы X—XVII веков. Под ред. Д. С. Лихачева. М. 1980, с. 9.

18. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд., М., 1907, с. 2.
19. The Scribner-Bantam English dictionary. New York, 1977.
20. The American heritage dictionary of the English language. Boston—New York, 1969.
21. Webster's new ideal dictionary. Springfield (Mass.), 1978.
22. Collins English learner's dictionary. London—Glasgow, 1974.
23. Chambers Twentieth century dictionary. Edinburg, 1978.
24. Webster's New International dictionary of the English language. 2-nd ed., unabridged. London, 1958.
25. Webster's new twentieth century dictionary of the English language. 2-nd ed., unabridged. Cleveland and New York, 1963.
26. The Oxford English dictionary. I—XII. Oxford, 1933.
27. *Кондрашов Н. А.* История лингвистических учений. М., 1979, с. 196.
28. *Виноградов В. В.* История русских лингвистических учений. М., 1978, с. 347.
29. *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975, с. 128—129.
30. *Толстой Л. Н.* Дневник.— Полн. собр. соч. Под ред. Петровского А. С. М.— Л., 1934, т. 46, с. 279.
31. *Миханкова В. А.* Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. 3-е изд. испр. и доп. М.— Л., 1949.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1981

СТАЛТМАНЕ В. Э., ГРАУДИНА Л. К.

КУЛЬТУРА ЛАТЫШСКОЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

Двуязычие в национальных республиках создает предпосылки для своеобразного и широкого проявления тенденций развития языков народов СССР в советскую эпоху [1, 2]. Влияние билингвизма на разные языки проявляется по-разному и зависит от целого ряда причин. В частности, результаты взаимодействия контактирующих языков предопределены генетической и типологической дистанцией между ними, неповторимостью истории народов и истории языков, связями с другими народами и языками, уровнем развития культуры народов и т. п. В условиях двуязычия неизбежная вариантность норм обусловливается не только закономерностями внутреннего развития языка: немалое влияние оказывают и внешние факторы, связанные с взаимодействием и взаимовлиянием языков [3]. Поэтому в области нормирования литературных языков народов СССР и в конкретной деятельности лингвистов, направленной на повышение культуры речи, возникает много общих проблем.

Выявление общего и специфического в разделе языкознания, изучающего проблемы повышения культуры речи на языках народов СССР, по существу еще не начато, хотя сама научно-исследовательская деятельность в этой области в национальных республиках в настоящее время приобретает особую остроту и социальную значимость.

Намеченные в рамках этого направления исследования нуждаются не только в достаточном накоплении фактического материала, но и в осмыслении той работы, которая ведется у нас в республиках в области сознательного воздействия лингвистов на стихийные процессы в языке с целью усовершенствования литературных языков. В этом плане может представить интерес латышское языкознание, имеющее некоторый опыт и традиции ортологической работы.

В Латвийской ССР исследование теоретических проблем культуры латышской речи ведется в тесной связи с практическими работами в области нормализации литературного языка. В 50—60-е годы была опубликована нормативная Академическая грамматика латышского языка в двух томах [4]. Вышли в свет первые три тома нормативного восьмитомного толкового словаря латышского литературного языка [5]. В 1969—1976 гг. в Секторе математической лингвистики Института языка и литературы АН ЛатвССР был подготовлен и опубликован частотный словарь латышского языка [6].

Общие проблемы культуры латышской речи, так же, как и конкретные исследования на эту тему, широко освещаются на страницах ежегодного издания «Latviešu valodas kultūras jautājumi» [Lvkj] («Вопросы культуры латышского языка»), которое выходит в свет регулярно в течение 15 лет (1965—1980 гг.). Эти выпуски подготавливаются в Риге Секцией культуры речи Союза журналистов Латвии и Группой культуры речи Института языка и литературы АН ЛатвССР (А. Блинкена, Л. Цеплитис,

А. Фрейденфелдс, Ю. Карклиньш, Т. Порите, А. Плесума, Ю. Ванагс).

Выступления лингвистов по вопросам культуры речи часто публикуются в широкой печати и нередко делаются предметом оживленных дискуссий, в которых участвуют писатели, литературоведы и лингвисты [1].

Последнее десятилетие характеризуется заметным расширением исследовательского горизонта латышских языковедов, работающих в области культуры речи. Это выражается, во-первых, в выходе за пределы латышского языка (ср. ряд обзорных статей, характеризующих работу в области культуры речи в соседних прибалтийских республиках, а также рецензии на новейшие издания, посвященные аналогичной тематике в русском языкознании), во-вторых, в усилившемся теоретическом аспекте публикаций; кроме того, в появлении проблемных статей, касающихся тематики нормирования латышского языка, а также в расширении диапазона конкретных вопросов языковой практики, нуждающихся в упорядочении.

В условиях двуязычия особенно остро обнаруживаются различия в степени владения литературным языком. В программе культурно-речевой деятельности латышскими языковедами ставятся и решаются задачи, отражающие основные направления ортологических исследований. Одно из этих направлений представляют работы, целью которых является борьба за культуру речи, охрану литературной нормы и соблюдение «правильности» речи на разных языковых уровнях.

Высшая степень владения литературным языком, владение в совершенстве нормами родной речи, вопросы мастерства литературной речи, искусного (а не только «правильного») использования стилистических ресурсов языка составляют второй аспект культуры речи. В рамках этого направления ставятся и обсуждаются проблемы языка художественной литературы, языка и стиля прессы, лекторского мастерства и т. д. В этой связи следует отметить особую роль «Вопросов культуры латышского языка», в которых имеются специальные рубрики «Язык и стиль», «Писатель и язык».

Общий обзор содержания выпусков по культуре латышской речи свидетельствует о том, что подавляющее большинство публикаций связано с решением собственно ортологических проблем. Этой тематике непосредственно посвящен ряд интересных статей А. Блинкены. Так, в статье «Культура языка в условиях двуязычия» (Lvkj, 1973), признавая роль русского языка как языка межнационального общения в нашей стране и положительное влияние двуязычия на развитие национальных языков, автор одновременно отстаивает необходимость соблюдения требований культуры речи в национальных языках; при этом особое внимание уделено латышскому языку. Поэтому не только лингвист, но и каждый носитель латышского языка, встречаясь с новым заимствованием, должен ответить на вопрос, необходимо ли оно на самом деле, обозначает ли оно новое понятие и явление, выражает ли новые смысловые, стилистические и эмоциональные оттенки. Автор предостерегает от заимствования слов из других языков в тех случаях, когда язык в этом не нуждается. «Терпимость» говорящих в этом отношении создает балласт для языка в виде ненужных дублетов. Так, например, нельзя принять встречающиеся в бытовом профессиональном жаргоне варваризмы типа *narjads* «наряд», *gruščiks* «грузчик», *stavka* «ставка» и т. п., так как для обозначения соответствующих понятий латышский язык располагает общеизвестными словами *norīkojums*, *krāvējs*, *likme*.

---

[1] Практическая нормализаторская деятельность латышских лингвистов в досоветское время (в частности, работа в этом направлении Я. Эндзелина) и в советское время до 70-х годов освещена в печати; см. [7].

Вопросу о лексических заимствованиях, чрезвычайно важному для развития современного латышского языка, посвящена статья А. Ахеро «Языковые контакты и заимствование слов» (Lvkj, 1976). Рассматривая разновидности языковых контактов, автор выделяет контакты проксимальные (*proksimālie* от лат. *proximus* «ближайший») и дистальные (*distālie* от лат. *distalis* «дальше стоящий»). Проксимальные контакты создаются тогда, когда контактируют не только языки, но и сами их носители, когда общение происходит в естественной речевой среде и ситуации, обычно в устной форме и остается, как правило, на уровне разговорной речи. Дистальные же языковые контакты создаются, когда носители одного языка соприкасаются с другим языком без посредства самих говорящих. Язык другого народа при этом обычно выражен в фиксированном виде — в письменной или устной форме, в последнем случае при помощи технических средств (радио, телевидение, кино и т. п.). В наше время, когда сложился латышский литературный язык, проксимальные языковые контакты осуществляются преимущественно на уровне ненормированного литературного языка (обычно в пограничных районах, в больших портовых городах, крупных промышленных центрах, где встречаются представители разных народов). Главные и определяющие языковые контакты в наше время, по мнению А. Ахеро, это контакты, реализующиеся на уровне нормативных литературных языков, при этом в условиях явно выраженного дву- и многоязычия. Подчеркивается, что результаты этих контактов оказывают глубокое влияние на развитие всего литературного языка. Именно дистальные контакты оставляют неизгладимый след в развитии нормированного литературного языка.

Особое внимание автор уделяет соотношению национального и интернационального в процессе заимствования. На уровне соприкосновения литературных языков (при дистальных контактах) заимствование происходит преимущественно только в тех случаях, когда заимствованная лексическая единица обозначает специфическое понятие или реалию, не знакомые языку-преемнику. Перевод поэтому затруднен, ср. вошедшие в латышский язык без перевода слова *bolševiks*, *kolhozs*, *kvass*, *sarafans* и др. Эти же слова, как правило, не переводятся в других европейских языках. Таким образом, они становятся интернациональными. Однако количество подобных заимствований (почерпнутых из конкретных современных языков) в латышском языке незначительно. Один из путей обогащения словарного состава латышского языка в условиях языковых контактов — это ориентация на интернационализмы греко-латинского происхождения.

Проникновение интернационализмов в латышский язык через языки-посредники — русский и отчасти западные языки или построение неологизмов на основе греко-латинских элементов с использованием формантов латышского языка, как правило, осуществляется без особых преград. Отношение к национальным и интернациональным заимствованиям достаточно наглядно прослеживается в терминологии. Принципы построения латышской терминологии подробно изложены в многочисленных статьях В. Скуйини (Lvkj, 1972—1977, 1979). Характеризуя лингвистические основы латышской терминологии, создаваемой как на базе лексики и словообразовательных моделей (нередко специализированных и преобладающих именно в терминологии) латышского языка, так и при помощи заимствований, автор обращает внимание на упорное сопротивление языка заимствованиям, идущим из конкретных современных языков. Так, в течение многих лет латышский язык отвергал неологизм английского происхождения *kompjūters* «компьютер» (из-за сочетания *-pjū-*, не свойственного латышской фонетике) до тех пор, пока не было предложено и утверж-

дено Терминологической комиссией слово *skaitļotājs*, однокоренное со словами *skaitlis* «число», *skaitļot* «вычислять», *skaitļošana* «вычисление».

Аналогичны причины, препятствующие проникновению в латышский литературный язык английских слов *hobby* «хобби», *week-end* «конец недели», спортивных терминов *match* «матч, состязание», *time-out* «тайм-аут» и др. Для первых двух понятий предложены и быстро осваиваются языком композит и словосочетание латышского языка *vaļasprieks* (*vaļa* «свобода; досуг; воля» + *prieks* «радость»), *nedēlas nogale* «конец недели». Удачный эквивалент предложен для такого общеизвестного русского слова, как спутник: (*pavadonis* 1. «проводник; провожатый», 2 астр. перен. «спутник», ср.: *Mēness ir Zemes pavadonis* «Луна — спутник Земли» — от глагола *pa-vadīt* «проводить; сопровождать; сопутствовать» [8]). Для передачи русского спортивного термина *подножка* создано слово *klupinājums* (ср. *klupt* «спотыкаться», от него образован каузатив *klupināt* «заставить спотыкнуться», *klupinājums* — результат действия от глагола *klupināt*).

Естественно, что более широко в латышскую речь проникает заимствованная номенклатура, ср. обозначения синтетических тканей, моделей одежды: *lavsāns*, *neilons*, *kaprons*, *džinsi* и т. п. Однако значительная часть этих единиц оказывается недолговечной, так как они приближаются по своей функции к фирменным знакам и поэтому нередко проходят через речь «транзитом», не оседая в основном фонде языка.

Неотступное следование летуанистов своим установившимся традициям нормирования литературного языка нельзя, по нашему мнению, рассматривать как проявление пуристических тенденций, о чем говорит, например, их отношение к архаизмам и областной лексике. Признавая уместность последних в художественной литературе (в тех случаях, когда это мотивировано стилем и жанром произведения), деятели языковой практики относятся весьма осторожно к возрождению этого пассивного пласта лексики в научном стиле, в терминологии [см. статьи А. Микелсоне, в частности, «Об употреблении союза *jebšu* в латышском языке (Lvkj, 1972)]. Строительный материал для создания научной терминологии черпается из активного фонда лексики литературного языка.

Эластичный, неконсервативный подход нормализаторов латышского языка к развитию языка проявляется также в их терпимости к инновациям, происходящим в грамматическом строе латышского языка (см. ниже о тенденциях аналитизма, о допущении соединительных гласных в композитах, появлении аббревиатур и т. п.).

Передача иноязычных имен собственных на латышский язык — это раздел прикладного языкознания, давно разрабатываемый латышскими языковедами. Как известно, в последние десятилетия издана серия инструкций-справочников, регламентирующих передачу собственных имен большинства народов, с литературой которых латышский читатель соприкасается (русский, немецкий, английский, французский, литовский, эстонский, польский, чешский, испанский, болгарский и др.). Практическая транскрипция заимствованных имен собственных в латышском языке устанавливает непосредственное отношение с языком-источником. В условиях двуязычия заимствованные имена собственные часто проникают в латышский язык через русский язык, причем принципы передачи этих имен в них не идентичны. Так, например, русский язык, в котором гласные не противопоставлены по краткости — долготе, не отражает этого свойства вокализма и в заимствованных именах собственных (или делает это непоследовательно), в то время как латышский долготу гласных в заимствованных именах собственных, как правило, отражает. Поэтому немецкие фамилии типа *Wehling*, *Wiesinger*, попавшие в латышский язык

через фильтр русского языка в виде *Велинг*, *Визингер* и переданные по-латышски без долготы *Velings*, *Vizingers*, лингвисты признают ошибочными и требуют восстановления их написания и произношения, более точно отражающего оригинальные формы, а именно *Vēlings*, *Vīzingers* (Р. Вейдемане, Lvkj, 1972). В последнее время много внимания уделено передаче на латышский язык имен собственных с языков нелатинопишущих — японского (Г. Эглите и Э. Катайс, Lvkj, 1979), арабского и персидского (М. Шумане, Lvkj, 1979), где проблема языков-посредников неизбежна.

Нормализация литературной речи, так же, как и оценка «правильностей» и «неправильностей» на разных уровнях языка, требуют различного подхода, при котором должны быть учтены особенности языковой структуры. Не только лексика и словоупотребление, вопросы терминологии, ономастики и орфографии, но и грамматика, и орфоэпия — вот те основные области языка, которым посвящены многие крупные работы выпусков по культуре латышской речи.

Латышский язык, как и русский, по своему грамматическому строю относится к группе синтетических языков. Сходство в тенденциях развития латышского и русского языков, в частности, проявляется в том, что в грамматических формах продолжается накопление и закрепление (в пределах литературной нормы) некоторых аналитических элементов. Об этом пишет А. Банкавс в статье «Некоторые приметы аналитизма в современном латышском языке» (Lvkj, 1973). Автор сопоставляет вариантные аналитические и синтетические конструкции типа *dot atļauju* — *atļaut* «дать разрешение» — «разрешить», *izdarīt analīzi* — *analizēt* «делать анализ» — «проанализировать» и убедительно показывает расширение сферы употребления аналитических форм. В качестве одного из доказательств выдвинутой гипотезы автор использует статистические данные, извлеченные из материалов частотного словаря латышского языка.

Теоретическому обобщению работ латышских языковедов в области грамматики посвящена обстоятельная статья Ю. Карклиньша на тему «Исследования по грамматике латышского языка» (Lvkj, 1979). Автор дал критический сопоставительный обзор всех основных трудов в области кодификации грамматических норм, обратив особое внимание на работы последних трех десятилетий. По мнению автора, настало время для создания обобщающего труда по истории латышского языкознания.

Значительная часть других грамматических статей касается конкретных вопросов колебаний и вариантности норм в грамматике, так же, как и отдельных явлений продуктивности форм в языке. Таковы, например, статьи Э. Сойды о сложном атрибутивном родительном падеже в современном латышском языке [9], М. Граудини об употреблении форм настоящего времени глаголов 3-й группы II спряжения [10], А. Блинкены о форме и управлении числительных, образованных от имен существительных [11], А. Озолы о склоняемом причастии действительного залога [12], Р. Калнберзиня о словообразовательной продуктивности стабильных компонентов буквенных сокращений [13] и др.

За последние годы усилилось внимание к нормативным аспектам изучения различных форм общественной звучащей речи. Обобщение исследований латышских языковедов в области фонетики и орфоэпии представлено в статье И. Терауды (Lvkj, 1979). В своем сопоставительно-критическом обзоре автор знакомит читателей с основными и наиболее значительными работами, начиная с 40-х годов XIX в. и до наших дней. Среди наиболее серьезных исследований 70-х годов автор выделяет, в частности, монографию Л. Цеплитиса, посвященную речевой интонации [14]. Книга Л. Цеплитиса интересна и в теоретическом, и в практическом отношении.

Конкретные явления в орфоэпии нашли освещение в ряде статей. Так, С. Миезе [15] и М. Граудиня [16] рассматривают произносительные нормы закрытого [e], [ē] и открытого [ę], [ę̄]; В. Дамбе [17] и С. Раге [18] анализируют слоговую интонацию в отношении к норме латышского литературного языка; М. Ф. Семенова касается проблемы написания и произношения болгарских имен собственных [19].

В дальнейшем хотелось бы, чтобы в выпусках больше уделялось внимания вопросам укрепления орфоэпической нормы в различных сферах звучания литературной речи — на сцене, радио, телевидении, в кино и т. д.

В области культуры речи в латышском языкознании проделана значительная работа. С одной стороны, эта работа имеет чисто практический выход, так как в статьях небольшого объема часто решаются конкретные и важные ортологические вопросы. С другой стороны, в последнее время заметно усилилась тенденция к углублению и расширению теоретической проблематики. Все чаще появляются исследования, касающиеся принципов нормирования латышского литературного языка, связанных со строительством языка и языковой политикой. Эти работы характеризуются научной объективностью, умением обобщить конкретный языковой материал. Строгостью научного подхода отличается большинство статей сборника «Вопросы культуры латышского языка». Указывая на любую неправильность в языке, вместо субъективных оценок «так по-латышски не говорят, это неблагозвучно» и т. п., авторы обычно анализируют данное явление в системе латышского языка, разъясняют причины происходящих процессов и подтверждают выводы фактами языка.

Как явствует даже из данного краткого обзора, в летуанистике накоплен определенный опыт ортологической работы. По-видимому, это позволяет поставить вопрос о более широком теоретическом обобщении принципов нормирования латышского литературного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.* Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. М., 1968.
2. Развитие национально-русского двуязычия. Отв. ред. Ю. Д. Дешериев. М., 1976.
3. *Филин Ф. П.* Современное общественное развитие и проблема двуязычия.— В кн.: Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972.
4. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I. Fonētika. Morfoloģija. Rīgā, 1959; II. Sintakse. Rīgā, 1962.
5. Latviešu literārās valodas vārdnīca. I—III. Rīgā, 1972—1975.
6. *Jakubaite T. u. c.* Latviešu valodas biežuma vārdnīca. I—IV sēj. Rīgā, 1966—1976.
7. *Сталтмане В. Э., Граудина Л. К.* Вопросы культуры латышского языка.— ВЯ, 1972, № 6.
8. Латышско-русский словарь. Рига, 1953.
9. *Soida E.* Genitīveņi. Lvkj, 1974.
10. *Graudiņa M.* II konjugācijas 3. grupas verbu (cienīt, vētīt, pelnīt) tagadnes formu lietojums izloksnēs. Lvkj, 1975.
11. *Blinkena A.* Substantīvisko skaitļa vārdu forma un rekcija (Desmitiem vai desmitām?). Lvkj, 1976.
12. *Ozola Ā.* Lokāmais darāmās kārtas divdabis ar izskaņu-ošs, -oša. Lvkj, 1977.
13. *Kalnbērziņa R.* Iniciāļu abreviatūru stabilo komponentu vārddarināšanas produktivitāte. Lvkj, 1979.
14. *Цеплитис Л. К.* Анализ речевой интонации. Рига, 1974.
15. *Mieze S.* Dažas atkāpes no normas šaurā [e], [ē] un platā [ę], [ę̄] izrunā. Lvkj, 1972.
16. *Graudiņa M.* Par adverbu *sen, senāk* un adjektīva *sens* izrunu. Lvkj, 1976.
17. *Dambe V.* Intonācijas. Lvkj, 1974.
18. *Raģe S.* Par zīlbes intonāciju un latviešu literārās valodas normu. Lvkj, 1975.
19. *Semjonova M.* Norādījumi par bulgāru valodas īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu. Lvkj, 1979.

РЕЦЕНЗИИ

Горбачевич К. С., Хабло Е. П. **Словарь эпитетов русского литературного языка.** — Л.: Наука, 1979. 568 с.

За последнее десятилетие советская лексикография достигла значительных успехов. Изданы не только новые, в том числе академические, толковые словари русского языка, но и фразеологические, синонимические, орфоэпические, этимологические, исторические и другие. Издание этих словарей обогащает советскую культуру, обеспечивает специалистов и широкие слои населения соответствующими справочниками, способствует повышению культуры речи каждого гражданина советского общества.

Однако среди академических, лексикографических пособий не было очень важного для повышения культуры речи словаря эпитетов русского литературного языка. Между тем необходимость в таком словаре ощущается всеми, кто стремится говорить и писать не только правильно и доходчиво, но и выразительно и образно. Поэтому весьма отрадно, что известные ленинградские лексикографы К. С. Горбачевич и Е. П. Хабло подготовили словарь, охватывающий около 50 тыс. эпитетов и устойчивых определений.

Словарь эпитетов действительно заинтересует широкие круги общественности: журналистов, переводчиков, писателей и поэтов, преподавателей, студентов. Можно сказать даже больше: словарь эпитетов откроет каждый, кто любовно и внимательно относится к родному слову. Ведь Словарь помогает «подсказать» свежий эпитет, избежать шаблонных, ставших стертыми штампами определений. Значительное количество эпитетов, приведенное в Словаре и снабженное цитатами, дает возможность выбора наиболее точного, самобытного, неизношенного определения.

Но данный Словарь не только «подсказчик» нужного слова. Собранные здесь примеры употребления эпитетов выдающимися русскими писателями различных литературных направлений (от Пушкина до наших дней) могут служить базой для лингвистических и литературоведческих исследований. Демонстрируя богатство русского языка, Словарь предоставляет материал как для дальнейшего развития теории эпитетов, так и для разного рода стилистических и семасиологических изысканий, в особенности для выяснения механизма появления переносных значений на основе необычных сочетаний слов.

Научная актуальность темы, ее практическая направленность, а также фундаментальный материал, которым располагают авторы, и добросовестность исполнения поставленной задачи естественно предполагают самое положительное отношение к рецензируемому Словарю.

Уже со времен Аристотеля и Квинтилиана эпитеты стали предметом изучения у представителей самых различных филологических школ и направлений. И это не случайно. Справедливо заметил акад. А. Н. Веселовский: «Если я скажу, что история эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном издании, то это не будет преувеличением» [1]. Немало работ об эпитетах написано советскими литературоведами и лингвистами.

При составлении Словаря эпитетов стояло немало трудностей. Например, с одной стороны, практическая направленность определяла критерий нормативности, стремление установить круг литературно-нормированных эпитетов. Но выполнение только этой задачи не давало возможности показать множественность и художественную ценность эпитета как феномена языка и речи. Отсюда постановка другой задачи — зафиксировать как можно больше эпитетов, в том числе раритетные и индивидуальные. Ведь эпитет индивидуален, и большинство эпитетов не обладает статусом обязательной нормы, или статусом языка. Даже устойчивые сочетания (типа *добрый молодец* или *лазурное море*) принадлежат к определенному стилю — народно-поэтическому или стихотворному. При этом не следует представлять себе дело так, что речь (речевые проявления) не может быть в принципе лексикографически описана, хотя разделить язык и речь в лексике очень трудно, так как границы здесь зыбки и не всегда отчетливы. Многое, что содержится в рецензируемом словаре, вероятно, относится и к языку (например, *карие глаза*). Но *капустные глаза*, а таких сочетаний все-таки больше, находятся на уровне речи, причем образной и эмоционально-оценочной.

Законченной и общепринятой концепции эпитета как языкового и речевого феномена, как известно, пока не существует. Споры ведутся о границах понятия «эпитет», в особенности о возможности или невозможности включения в его объем так называемых логических определений (например, считать ли эпитетами не только *осеннее настроение*, но и *осенний дождь*, *осенняя погода* и т. п.). Широкий взгляд на объем понятия «эпитет», который свойственен авторам Словаря, является, с нашей точки зрения, более правильным не только с лексикографической, но и общетеоретической стороны, так как дает возможность охватить больший материал, исследовать явление во всех связях и опосредованиях. История русского литературного языка убедительно свидетельствует о том, что

многие атрибутивные сочетания, которые в поэтической системе средневековья и классицизма XVIII в. рассматривались как прозаизмы, логические определения, в реалистической литературе XIX в. приобретают художественную выразительность.

Одной из причин недостаточной разработанности теории эпитета, как и других спорных проблем, является как раз малое количество анализируемого материала. Авторы-теоретики оперируют обычно двумя-тремя десятками примеров. Обсуждаемый Словарь впервые вводит в научный оборот не десятки и сотни, а тысячи ярких примеров образного словоупотребления у классиков русской и советской литературы. Этот добротный и в целом хорошо организованный материал будет, бесспорно, способствовать совершенствованию теории эпитетов.

Авторы, приводя перечни эпитетов, основываются на материале своей обширной, как это следует из текста словаря, картотеки. Выписки из художественной литературы, проводившиеся в течение многих лет, и использованный авторами материал крупнейших словарей, соответствующим образом организованный и направленный, позволяют на основе словарных статей судить о семантической дистрибуции различных слов. Вот лишь один, но весьма характерный пример. Сопоставление эпитетов у синонимичных слов *весть*, *известие*, *новость* говорит о своеобразии их потенциальных сочетаний. *Весть*, оказывается, может быть *черной*, *безрадостной* и т. п., зато *новость* и *известие* имеют другие эпитеты: *сенсационный*, *поразительный*, *ошеломительный*, которые не характерны для слова *весть*. Отраженные в Словаре логические и поэтические признаки понятий и образов могут служить материалом для страноведческих наблюдений и исследований, для изучения мировоззрения русских писателей и поэтов, а также поэтических школ и направлений.

Нет нужды перечислять изумительные находки писателей, творческие удачи, блестящие по форме и емкие по содержанию сочетания слов, которые представлены авторами на страницах Словаря. Особенно любопытна рубрика «Редкие (т. е. окказиональные) эпитеты». Тут и *дремучие брови* (Тендряков), и *каменные брови* (Шолохов), и *хвойные брови* (Ящин). *Море*, оказывается, может быть *разомлевшим* (Новиков-Прибой) и *распахнутым* (Прокофьев), слово *весна* оживает при определениях *голубая*, *зеленокрылая*, *крылатая*, *соловьиная* и как бы меркнет в соответствии с настроением, переживанием человека: *осенняя весна* (Дудин), *пугливая весна* (Горький), *чахлая весна* (Форш), *черная весна* (Паустовский).

Заслуживает внимания деление многих словарных статей на части по принципу семантических рубрик. Например, эпитеты к слову *вода* имеют рубрики: «О температуре воды», «О характере поверхности...», «О весеннем разливе...» и др. Эпитеты в статье *лето* разделены на семантические группы: «О характере погоды (температуры, влажности и т. п.)», «О времени наступления, продолжительности лета» и др. Этот принцип может в некоторых случаях (из-за отсутствия четких смысловых границ между рубриками) затруднить отыскание нужного эпитета. Однако трудности семантической группировки (емкость значения слов, перекрещивание ассоциаций) очевидны и в принципе неустранимы. Думается, что стремление авторов к более широким смысловым группам при расположении эпитетов вполне оправданно, если, конечно, оно не идет во вред обозримости словарной статьи.

Словарь удобен в пользовании. В алфавитном порядке расположены не только определяемые существительные (заголовочные слова статей), но и эпитеты в словарных статьях (при наличии смысловых групп алфавитный порядок эпитетов сохраняется внутри них). Этот же принцип соблюден составителями и по отношению к иллюстративным примерам.

Правы составители, когда при обосновании принципов отбора эпитетов не исключают возможности включения в словарные статьи и некоторых относительных прилагательных, которые могут приобретать в контексте качественные значения.

Отметим как положительный фактор наличие в Словаре стилистических помет при эпитетах.

Рецензируемый Словарь не свободен, однако, и от некоторых недостатков, недоработок. Назовем главные из них.

1. Во Введении к Словарю говорится: «Отбор заголовочных слов осуществлялся на основе двух основных принципов: а) употребляемость слова; б) обилие и разнообразие эпитетов для данного слова». Но как понимать «степень употребляемости слова»? Каким образом устанавливается эта «степень»? Известно, что понятие «эпитет» связано с образной, в первую очередь, с художественной речью. Вызывает сомнение в таком случае, что слова *авторитет*, *анализ*, *вежливость*, *замечание* имеют большее право на включение в Словарь, чем *город*, *ива*, *клен*, *май*.

В этой связи недостаточно продуман составителями вопрос об отнесении того или иного эпитета к «редким». Во Введении они пишут, что под «редкими» понимаются «индивидуально-авторские», иначе говоря, не носящие общеязыкового характера, эпитеты. Но можно ли тогда относить к ним устойчивые определения *голый* по отношению к *авторитету*, *неистощимый* по отношению к *аппети-*

ту, *беззащитный* по отношению к *березе*, *оранжерейный* по отношению к *воспитанию* и т. д.?

2. Желательно, помимо алфавитного перечня существительных (который, кстати, следовало бы дополнить некоторыми словами), иметь в конце Словаря и алфавитный список прилагательных (с указанием страницы их употребления и именной приуроченности). Такой указатель будет служить не только практическим, но и научным целям, так как усилит объем признаков, которые используются для характеристики понятия, названного именем существительным.

3. В Словаре отсутствует четкая система в отборе авторами примеров для иллюстрации. Понятно, что нельзя объять необъятное. Невозможно охватить все эпитеты всех писателей. Но какая-то направленность по отбору цитат должна бы прослеживаться. В Словаре бедно отражен Бунин, а ведь это писатель, в творчестве которого представлен целый мир эпитетов, в значительной мере новаторских и в то же время отражающих существенные явления поэтической речи XX в. Недостаточно примеров из Блока, а у него много ярких, интересных эпитетов. Значительно богаче следует дать Есенина, Вознесенского и других поэтов. Некоторое невнимание авторов проявилось к сатирическим, ироническим эпитетам. Из произведений Ильфа и Петрова, других советских сатириков можно было выписать немало неожиданных эпитетов.

4. Не совсем ясно, когда авторы считают нужным давать заголовочное слово во всем его смысловом объеме (т. е. со всеми значениями), а когда ограничиваются одним значением. Слово *друг*, например, дано в одном значении. Переносное значение могло бы обогатить набор эпитетов (*зеленый друг* — о лесе и т. д.).

5. В Словарь в справочных целях включены и наиболее употребительные определения терминологического характера. Они приводятся списком (без цитат) в конце словарной статьи. Например, к слову *боль*, помимо эпитетов: *адская*, *гложущая*, *глухая*, *жгучая*, *жестокая*, *игольчатая*, *притупленная*, *кинжальная*, *колючая*, *лютая*, *невыразимая*, *неистовая*, *неотвязная*, *острая*, *сверлящая*, *сладкая*, *слепящая*, *сосущая*, *щемящая* и т. д. (более 100 эпитетов), приведены устойчивые определения: *головная*, *грудная*, *зубная*, *мышечная*, *ревматическая* и т. д. Отдельные списки таких определений действительно необходимы. Но в некоторых статьях, возможно, следует отказаться от «устойчивых определений». Например, к слову *забота* даются определения *домашняя*, *комсомольская*, *профсоюзная*, *хозяйская*. Необходимы они в данном труде? Если да, тогда надо придерживаться последовательности. К слову *злость*, например, нет устойчивых определений. А ведь существует *спортивная злость* и др.

Словарь эпитетов русской литературной речи — это новый (если не считать опыта К. Зеленецкого) тип лексикографического издания. Естественно, тут неизбежны и некоторая неполнота, и не всегда четкая последовательность. Отдельные недостатки и шероховатости искупаются тем бесспорным и, не побоимся сказать, драгоценным материалом русского художественного слова, который делается теперь достоянием широкой общественности. Перед нами новое лексикографическое пособие, которое явится важным вкладом в серию работ, предназначенных для повышения культуры русской речи. Оно принесет значительную пользу также всем, кто интересуется проблемами художественной речи, семасиологии, лексической сочетаемости, истории русского литературного языка.

Кодухов В. И., *Максимов В. И.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. Л., 1940, с. 73.

«Новое в зарубежной лингвистике». Вып. IX. Лингвостилистика.— М.: Прогресс, 1980. 430с.

Рецензируемый сборник — крупное событие в истории развития стилистики. Многообразие исследований в данной области языкознания породило большое количество взаимосвязанных, но тем не менее автономных разделов. С другой стороны, появление новых дисциплин (таких, как теория информации, лингвистика текста) вызвало необходимость пересмотра канонов лингвостилистического анализа. На данном этапе вновь возникает потребность определения основных проблем и задач стилистики. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что появление сборника является весьма своевременным, поскольку в нем представлены различные точки зрения крупных лингвистов на самые актуальные и спорные моменты.

Несомненной заслугой составителя сборника И. Р. Гальперина является выбор статей, которые отражают развитие основных направлений зарубежной стилистики. И хотя некоторые статьи не «новые» с точки зрения времени их написания, тем не менее включение в сбор-

ник этих статей оправдано тем, что они являются программными и свидетельствуют о современном состоянии науки в этой области. Кроме того, все статьи, помещенные в сборник, впервые публикуются на русском языке, что обеспечит ознакомление широкого круга читателей с насущными проблемами стилистики.

Справедливо указание составителя сборника на значительные различия в трактовке некоторых проблем в трудах советских и зарубежных лингвистов. Положительным фактором является, однако, то, что сборник предлагает читателю выбор разных решений проблем, так как подбор статей обеспечивает их внутреннюю взаимосвязь.

Сборник открывается вступительной статьей И. Р. Гальперина «Проблемы лингвостилистики». В статье широко и разносторонне освещается современное состояние советской лингвостилистики. Такие глобальные проблемы стилистики, как предмет и задачи науки, методы анализа, связь со смежными дисциплинами, место стилистики в общей науке о языке и др., трактуются с позиций материалистического мировоззрения, что облегчает и направляет осмысление подчас противоречащих друг другу концепций зарубежных лингвистов. Автор высказывает общую для большинства советских ученых точку зрения, согласно которой стилистика является частью общего языкознания и «поэтому все ее аспекты должны рассматриваться с точки зрения сущностных и функциональных характеристик языковых фактов, получивших стилистическую значимость» (с. 5).

Эта мысль представляется не только объективно правильной, но и важной для понимания онтологии языковых средств и изучения типологических характеристик функциональных стилей языка. Следует подчеркнуть, что согласно концепции, принятой в советской лингвостилистике, проблема типологии непосредственно соотносится с проблемой системности стилистически маркированных элементов высказывания. Это положение оказывается весьма существенным при рассмотрении вопроса о методологии стилистического анализа языковых фактов. Каждый исследователь сталкивается с необходимостью выбора метода анализа. Известны попытки некоторых ученых формализовать факты стилистики. Не возражая в принципе против использования строгих и точных методов в лингвостилистике, И. Р. Гальперин справедливо замечает, что в ряде случаев необходимо от них отказаться, поскольку некоторые стилистические явления, такие, как например, подтекст, не могут быть моделированы.

Другой интересной проблемой, затрагиваемой в статье, является взаимодействие стилистики со смежными дисциплинами. Важность экстраполяции некоторых положений таких наук, как теория информации, психолингвистика, литературоведение, в область стилистики не вызывает сомнения. Многие аспекты языка получают переосмысление в связи с их рассмотрением под углом зрения разных наук. Перспективность такого направления исследования неоднократно доказана во многих отечественных работах.

Особенно актуальным является рассмотрение взаимодействия стилистики и лингвистики текста, представленное И. Р. Гальпериным компактно и вместе с тем убедительно. Хотя нельзя сказать, что только стилистика занимается разработкой проблем текста, тем не менее всякое явление, относящееся к анализу содержательно-структурной стороны текста, можно рассматривать как стилистическую проблему. В статье показаны пути пересечения этих наук и самостоятельность каждой.

Вторая часть вступительной статьи предлагает краткое изложение основных проблем, затронутых в статьях зарубежных авторов, и критической разбор отдельных концепций, противоречащих принятым в советской лингвистике. Убедительная аргументация выдвигаемых положений делает этот раздел статьи весьма ценным в познавательном отношении.

В рецензируемый сборник вошло 17 статей зарубежных лингвистов. Все статьи носят проблемный характер. В соответствии с проблемами можно выделить четыре группы статей, тематика которых параллельна ведущим положениям вступительной статьи. Анализу наиболее общих проблем лингвостилистики посвящены статьи П. Гиро, М. Риффатера, М. А. К. Хэллидея, Д. Кристала и Д. Дейви, Н. Э. Энквиста и Г. Михеля. Взаимодействие стилистики с уровнями языка является предметом анализа в статьях У. Хендрикса, Р. Харвега и С. Ульмана. С. Сапорта, Н. Рювет, Р. Барт, А. А. Ричардс и Дж. Б. Смит уделяют внимание практическим вопросам лингвостилистического анализа текста. В статьях М. Халле и С. Дж. Кайзера, П. Кипарского и Д. Аберкромби рассматривается ряд вопросов поэтики и стиховедения.

Внутри статей, относящихся к первой группе, также можно выделить ряд общих проблем. Естественными кажутся попытки лингвистов дать определение понятия стиля. Однако эти определения вызывают разноречивые трактовки, что свидетельствует о многогранности самого явления. Одной из причин, вызывающих различное понимание сущности стиля и соответственно задач стилистики, является разграничение двух планов исследования: синхронического и диахронического. Несколько категоричным кажется заявление П. Гиро относительно того, что «стиль может быть выявлен и определен только... на фоне синхронно-

го состояния языка» (с. 39). Точка зрения Энквиста и Риффатера на этот вопрос представляется более убедительной (с. 75, 81—83, 269). Действительно, нельзя отрицать, что изменения в языке влияют на контекстуальную вероятность языкового явления. Кроме того, именно синтез синхронического и диахронического описания явлений может выявить процесс становления стилистических канонов и определить типологические характеристики литературных форм. Наконец, при изучении индивидуального стиля автора необходимо учитывать эволюцию его мировосприятия, что *также становится* возможным только лишь в диахронии. Сказанное свидетельствует о том, что изучение эффективности стилистического факта во времени становится плодотворным только на фоне изучения условий изменяющейся сферы коммуникации.

Последнее положение позволяет выделить еще одну общую для статей этой группы проблему, а именно соответствие между языковой формой и речевой ситуацией. Большинство авторов сборника считает, что *не существует* однозначного соответствия между языковыми формами и ситуацией, хотя они не отрицают возможности изучения контекстуальной закрепленности отдельных языковых черт. Наиболее интересными с этой точки зрения представляются статьи Д. Кристала и Д. Дейви «Стилистический анализ» и Н. Э. Энквиста «Параметры контекста», в которых тщательно разрабатываются такие проблемы, как языковые ограничения, вызываемые ситуацией, взаимосвязь контекста и языка, таксономия контекстов и др. Как следует из предложенного в статьях анализа целого ряда вопросов, названные проблемы могут служить теоретической базой для объяснения вариативности языковых форм в разных типах текста и для осуществления инвентаризации стилистически релевантных языковых форм. В связи с этим возникает проблема нормы употребления языковых средств или, по терминологии Г. Михеля, проблема «стилистических норм» (с. 289).

Необходимо особенно подчеркнуть теоретическую значимость статьи Энквиста и целом. Оригинальный взгляд ученого на проблемы лингвостилистики и лингвистики текста, интерпретация различных точек зрения на эти проблемы, обзорный характер статьи делают ее весьма ценной в познавательном отношении. Заслуживает одобрения попытка автора терминологизировать привычные понятия с точки зрения своей концепции. Его теория контекстов дает совершенно новое представление о некоторых стилистических категориях и намечает перспективные пути развития лингвостилистики. Стройность и логичность теории заключается также в том, что понятие контекста является для Энквиста, с одной стороны, операционной единицей анализа конкретных языковых фактов, а с другой стороны, понятие контекста становится основой данного им определения стиля. Неудачной представляется, однако, многозначность термина «контекст», которым автор обозначает и особенности текста, и «ситуационные особенности оболочки, окружающей данную языковую единицу» (с. 260). Разграничение между ситуацией и контекстом, предлагаемое другими авторами, кажется более убедительным.

Давая общую характеристику перечисленных статей, следует выделить еще одну немаловажную проблему — это соотношение лингвистического и стилистического анализов. Исследователи высказывают разные точки зрения относительно методики описания средств языкового выражения в тексте, однако ни один из них не дает удовлетворительного решения этого вопроса. Статья Кристала и Дейви намечает конкретные пути, по которым должна развиваться лингвостилистика, однако неполнота некоторых выработанных ими понятий приводит авторов к противоречивым выводам. Вызывает также сомнение заявление Риффатера о том, что лингвистический анализ сам по себе не может выделить стилистических фактов. Следует напомнить читателю, что статья Риффатера была написана в 1959 г., когда данные, накопленные лингвистикой текста, еще не могли служить опровержением подобного заключения. Хэллидей отмечает возможность сопоставительных стилистических исследований и делает вывод, что «любой из сравниваемых объектов может быть принят за отклонение от нормы» (с. 132). Однако в заключительном предложении статьи сам автор отступает от данной предпосылки и вместо нее делает очень тонкое наблюдение, ценность которого для лингвостилистики очевидна. «В каждом художественном произведении достигается уникальное соответствие между типами и компонентами значения, и каждое художественное произведение является воплощением индивидуального писательского проникновения в функциональную многозначность языка» (с. 145).

Как уже было сказано, тематику второй выделенной нами группы статей можно условно определить как взаимодействие стилистики с другими уровнями языка. Заслуживает особого внимания работа У. Хендрикса «Стиль и лингвистика текста», представляющая собой часть книги, написанной им в 1976 г. В этой работе весьма полно представлены наиболее распространенные в настоящее время в зарубежной лингвистике концепции стиля, а также мнения относительно того, является ли областью реализации стилистический вариативности предложение или текст. Основной па-

фос работы заключается в поисках путей преодоления ориентированности стилистики на слово и предложение. В этом отношении представляется перспективным выделение автором двух «уровней» связности — глобальной и локальной. И хотя Хендрикс несколько непоследовательно предлагает исключить изучение глобальной связности (план содержания) из сферы стилистики и считать ее аспектом лингвистики текста, тем не менее он сам преодолевает эту непоследовательность заключением о том, что стилистический анализ не может не учитывать соотношения части и целого, обладающего глобальной связностью (с. 183). В связи с этим приведем цитату из статьи М. А. К. Хэллидея, которая, как нам представляется, наиболее адекватно трактует взаимодействие стилистики и лингвистики текста: «В стилистике мы рассматриваем язык в связи со всеми различными уровнями значения, которые могут содержаться в произведении» (с. 139). Очевидно, что последнее становится возможным лишь на уровне целого текста. Одним из путей разрешения проблемы Хендрикс считает предложенное Энквистом терминологическое разграничение между лингвистикой текста и межфразовой лингвистикой.

Статья Р. Харвега «Стилистика и грамматика текста» предлагает «теорию хорошего стиля, понимаемую как теорию правильного текстообразования» (с. 225). Как следует из цитаты, определение носит здесь оценочный характер, что признает и сам автор (с. 216). Предложение Харвега заменить понятие «хорошего качества» понятием «правильного текста» весьма ограничивает сферу стилистики, преуменьшая ее значение как в теоретическом, так и в практическом плане. Кроме того, нельзя не отметить, что такие замечания, как например, «хороший стиль — это плавный стиль» (с. 216), лишены научной обоснованности, поскольку носят субъективный характер.

Вместе с тем заслуживает одобрения предложенный автором анализ текста, в процессе которого отдельные места текста, представляющие, с точки зрения автора, нарушения правил грамматики, подвергались существенному исправлению. Комментарии к тексту, объяснения фактов нарушений грамматической правильности аргументированы оригинальны и свидетельствуют о языковой интуиции автора. Однако проведенная работа производит впечатление незавершенной, поскольку конечная цель анализа остается неясной.

Большой интерес, по нашему мнению, представляет статья С. Ульмана «Стилистика и семантика». Автор рассматривает многие теоретические вопросы, связанные с онтологическими характеристиками языковых фактов на уровне семантики. Семантические явления трактуются как в парадигматическом, так и в синтагматическом планах, т. е. с точки зрения семантической структуры отдельного слова и с точки зрения семантических отношений между словами. Все семантические явления анализируются Ульманом с позиций их стилистической функции, так что сама работа являет собой образец рассмотрения стилистических фактов на лингвистической основе. Подробное исследование семантической системы языка, тонкий стилистический анализ многочисленных примеров, свежесть и оригинальность научного мышления представляют бесспорный интерес и ценность для советского читателя.

Статьи, вошедшие в третью группу, интересны не только своими теоретическими обобщениями, но и тем, что демонстрируют применение разнообразных методик анализа на конкретном материале. В задачу «текстового анализа» произведения, методика которого предложена в статье Р. Барта, входит выявление того, как текст раскрывается и проникает в наше сознание в процессе восприятия. Предлагаемый подход к анализу текста представляется весьма перспективным, однако вызывают возражения некоторые его теоретические основы. Выдвигая тезис о смысловой множественности текста, автор тем не менее не пытается даже найти один из возможных смыслов, считая, что это относится к области литературной критики (с. 308). Возникает вопрос, каковы же возможности применения данной методики. Несколько противоречивы высказывания автора и в отношении самой методики анализа. Он считает, что можно обойтись без теоретического обоснования принципов членения текста (с. 309). Однако предложенный в статье способ выделения в тексте единиц чтения — «лексий» все же не совсем произволен, т. к. Барт вводит критерий удобства, ограничивающий количество смыслов в содержательном объеме каждой лексии.

Среди статей этой группы особое внимание привлекает исследование А. А. Ричардса «Поэтическое творчество и литературный анализ». Прослеживая пути, по которым идет творческий процесс, автор пытается поставить интерпретацию стиха на научную основу. Признавая тот факт, что даже весьма искушенные читатели могут по-разному воспринимать слова и строки поэтического произведения, Ричардс считает необходимым все же ограничить произвольность их толкований системностью целого произведения (с. 325). Следует отметить, что составитель сборника весьма удачно поместил эту статью вслед за статьей Барта, поскольку один из главных тезисов статьи Ричардса, заключащийся в том, что читатель не может привнести в стихотворение то, чего нет в языке этого стихотворения, убеди-

тельно противопоставляется тезису Барта о комбинаторной бесконечности формирования содержания текста.

Ричардс подвергает сомнению релевантность использования фактов биографии поэта в практике анализа художественного произведения. Категоричность его заявления о том, что «стихи создают слова, а не поэты» (с. 329), можно объяснить тем, что он пытается защитить высокое назначение поэзии. Последнее весьма часто принижается в исследованиях, применяющих широко распространенную на Западе методику З. Фрейда. «Поэзия в жизни поэта — это нечто большее, чем средство обнаружения его низменных страстей»,— считает Ричардс (с. 327). Он призывает основывать литературный анализ на лингвистических данных, которые сами по себе позволяют читателю следить за духовными исканиями поэта.

Вопросы о характере и границах применения лингвистических методов в литературоведческих исследованиях нашли отражение также в статьях Н. Рювета «Границы применения лингвистического анализа в поэтике» и Дж. Б. Смита «Тематическая структура и тематическая сложность». Несмотря на то, что Рювет отводит лингвистике скромную роль вспомогательной дисциплины по отношению к поэтике и литературоведению вообще, она все же признается им абсолютно необходимой, так как дает поэтике материал для исследования. Прогресс языкознания, в результате которого совершенствуются методы описания материала, исследуемого поэтикой, выдвигает перед ней новые проблемы, а также позволяет пересмотреть правомерность проблем, которыми она занималась раньше. Правда, остается не совсем понятной иерархия научных дисциплин, которую автор усматривает в рамках языкознания. Думается, что фонетика является неотъемлемой частью языкознания, а не подчиненной дисциплиной по отношению к нему, как утверждает Рювет (с. 298). Чрезвычайно интересным представляется дальнейшее развитие автором перспективного направления, открытого в поэтике идеями Р. Якобсона. Сущность модели поэтической речи, предложенной Якобсоном, заключается, как известно, в проекции отношений эквивалентности с парадигматической оси (оси субституции) на синтагматическую ось (ось комбинирования). Полагая, что теория «двух осей» не в состоянии охватить явлений языка во всем их многообразии и сложности, Рювет справедливо считает необходимым постулировать существование и других типов отношений. Необходимо также отметить глубокое проникновение автора в суть поэтической речи, одно из основных свойств которой он усматривает в том, что наиболее очевидные смысловые соответствия порождают другие, менее заметные, а эти последние в свою очередь порождают еще более тонкие соответствия и т. д. (с. 303).

Включение в сборник статьи Смита, несмотря на ее чисто литературоведческую направленность, очевидно, обусловлено тем, что она демонстрирует возможности формально-структурных методов исследования текстов художественных произведений. Для получения наглядной картины композиции произведения (тематической структуры текста, по терминологии Смита) автор предлагает определять тематические отрезки текста, их группировки и переходы от одной темы к другой на основании суммарной частоты слов, связанных с той или иной темой, с последующим построением соответствующих графиков. Привлечение понятия «тема», которое автор определяет как «категорию слов, встречающихся в тексте и организованных подобно тезаурусу», позволяет распространить этот метод на большие отрезки текста. Автор убедительно показывает, что эстетическая оценка прямо соотносится со степенью тематической сложности, отраженной на графике тематических переходов, причем эклектическое смешение в тексте различных тем оценивается читателем как недостаток.

Несомненным достоинством предложенного метода является возможность использования как простого подсчета, так и вычислительной техники при статистической обработке данных. Однако отмечая строгую систематичность данного метода, нельзя признать его полноценным, поскольку слепая регистрация большого числа фактов при анализе художественного текста придает методу механистический характер. Не случайно автор допускает такую нечеткую формулировку определения понятия текста, как «длинная последовательность слов» (с. 337). Таким образом, решая задачу достижения ясного и наглядного представления результатов исследования, данный метод все же не может обеспечить «всесторонний анализ литературного произведения», как это представляется Смиту. В целом статей с литературоведческим уклоном, естественно, меньше по сравнению с исследованиями, в которых внимание авторов обращено на языковые средства и их стилистическое использование.

Положительной стороной сборника следует также признать тот факт, что в нем уделено достаточно внимания стихосложению — разделу лингвостилистики, который успешно разрабатывается у нас в стране. Как было указано, изучению принципов метрической организации стиха посвящены статьи М. Халле и С. Дж. Кайзера «Английский пятистопный ямб», П. Кипарского «Ударение, синтаксис и метр» и Д. Аберкромби «Взгляд фонетиста на структуру стиха». Немало-

важен тот факт, что все исследования проведены на одном материале — английского стиха, что облегчает их сопоставление. Авторы указанных статей подвергают пересмотру классическую теорию просодии. Последняя, по их мнению, служит причиной сложности в понимании структуры английского стиха, которая в действительности довольно проста.

В основе новой теории метра Халле и Кайзера лежит принцип «ударного максимума», который позволяет определить как правила соответствия материала стиха метрической схеме, так и градуировать степени допустимых отклонений от нее, которые не превысили бы порог читательской способности уловить модель. Хотя авторы и отмечают взаимосвязь между отступлениями в одной стопе с отступлениями в соседних стопах, они все же не пытаются проанализировать природу возрастания сложности ритма строки, что придало бы убедительность их выводам.

Несколько дальше идет в своих теоретических изысканиях Кипарский, который, полемизируя с Халле и Кайзером, считает ошибочным допущение, что метр регулирует лишь фонологическую форму стиха. По его мнению, метрика английского стиха в значительно большей степени обусловлена грамматической структурой слова и синтагмы (с. 384). Разработанная автором формальная метрическая теория призвана выразить зависимость ритма стиха от характера словесного ударения и синтагматических характеристик. Представляется правомерным признание связи метрических нарушений с экспрессивностью. Жаль, что это весьма перспективное направление исследования стиха, требующее учета и его содержательной стороны, не вошло в предложенную теорию.

Статья теоретика-фонетиста Аберкромби резко отличается в подходе к проблемам версификации от подходов, общепринятых стиховедами. Отмечая, что английская версификация не укладывается в рамки категорий античного стиха, автор считает, что базисным в структуре стиха является акцентный ритм английского языка. Повторяя принятое в советском стихосложении известное положение о том, что метрической единицей стиха является не стопа, а строка, Аберкромби усматривает в этом основное различие между стихом и прозой, так как в прозе стопы не организованы в более крупные метрические единицы. И хотя некоторые высказывания и понятия, введенные автором, весьма спорны (например, глухое ударение в конце стопы), предложенная теория также послужит хорошей основой для дальнейших исследований.

Как видно из обзора, сборник отражает основные проблемы зарубежной лингвостилистики на современном этапе ее развития и дает советскому читателю возможность познакомиться с многообразием взглядов иностранных ученых на различные аспекты стиля. Следует также отметить, что включение в сборник избранной библиографии работ по стилистике и лингвистике текста, предметного указателя и указателя имен является весьма полезным для читателя.

Оценивая сборник «Новое в зарубежной лингвистике. Лингвостилистика» в целом, хотелось бы еще раз подчеркнуть его несомненную актуальность, научную и практическую значимость. Он помогает молодому ученому, преподавателю языка, специалисту-филологу разобраться в спорных вопросах, стоящих в центре внимания советской и зарубежной лингвостилистики, содействует уточнению и углублению ее задач, а также определению новых направлений исследования в различных областях этой многоаспектной научной дисциплины.

Баталова Т. М., Курахтанова И. С.

Кононов А. Н. **Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв.** — Л.: Наука, 1980. 255 с.

Академик Андрей Николаевич Кононов — тюрколог-грамматист, историк языка и историк науки, автор фундаментальных грамматик турецкого и узбекского языков, исследователь «Махбубул-кулуб» Алишера Навои и «Родословной туркмен» Абу-л-Гази — почти не имел публикаций по тюркской рунологии. Появление столь обширного труда все же объяснимо: это — результат многолетних штудий рунических текстов, находивший до сих пор выход лишь в соответствующих лекционных курсах, которые автор читает в ЛГУ уже более четверти века. Само же подобное постоянство внимания связано с тем глубоким, пристальным интересом, который вызывает феномен рунических памятников у каждого занимающегося историей тюркских языков.

С тех пор, как в конце 1893 г. В. Томсен дешифровал тюркское руноподобное письмо, а В. В. Радлов в начале 1894 г. предложил свои первые переводы памят-

ников, тюркологи уже не одного поколения не перестают изумляться открывающейся перед ними картине. Главнейшие памятники (начало VIII в.) написаны столь блестящим по образному строю и точным по использованию фонетических, лексических и грамматических средств, иными словами — столь отшлифованным литературным языком, обладают таким богатым культурно-историческим содержанием, что приходится признать: в последующие тысячу двести лет тюркское языкотворчество — несмотря на наличие огромной литературы со многими замечательными образцами — не создало, пожалуй, на наш взгляд, лучшего.

Исключительное значение памятников, определяемое их положением самого древнего и при этом обильного и полноценного языкового материала, с особой остротой поставило проблему соотнесения их языка с современными и другими древними и средневековыми языками. Установление линий преемственности между языками древности и современности существенным образом влияет на решение ряда кардинальных вопросов сравнительно-исторической грамматики и построение схемы исторической филиации тюркской семьи языков. Все значительные труды по языку тюркских рунических памятников (ТРП),— обобщающие и многие частные — не обходят стороной эту проблематику. С другой стороны, каждый такой труд — это собрание большого числа филологических пассажей и, главное, опытов нового чтения трудных мест, без чего нет движения в понимании форм и категорий.

Рецензируемая книга продолжает лучшие традиции рунологической литературы в указанном смысле: в ней освещается ряд общих вопросов и в то же время дается множество конкретных проработок, предложений, истолкований, она концептуально основательна и филологически добротна. Книга, посвященная памяти видного советского тюрколога, много поработавшего над языком енисейских надписей, акад. АН КиргССР И. А. Батманова (1906—1969), состоит из предисловия и одиннадцати (I—XI) разделов (глав); основная ее часть начинается с раздела V (с. 24) и имеет дополнительную разбивку на параграфы (с 1 по 448), в разделах I—IV обсуждаются историко-филологические проблемы.

В предисловии автор останавливается на характере письменно-литературного языка ТРП, который «возник и развивался на основе устно-эпической традиции» (с. 3) и как всякое наддиалектное образование представляет собою «довольно пеструю картину в отношении использования грамматических форм» (с. 4); в данном случае язык ТРП впитал в себя, как считает автор, «наиболее характерные черты двух, в ту пору наиболее крупных языковых групп — уйгурской и огузской» (там же). Временные границы ТРП автор определяет, принимая условную датировку одного из мелких памятников 688—691 годами и относя памятники из Монголии и Восточного Туркестана к середине IX в., «хотя не исключено,— замечает он,— что руническое письмо там, особенно в бассейне Енисея, использовалось и позднее» (там же).

В разделе I «Из истории открытия, дешифровки и изучения ТРП» (с. 7—13) приведены сведения ряда нарративных источников с VI по XIII в., упоминающих о письменности тюрков, которые могут быть истолкованы как указания на руническое письмо. В новое время известия о ТРП в европейскую науку попадают от Д. Г. Мессершмидта и Ф.-И. Страленберга (20—30 гг. XVIII в.) и завершаются дешифровкой письменности В. Томсеном после находок в 1889 г. Н. М. Ядринцевым в бассейне р. Орхон двух больших стел с двуязычными надписями.

В разделе II «Локализация ТРП» (с. 14—21) содержится обобщенная характеристика надписей по их ареалам: 1) орхонские, 2) енисейские, 3) восточнотуркестанские, 4) среднеазиатские — Таласская и Ферганская долины, 5) восточно-европейские памятники. На с. 20 автор высказывается по спорному в тюркологии вопросу о возрасте енисейских памятников (которые обычно необоснованно, по нашему мнению, удревляют до V—VI вв.), считая вслед за Л. Р. Кызласовым и другими, что их «следует датировать IX—X вв.; наиболее вероятно, с исторической точки зрения, что они относятся (в основной массе) к IX в.».

В разделе III «Историко-политическая классификация ТРП» (с. 22) памятники распределяются (по С. Г. Кляшторному) в двух отношениях: по государственной принадлежности — семь групп (от Восточнотюркского каганата до Печенежского племенного союза), по жанру — шесть групп (от больших историко-биографических надписей до меток на бытовых предметах).

В разделе IV «О происхождении рунического алфавита (с. 23) излагается ныне наиболее устоявшаяся точка зрения, согласно которой «древнейший тюркский рунический алфавит в основе своей восходит к буквенному письму арамейского происхождения, заимствованному тюрками у ираноязычных народов Средней Азии через посредство пехлевийского, хорезмийского и согдийского алфавита...».

В разделе V «Определение и классификация языка ТРП» (с. 24—41) обсуждаются проблемы статуса языка рунических памятников в общей генетической схеме древних и современных тюркских языков в тесной связи с возможной диалектной разнородностью древних тек-

стов. Автор последовательно сводит аргументацию предшественников, начиная с известных положений В. В. Радлова, выделившего на основании ряда фонетических и морфологических признаков древние «диалекты»: северный (тюрок-сиров), южный (уйгурский) и смешанный, с двумя поддиалектами — западным и восточным; автор считает, что основы выделения и классификации древнетюркских «диалектов», предложенные В. В. Радловым в 1911 г., остаются и поныне действительными, хотя, понятно, «с некоторыми уточнениями и дополнениями». В числе последних приводятся некоторые возражения П. М. Мелиоранского и А. Н. Самойловича. Здесь, однако, необходимо подчеркнуть, что подходы к классификации древних (и современных) тюркских языков у В. В. Радлова и А. Н. Самойловича принципиально различны. Дело не столько в том, что последний не считал существенными различия между орхонским и древнеуйгурским, как это отмечает автор рецензируемой книги (с. 29). Дело в более важном.

По признаку инлаутной альтернации *d/j* (*adaq/ajaq* «нога»), введенному А. Н. Самойловичем в систему классификационных критериев, все тюркские языки, древние и современные, членились на две основные зоны — западную и восточную. Основная масса современных языков — кыпчакские, огузские и карлукские (уйгурский с узбекским) — при этом отходили к западной *j*-зоне, тогда как древние орхонский и уйгурский, будучи *d*-языками, принадлежали восточной зоне с современными языками — тувинским, якутским, хакасским и др. Нельзя думать, что $d > j$ где-то после рунического времени; А. Н. Самойлович в другой своей работе, опубликованной совсем недавно [1], подчеркивал древность данного соответствия. Последнее особенно ярко доказывается, как приходилось уже говорить [2], спорадическими вкраплениями *j*-форм в древнейших ТРП. Следовательно, квалификация языка орхоно-енисейской (и древнеуйгурской) письменности как огузского, уйгурского, огузо-уйгурского и т. п., основанная на общности ряда других существенных, главным образом морфологических, признаков (формы *-mīš*, *-duq* и др.), наталкивается на противодействие признака *d/j*. Несмотря на обилие трудов, обсуждающих проблемы классификации тюркских языков и места среди них языка памятников, наиболее значимые из которых приведены в данном разделе рецензируемой книги, антиномия, выдвинутая более 60 лет назад А. Н. Самойловичем, не только не преодолена, но во многих из упомянутых работ не оценена во всей ее первостепенной важности.

В последующих разработках данных проблем — в трудах А. Габен, а затем Д. Синора, О. Прицака — в качестве классифицирующих признаков (наряду с рассматривавшимися прежде) выступают соответствия *j/ń* и узкой/широкой огласовки аффиксов. Последнее с учетом положения В. В. Радлова о чередовании узких и широких, передних и задних гласных в корнях-основах позволяет автору рецензируемой книги высказать идею о возможности «в основу исторической классификации тюркских языков внести важный элемент: характер огласовки аффиксальных морфем» (с. 37). Тогда, считает А. Н. Кононов, прототюркское состояние представляло собой дивергенцию *a* (*ā*, *o*, *ō*)-языка и *ī* (*i*, *u*, *ū*)-языка, в современных же языках «эти два признака обнаруживаются в одном и том же языке, что явилось результатом сложного исторического взаимодействия носителей этих двух классификационных признаков, выразившегося в довольно частых объединениях и разъединениях тюркских племен» (там же). Несмотря на указанную (принципиальную) смешанность, автор полагает возможным разграничить засвидетельствованные языки по данному признаку: «Характерными представителями *a*-языка являются тюркюты (основным ядром которых были огузы), аргу, кыпчаки, чигили и современные чуваши и якуты (отчасти); представители *ī*-языка — древнеуйгурский язык и подавляющее большинство современных тюркских языков» (там же).

На протяжении последующего изложения, при фиксировании корреляции широкой—узкой огласовки различных показателей автор неоднократно повторяет и развивает это свое положение.

Не отвергая целиком данной идеи, можно обсудить следующие соображения. В принципе, возможно такое положение, когда какое-либо межъязыковое распределение нарушается с течением времени за счет смешения языков. Однако когда речь идет о большой группе языков и о большом числе явлений (в нашем случае — затрагиваются почти все аффиксальные морфемы), все же маловероятно, чтобы языки смешались равномерно и невозможно было бы уловить преимущественность одного типа (*a*-огласовок) в ареале с *a*-субстратом и другого типа (*ī*-огласовок) — в ареале с *ī*-субстратом. Приблизительная же оценка именно такова. В свете этого допустим и иной путь развития. Возможно, гармония гласных имела более широкую амплитуду (и по небности, и по подъему), затем гармония по раствору стала затухать, произошло распределение типа огласовки по формантам; в словообразовательных рядах пережиточно сохранились старые морфонологические модели [3], в более грамматичных показателях могла произойти филиация алломорфов на самостоятельные морфемы, не исключена разная направленность обобщения огласовки в раз-

ных древних ареалах. Как видим, и при подобном решении вопроса рациональное зерно идеи, развиваемой А. Н. Кононовым, остается.

В разделе VI «Краткий очерк истории изучения фонетико-грамматического строя ТРП» (с. 42—56), наряду с перечислением трудов, начиная с «пионеров» тюркской рунологии Радлова, Томсена и др. и кончая последними (1978 г.) работами советских и зарубежных специалистов, автор останавливается на номенклатуре названий языка ТРП, предлагавшихся в разное время, а также на этнониме *türk*. Последняя форма, как считает автор,— «единственно правильное чтение», подтверждаемое начертанием в рунической, уйгурской и арабской графиках. По поводу семантики данного термина автор поддерживает правильность общеустоявшегося мнения о политическом его значении, отвергая предложение Г. Дёрфера переводить такие сочетания, как *türk bilgä qaγan*, словами «могучий мудрый каган», а не обычным «тюркский... каган»; ранее, на с. 16—17, утверждается, что более адекватным переводом слова *bilgä* в данном сочетании является «правящий», «правитель», а не традиционное «мудрый». Видимо, действительно, слово *bilgä* «мудрый» означает в данном контексте «мудрый (в делах правления)»; может быть, удачнее было бы искусственное «мудроправящий», поскольку просто «правящий» отрывается от внутренней формы слова.

В связи с этимологией термина *türk* автор делает лишь краткие добавления к своим более ранним работам. Он вслед за А. Н. Бернштамом полагает, что «наиболее вероятным прототипом этого имени... является слово *türkün* „место, где собирается племя“, „родственники“, „отчий дом“ и аналогичные формы в различных тюркских и монгольских языках, „исходной основой“ которых «является глагол *tür-* + *-ä-*, *tür-* + *-ü-* ~ *tör-* + + *-ü-* „появляться“, „нарождаться“, „происходить“, „возникать“» (с. 50—51).

В разделе VII «Фонология» (с. 57—75) автор поддерживает мнение составителей «Древнетюркского словаря» [4] о невозможности передачи текстов ТРП в точной фонетической или фонематической транскрипции, считая, что здесь «обычно применяется транслитерация», которая «поддерживается, где это возможно, фонологической реконструкцией» (с. 57). Формулируя принцип письма, А. Н. Кононов указывает, что «рунический алфавит создан на морфонологической основе, а не фонологической и отражает систему дифференциальных признаков фонем, а не сами фонемы» (там же).

Для иллюстрации графической системы на с. 58—59 приводится таблица знаков ТРП (40 знаков, включая словоразделитель, многие в вариантах), заимствованная, как указано, из работы А. С. Аманжолова [5].

Вокализм языка ТРП насчитывает в интерпретации автора восемь гласных— *a*, *ä*, *ï*, *i*, *o*, *u*, *ö*, *ü*; причем гласный *ę*, обозначаемый особой графемой, принимается как «более узкий, или закрытый, вариант широкой гласной фонемы *ä*» (с. 60).

Консонантизм языка ТРП представлен шестнадцатью согласными — *b*, *p*, *d* (δ), *t*, *k* ~ *q*, *g* ~ γ, *j*, *č*, *s*, *š*, *z*, *m*, *n* (*ń*, *ñ*), *η*, *l*, *r*.

Описываются дистрибуция фонем по позициям в слове и некоторые чередования звуков. По поводу нередких в ТРП написаний *s* вместо *š* А. Н. Кононов, не поддерживая заключений В. Томсена и В. В. Радлова об орфографическом характере данного колебания, соглашается с мнением С. Е. Малова о влиянии живого произношения на данную особенность: «Мне представляется, что перебой *s*/*š*, известный современным тюркским языкам..., является одним из ярких, может быть, самым ярким проявлением диалектных признаков, нашедших отображение в ТРП» (с. 65—66).

В подразделе «Основные фонологические закономерности» автор описывает сингармонизм, ударение, слог и слогоделение. Рассмотрение подобных явлений, нуждавшееся бы в наблюдении над живой речью, на материале ТРП (как и вообще большинства письменных памятников) носит, понятно, условный и неполный характер. Сингармонизм как «уподобление гласных и согласных звуков» в части гласных реализуется, по автору, в небной и губной гармонии. Первая проявляется в том, что аффиксы, имея два варианта огласовки (для ТРП, надо оговорить, узнаваемой опосредованно — через выписывание «твердых» или «мягких» согласных), варьируются в зависимости от состава гласных основы: за велярными гласными в основе следуют велярные же (а не палатальные) гласные в аффиксе и наоборот, за палатальными в основе — палатальные (а не велярные) в аффиксе. Однако утверждение о наличии в языке ТРП губной гармонии нуждается в существенных оговорках.

Многие аффиксы имеют здесь либо губную огласовку (палатальную или велярную), либо негубную (также палатальную или велярную). При таком положении не происходит морфонологического уподобления, т. е. выбора огубленной огласовки аффикса из двух возможных вариантов — огубленного и неогубленного, под влиянием огубленных гласных в основе, ср.: продуктивное глагольное имя *-d*(°)*k* в ТРП имеет (по огласовке) два варианта: *-duq*, *-dük*, а в современном турецком — четыре: *-duk*, *-dük*, *-dɪk*, *-dik*, каждый из этих четырех алломорфов обеспечивает уподобленность

гласного состава аффикса гласным основы по двум параметрам: небности и огубленности. Правда, в некоторых аффиксальных морфемах, прежде всего, в показателях принадлежности, вероятно, могло быть четыре варианта огласовки, и, следовательно, губная гармония как бы уже зарождалась, но окончательное суждение об этом затруднено правилом невыписывания гласных в аффиксах этого типа.

В разделе VIII «Структура тюркских корневых морфем» (с. 76—82) при изложении весьма дискуссионных в тюркологии вопросов изначального облика корня автор, приведя положения, отстаиваемые Н. А. Баскаковым и другими учеными, о типичности (и изначальности) структуры *CVC*, указывает, что «вопреки этому положению ТРП своим лексическим запасом подтверждает наличие некоторого количества односложных глагольных корней типа $C + V$...» (с. 77), а также типов V и $V + C$, отмеченных в начале изложения (с. 76). Ставшие широко распространенными после обстоятельных монографий Э. В. Севортяна представления об изначально свойственной тюркским языкам глагольно-именной омонимии или корневом синкретизме, восходящие еще к П. М. Мелиоранскому, отвергаются автором в пользу более сложной картины, согласно которой подобная омоформия (*tat* «пробовать на вкус» и «вкус») образовалась исторически, в результате совпадения «в единой звуковой форме разных по происхождению основ, что, конечно, не мешает признать давно известное в русской тюркологии положение о происхождении имен от глаголов» (с. 82).

Таким образом, последнее неявно, но достаточно логично подчеркивается положением о первичности корней *CV*, для которых уже именная семантика не восстанавливается, и в целом вся концепция представляется достаточно обоснованной. Здесь же, в подразделе «Генезис тюркских аффиксальных морфем», А. Н. Кононов решительно и сурово осуждает «утвердившееся с прочностью предрассудка широко распространенное мнение, что все агглютинативные форманты восходят к самостоятельным словам», считая, что это мнение «есть заблуждение, направившее тюркологов по ложному пути» (там же). Нужно учесть, что это — в известной мере и самокритичное заявление. Автор указывает на три типа сращений некогда самостоятельных аффиксальных морфем (приведших к образованию аффиксов типа *-CVC*): 1) однозначных морфем (мн. ч. *-lar* < *-l°-* + *-r*), 2) морфем разного значения (имя действия *-maq* < < имя действия *-m°* + дат. п. *-q* < *-qa*), 3) морфем залога с морфемами причастия, деепричастия или прилагательного.

Раздел IX «Словообразование» (с. 83—142) занимает сравнительно большой объем по двум причинам. Во-первых, внего вошли не только чисто словообразовательные *форманты*, но и аффиксы формообразования, такие, как оценочные формы существительных и прилагательных, разряды числительных, причастия и деепричастия глагола. Во-вторых, немалое место при этом занимают генетический анализ морфем под знаком цитировавшейся выше идеи о синтезе двух -(и более) консонантных аффиксов из одноконсонантных и генетические сопоставления различных исходных и производных формантов. Последнее — дань традиции, все наши крупные синхронные грамматики содержат историко-этимологические справки формантов. К сожалению, это иногда идет в ущерб выявлению некоторых семантико-функциональных особенностей форм, удаленных от особенностей предполагаемого прототипа.

Словообразование ранжировано по частям речи, по способам образования и по частям речи мотивирующего слова. Для существительного зафиксировано около тридцати аффиксов, часть из них малопродуктивна (почему-то отсутствуют примеры в §§ 101, 103, 109); под словосложением описываются, главным образом, номинативные словосочетания по типу синонимичных, реже антонимичных пар, сложение же слов в одно слово — редкое явление в тюркских языках, в § 143 приведено всего три примера. Для существительного помимо аффиксации и словосложения в особые способы выделены фонетический способ словообразования (функциональное чередование звуков, например, огласовки переднего—заднего рядов, глухих—звонких согласных), субстантивация и калькирование.

К числу аффиксов образования прилагательных от имен и глаголов (всего около полутора десятков формантов) непонятно почему отнесен аффикс *-lī*, который используется для обозначения сочинительных отношений между однородными членами предложения, т. е. выступает в функции соединительного союза: *inili ęčili*... «и младшие и старшие родственники» (с. 107).

В этом же разделе при описании формообразовательной аффиксации глагольных имен — причастий и деепричастий — раскрываются и иллюстрируются и синтаксические их функции. Для причастий на *-°r*, *-duq*, *-sīq* — атрибутивные, предикативные и субстантивные, на *-mīš*, *-dačī* — две первые. Деепричастия здесь рассматриваются в обстоятельственной функции, когда они выступают «наречным признаком определяемого им[и] глагола-сказуемого» (с. 128). Точнее бы эту функцию определять как полупредикативную, так как имеется в виду роль деепричастий синтаксически несамостоятельных оборотов, как абсолютных, так и односубъективных с главным сказуемым.

В разделе X, озаглавленном «Морфология» (с. 143—210), таким образом, рассматриваются грамматические категории частей речи: существительного (число, падеж, принадлежность, определенность — неопределенность), глагола (лицо-число, отрицание, модальность возможности — невозможности совершения действия, наклонения и времена, способы действия). Отдельно от косвенных наклонений, т. е. включаясь в рамки индикатива, описываются модальные формы глагола (модальности неочевидности, предположительности, достоверности, условности). Если подобное обособление названных форм совершенно оправдано, так как отражает их лексико-грамматический характер (ср. также наличие у автора лексико-грамматической категории способа действия — необходимое нововведение в схему тюркской грамматики в духе современных достижений аспектологии), то выделение перифрастических форм в особый параграф (с. 196—197) непоследовательно, на наш взгляд, так как нарушает принцип описания по категориям. Представляется, что все перифрастические формы должны были бы быть распределены по категориям (как лексико-грамматическим, так и, возможно, грамматическим).

В разделе XI «Синтаксис» подраздел «Подчинительная связь слов» излагается, как предупреждает и сам автор, по «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970); благодаря этому в тюркологию вводится прием рассмотрения синтаксических связей не только со стороны формальной организации этой связи, но и с точки зрения смысловых отношений между грамматически главенствующим и грамматически зависимым словом. Однако указанный подход реализуется в рецензируемой книге не до конца.

Во-первых, формулировки примыкания, управления, согласования (с. 212, 215, 217) содержат перечисления только формальных способов экспликации подчинительной связи, в них еще нет указаний на виды смысловых отношений, устанавливающихся при этом между словами. Во-вторых, определительные словосочетания из двух существительных, так называемый изафет, рассматриваются автором (как и в предыдущих работах) как организованные способами соответственно примыкания, управления, согласования в зависимости от формы связи в определяемом — беспритяжательная, притяжательная, притяжательная с род. падежом определения. Между тем, возможно и совершенно иное рассмотрение тюркского изафета, как это допускает анализ аналогичного материала в той же русской «Грамматике—70».

В подразделе «Сложное предложение» привлекают внимание, например, параграфы, посвященные сложноподчиненным предложениям с союзным словом *tejin*, передающим различные синтаксические связи, в зависимости от лексического наполнения и грамматического оформления придаточной части (с. 228—229); или же описание рамочных конструкций (с. 230—233), весьма актуальное в свете дискуссионности ряда аналогичных вопросов современного тюркского синтаксиса.

Теперь, может быть, уместно на одном примере разобрать конкретно-текстологическую работу, которая не занимает особого раздела или подраздела, но так или иначе пронизывает и насыщает всю книгу. В § 115 в качестве иллюстрации на аффикс *-γuluq* приведена цитата из памятника в честь Тоньюкука: *jujqa q(a)l(ī)n bols(a)r top(u)lγuluq (a)lp (ä)rm(i)s j(i)nĕgä joγ(u)n bols(a)r üzg(ü)lük (a)lp (ä)rm(i)s* «Если тонкое сделается толстым, тот, кто сможет разорвать [толстое], надо думать, герой. Если слабое сделается крепким, тот, кто сможет сломать [крепкое], надо полагать, герой» (с. 92).

Материалами «Древнетюркского словаря» убедительно доказывается понимание слова *alp* в данном отрывке как «трудно» — омоним к *alp* «герой» [см. 4, с. 36—37, составитель слов. статьи В. М. Наделяев]. Думается, что разгадана также и семантическая корреляция двух слов со значением «толстый»: *qalĭn* «толстый (о плоских предметах)», в отличие от *joγan* «толстый (о круглых предметах)» [см. 4, с. 411—412, составитель слов. статьи И. В. Кормушин]. Однако следует принять и отстаиваемое автором новое чтение *topulγuluq* вместо традиционного *toplaγuluq* «тот, кто соберет». Глагол *topul-* «прорывать, пробивать, продырявливать», обычный для уйгурско-карлукского круга памятников [см. 4, с. 575, составитель слов. статьи Л. Ю. Тугушева] (на глагол же *topla-* данный пример был единственным), обладает и большей семантической однородностью с глаголом *üz-* «разрывать, отрывать», обязательной для нередких в ТРП конструкций синтаксического параллелизма. Если синтезировать указанные толкования, новый перевод будет более приемлем и семантически, и текстологически: «если плоское становится широким, пробить [его] трудно; если тонкое становится толстым, прорвать [его] трудно». Кстати, необходимость интерпретации формы на *-γuluq/-gülük* для данного места как единственного случая субстантивации указанного причастия, развиваемой автором в § 115 (с. 92), отпадает; здесь мы имеем дело с более обычным употреблением этого модально-потенциального причастия в предикативной функции [см. 4, с. 654], в которой оно сближается с инфинитивом.

Рамки рецензии, понятно, не позволяют обсудить еще многие другие интерес-

ные и не всегда, может быть, бесспорные текстологические трактовки автора.

Обобщая свои наблюдения над рецензируемой книгой, выскажем уверенность, что она, несомненно, будет встречена с глубоким интересом и у нас в стране, и за рубежом. Многие ее положения еще предстоит проанализировать и освоить. Но сейчас уже ясно, что она является во многих отношениях выдающимся трудом, подводящим итоги длительного этапа первичного изучения ТРП. Дальнейшее продвижение здесь уже возможно после новой более глубокой текстологической и палеографической их проработки, для которой книга А. Н. Кононова станет надежным фундаментом.

Кормушин И. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Самойлович А. Н.* Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи с разговорными наречиями.— СТ, 1973, № 5, с. 108.
2. *Кормушин И. В.* К вопросу о древнедиалектном членении тюркской языковой области.— В кн.: Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений. М., 1977.
3. *Кормушин И. В.* Каузативные формы глагола в алтайских языках.— В кн.: Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1977, с. 22—23.
4. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
5. *Аманжолов А. С.* К генезису тюркских рун.— ВЯ, 1978, № 2, с. 80—81.

Кумахова З. Ю., Кумахов М. А. **Функциональная стилистика адыгских языков.** — М.: Наука, 1979. 360 с.

Научная разработка функциональных стилей языка является одной из теоретических платформ, на которых основывается языковое строительство в нашей стране. Если в отношении старописьменных языков уже существуют фундаментальные исследования по функциональным стилям, то этого нельзя сказать о младописьменных языках. Абхазо-адыгская группа языков, в частности, в этом отношении изучена очень слабо.

Исследование функциональных стилей этой группы языков имеет немаловажное значение для решения таких теоретических вопросов, как содержание, принципы классификации, состав и взаимодействие функциональных стилей. С другой стороны, анализ функциональной стилистики языка, в котором письменные литературные стили еще не вполне сформировались (иногда, видимо, удобнее было бы говорить о языке художественной литературы, а не о литературном языке), послужит ускорению языкового строительства и поднятию речевой культуры.

Рецензируемая работа З. Ю. Кумаховой и М. А. Кумахова является первым (и надо сразу же сказать — удачным) опытом монографического исследования функциональной стилистики младописьменных адыгских (адыгейского и кабардино-черкесского) языков. Этот опыт, по нашему мнению, в известной мере применим и к другим младописьменным языкам СССР.

Перед авторами стояли трудности первопроходцев, связанные как с неизученностью вопросов стилистики адыгских языков, так и с отсутствием единства взглядов в теоретической лингвистике на предмет самой функциональной стилистики, на отношение стилей речи к литературному языку, территориальным диалектам и т. д. Круг рассматриваемых проблем определил структуру монографии. Она состоит из краткого предисловия, обстоятельного теоретического введения, посвященного функциональным стилям в языках различных типов, трех глав (I — Устно-поэтический стиль; II — Литературно-художественный стиль; III — Научно-публицистический стиль) и Заключения.

Как известно, проблемы функциональной стилистики разрабатываются преимущественно на материале старописьменных языков. Несмотря на то, что в этой области достигнуты значительные успехи, многие вопросы остаются нерешенными.

Авторы книги разделяют «точку зрения, согласно которой функциональный стиль — это разновидность общенародного языка, используемая в определенной сфере общественной деятельности и характеризующаяся известной совокупностью лексических, фразеологических, грамматических и в какой-то мере фонетических признаков, часть которых свойственна другим функциональным стилям, но характер их выбора и сочетания отличает один функциональный стиль от другого» (с. 7). Это мнение, хотя полностью и не совпадает с трактовкой понятия функционального стиля рядом известных советских ученых (Р. А. Будагов, М. Н. Кожина и др.), все же приближается к нему. Исследователи развивают тезис о том, что формы функционально-стилистической дифференциации по языкам неодинаковы. Ими также подчеркивается, что материалом

для выделения функциональных стилей в одних случаях может быть литературный язык, а в других — общенародный язык, т. е. разные типы и формы реализации языка.

Анализ материала позволяет авторам выделить в адыгских языках три функциональных стиля: устно-поэтический, литературно-художественный (имеется в виду язык художественной литературы) и научно-публицистический. Вычленение устно-поэтической речи в качестве отдельного стиля оправдано многовековой традицией этого типа речи, его сложившимися языковыми особенностями, его ролью в истории развития адыгских языков. Устно-поэтическое творчество адыгских народов очень богато жанрами, среди которых особое место занимает эпическая поэзия, в частности, героический эпос «Нарты», «оказавший значительное влияние на развитие языков и духовной жизни народов Кавказа» (с. 9). В работе впервые дается характеристика основных черт адыгской устно-поэтической речи, большое место уделено эпическим формам, морфологическим, синтаксическим и отчасти фонетическим явлениям, характерным для стиля традиционного устно-поэтического изложения.

Отмечается, что языку эпической поэзии, наряду с традиционными формульными элементами, свойственны особые пласты лексических и фразеологических единиц и неповторимые синтаксические конструкции. «Даже фонетика устно-поэтической речи проявляет целый ряд особенностей, несвойственных территориальным диалектам» (с. 332). Эти особенности еще отчетливее проявляются в литературно-художественном стиле, так как форма реализации речи определяет и нормы. Затрагивается и другой важный для младописьменных языков вопрос — соотношение орфоэпических и орфографических норм. Если орфографическое нормирование в какой-то мере начато, то о подобной работе в области орфоэпии пока не было и речи. Мнение авторов о том, что чередования фонетических вариантов почти не бывают абсолютно свободными в функционально-стилистическом плане (например, в устной речи удерживаются архаичные *гь*, *къ*, *кI*ь, соответствующие орфографическим *дж*, *ч*, *кI*), представляет как теоретический, так и практический интерес. В связи с рассмотрением функциональной нагрузки фонетического варьирования высказаны интересные наблюдения о характере адаптации заимствованных слов в различных языках. Так, если в русском языке фонетика иноязычного слова приближается к нормам заимствовавшего языка, то в адыгских языках, как и в других младописьменных, эта норма тяготеет к языку-источнику. Впрочем, различные функциональные стили обнаруживают различную степень этого тяготения. Если, скажем, в устной речи *кIэлъхоз* — распространенная форма, то в письменных стилях имеем уже только *колхоз*. Это явление, безусловно, связано с лингвистической ситуацией активного двуязычия (родной язык — русский язык), в которой находятся младописьменные языки Советского Союза. В еще большей связи с двуязычием находятся развивающиеся за последние десятилетия в художественном и публицистическом стилях синтаксические конструкции — новые типы сложноподчиненных предложений, грамматически независимые вставные конструкции, словосочетания, представляющие собой кальки и полукальки, и т. д.

Место заимствований в языке, отношение литературной нормы к инновациям и подобные вопросы остаются актуальными и для младописьменных языков. В книге содержится глубокий анализ синонимических отношений между исконными и заимствованными словами в адыгских языках. При этом правильно определяется роль исторически сложившихся пластов лексики — арабизмов, тюркизмов, фарсизмов и др. Судьба различных групп старых заимствований прослеживается на фоне социальных явлений, пережитых и переживаемых носителями адыгских языков: одни из них стали элементами стилистически нейтральной лексики, другие стали достоянием истории, архаизмами. Учитываются оттенки лексической синонимики по регионам распространения. Особую ценность представляет анализ стилистических функций дописьменных заимствований (с. 263 и др.).

Вслед за многими советскими лингвистами З. Ю. Кумахова и М. А. Кумахов выделяют язык художественной литературы как самостоятельный литературно-художественный стиль, что по отношению к младописьменным языкам очень важно как в теоретическом, так и в практическом планах. Литературная традиция еще очень неглубока, и не каждое произведение можно назвать образцовой обработкой народной речи. Это значит, что не всякая форма, употребленная тем или иным писателем в печати, может быть признана литературной в строгом смысле этого слова.

На формирование языка адыгской художественной литературы сильное влияние оказала устно-поэтическая речь. Это становится очевидным при анализе языка адыгской советской поэзии, зародившейся на почве устно-поэтического творчества. В книге впервые рассматриваются традиции фольклора и элементы других типов речи в адыгской художественной литературе.

Несомненной заслугой авторов является определение роли народных певцов в развитии устно-поэтической речи. Существовали разные группы певцов-сказителей, занимавших разное социальное положение в обществе (с. 333). Их репертуар включал все основные жанры

устно-поэтического творчества. Так, певцы-сказители, именовавшиеся *геггуако* (букв. «игрок» от *джэгун* «играть»), выступали с боевыми песнями, речами-обращениями к народу, воинам перед сражением и т. д. Народные хажигафе, или ажигафе, ряженые, исполняли импровизированные произведения юмористического и сатирического характера, сопровождая свою речь танцем. Такие народные певцы, исполнявшие одни и те же фольклорные произведения, странствуя из селения в селение, т. е. по разным диалектным регионам, в значительной мере «способствовали развитию наддиалектных форм языка, обобщенных традиций устно-поэтической речи» (с. 333). Этим объясняется тот вклад, который внесли народные певцы в становление и развитие общеадыгских фольклорно-литературных традиций, обстоятельно прослеженных авторами. Они приходят к выводу, что адыгские письменные литературные языки возникли на основе устно-поэтического творчества, а устно-поэтическая речь как особый функциональный стиль остается одной из обобщенных форм языка, не совпадающих с другими функциональными стилями. Эта форма языка и поныне питает творчество писателей, особенно новописьменных языков.

Говоря о соотношении различных функциональных стилей, истоках литературных традиций, авторы монографии широко пользуются сравнительным материалом, иллюстрирующим общие закономерности в новописьменных литературных языках Северного Кавказа. И это очень важно, если иметь в виду, что разрабатываемые проблемы одинаково актуальны для всего этого региона.

Подчеркивая большое значение традиций устно-поэтического творчества для развития языка художественной литературы, авторы, однако, не преувеличивают роли этих традиций в письменных формах языка, а оставляют место для отчетливого противопоставления устно-поэтического и литературно-художественного стилей.

На материале изданных на кабардинском и адыгейском языках монографий, учебников, очерков и статей авторы характеризуют научно-публицистический стиль. Отмечаются особенности этого стиля, складывающегося на основе письменных жанров языка,— незавершенность процесса и отсутствие четких границ между языком науки и публицистики.

Один из языков, функциональной стилистике которых авторы посвятили свой труд, определяется как кабардино-черкесский. Этот термин восходит ко времени отделения так называемых кубанских и зеленчукских кабардинцев (теперь они именуются черкесами) от основного компактного кабардинского населения на теперешней территории КБАССР (в первой четверти XIX в.). Обособленное развитие языка, естественно, привело к возникновению некоторых, в основном, лексических, особенностей в разговорно-бытовой речи и языке художественной литературы переселенцев. Авторы не обошли этот факт и остановились на характеристике образовавшихся различий в литературно-художественном стиле, квалифицировав эти региональные различия как литературные варианты. С этим, пожалуй, можно согласиться, хотя и остается желание определить образовавшиеся языковые различия менее объемным словом, чем «вариант».

На наш взгляд, следовало бы уделить больше внимания лексике устно-поэтической речи. Хотя в работе подробно рассматриваются эпические формулы, получившие широкое развитие и распространение в устно-поэтической речи, лексике отведено сравнительно небольшое место. А ведь устно-поэтическая речь характеризуется чрезвычайным богатством и своеобразием лексического состава, придающим этому стилю неповторимый колорит.

Некоторые данные в книге переводы, на наш взгляд, нуждаются в уточнении. Это относится прежде всего к архаизмам типа каб.-черк. *Йощыгауэри мэшэс* [у авторов — «Поправив шапку, он садится (на коня)» — с. 91; следовало бы: «Хлопнув по крупу, он садится на коня»]; *ЖырамыIэнкIэрэ Андемыркъаным и шхыдэщ* «Трудно поведать о (героических) делах Андемыркана» (у авторов — «Что говорит Андемыркан — достойно чести» — см. с. 77).

Название стихотворения Б. Пачева «*Жъы хъуар гу мазэщ*» можно было бы на русский язык передать точнее: «К старости сердце добреет», а не «Со старостью приходит слабосилие (немощность)», как дано в книге (с. 157).

Наши замечания и пожелания носят частный характер и ни в коей мере не влияют на высокую оценку рецензируемого труда.

В заключение подчеркнем, что рецензируемая монография содержит не только анализ функциональной стилистики конкретных близкородственных языков, но и ряд новых положений общего порядка (принципы классификации функциональных стилей, обоснование выделимости устно-поэтической речи в качестве функционального стиля, неоднородность так называемой разговорной речи в языках, не имевших давних письменных традиций, и др.).

Монография З. Ю. Кумаховой и М. А. Кумахова, посвященная функциональной стилистике адыгских языков, будет с большим удовлетворением встречена всеми, кто причастен к языковому строительству в Кабардино-Балкарской АССР, Адыгейской и Карачаево-Черкесской автономных областях.

Коков Дж. Н.

Степанова М. Д., Хельбиг Г. **Части речи и проблема валентности в современном немецком языке.**— М.: Высшая школа, 1978. 260 с.

Издательство «Высшая школа» сделало большое и важное дело, опубликовав книгу, примечательную во многих отношениях. Во-первых, перед нами опыт совместной работы языковедов двух стран — СССР и ГДР,— отраженный в в виде отдельной монографии. Во-вторых, авторами книги являются два видных лингвиста, хорошо известных как советскому, так и зарубежному читателю. На книгах и учебных пособиях М. Д. Степановой училось и воспитывалось уже не одно поколение советских и зарубежных германистов [1—4]. Заслуженной известностью пользуются также публикации Г. Хельбига как по теории грамматики, так и особенно по теории валентности [5—8]. В-третьих, высокому уровню издания способствовало, несомненно, и то, что переводчиками книги являются сами авторы: при издании монографии на русском языке части, написанные Г. Хельбигом, были переведены М. Д. Степановой, а при издании книги на немецком языке [9] Г. Хельбиг осуществил перевод русских частей книги.

Несмотря на то, что только часть книги написана совместно (это — предисловие, заключение, а также раздел о критериях классификации частей речи), и основные главы ее принадлежат авторам с яркой индивидуальностью (М. Д. Степановой написаны 1-ый и 3-ий разделы первой главы и вся вторая глава, Г. Хельбигом — 2-ой раздел первой главы и вся третья глава), в монографии ощущается не только единство общего замысла и одинаковое понимание такого класса слов, как части речи, но и единство тех теоретических установок, которыми руководствуются авторы на протяжении всей книги.

Рецензируемая монография была задумана и выполнена как учебное пособие. Не вызывает, однако, сомнения, что поскольку она сознательно строилась как научно-лингвистическое описание грамматики немецкого языка (с. 244), она может по праву рассматриваться и как самостоятельное грамматическое исследование. Именно в этом качестве мы охарактеризуем монографию в настоящей рецензии.

Хотя в название книги вынесены как бы две ее центральных проблемы — части речи и проблема валентности в немецком языке,— содержание книги не исчерпывается ни обсуждением вопроса о статусе и особенностях функционирования частей речи в немецком языке, ни освещением проблемы валентности. На самом деле здесь поднят и критически проанализирован широкий круг проблем, столь актуальных для современного языкознания, что он составляет едва ли не основное ядро этих проблем,— вопрос о соотношении грамматики и семантики при описании языка и самой стратификации языка и изучающих его дисциплин.

Части речи анализируются в монографии как «наглядный пример сочетания лексической семантики и грамматических законов» (с. 14), и именно этот факт предопределяет всестороннее и многоаспектное рассмотрение частей речи во всем разнообразии их существования в языке. То, что в традиционных грамматиках описывалось в разных разделах — морфологии и синтаксисе,— здесь описано совместно, причем в рамках одной книги не просто собраны сведения о поведении частей речи на разных уровнях строения языка: все эти сведения представлены в виде органичной и целостной системы. Такая органичность оказывается следствием развития идеи о неразрывном единстве лексики и грамматики.

Предпослав детальному обсуждению общих вопросов теории частей речи и их анализу в парадигматике и синтагматике небольшое, но важное предисловие, в котором кратко характеризуются уровни языка и сущность грамматики, авторы объясняют, почему теория частей речи неотделима не только от морфологии, но и от синтаксиса (с. 14). В последующих трех главах специально рассматриваются общие проблемы классификации слов по частям речи (глава первая), проблемы полного описания каждой отдельной части речи по ее морфемному строению и характерным для нее грамматическим категориям (вторая глава) и, наконец, проблемы синтаксической сочетаемости слов разных частей речи (глава третья). Примечательно, что каждая из этих глав содержит краткие экскурсы в историю обсуждаемых проблем и четкую характеристику тех понятий, которые затем используются в ходе описания.

Так, в первой главе содержатся сведения об истории изучения частей речи в ранней и в современной немецкой германистике, с одной стороны, и в германистике советской, с другой, что образует тот фон, на котором далее происходит конструктивное определение критериев классификации частей речи, используемых авторами книги. Критически оценивая опыт предыдущих исследователей, авторы указывают вместе с тем на то, что вопреки применению разных критериев в выделении частей речи в немецком языке, в грамматике наблюдается их почти одинаковая классификация (с. 30): большинство частей речи представлено повсюду, хотя и при разном их распределении и иерархии (с. 38). Уже этот факт

неоспоримо свидетельствует о том, что части речи существуют как объективно выделимые классы слов по совокупности признаков и при их пересечении.

Справедливо подчеркнув, что расхождения в классификации частей речи касаются в основном трех моментов: числа выделяемых частей речи, принципов и критериев их выделения, а также целесообразности применения одного ведущего или же нескольких критериев (с. 46), авторы отмечают, что полная характеристика отдельной части речи предполагает всегда учет и семантических, и морфологических, и синтаксических ее свойств. Несмотря на то, что при выделении и описании частей речи авторы считают необходимым использовать все три критерия (семантический, синтаксический и морфологический) и по возможности прибавить к ним еще и словообразовательный критерий, в целом достаточно очевидно, что внутренние симпатии авторов оказываются в большей мере на стороне синтаксиса. Не все части речи характеризуются непосредственной соотнесенностью с действительностью или способностью к формообразованию, не все обладают определенными морфологическими признаками, но все характеризуются как таковые известными синтаксическими функциями (с. 37). Не случайно поэтому, что при решении спорных проблем отнесения того или иного слова к определенной части речи решающее слово остается за синтаксическими особенностями. «...ряд различий между частями речи,— указывается в книге,— адекватно не выявляются ни в позиции, ни в дистрибуции, а могут быть определены только трансформацией с точки зрения поверхностной структуры предложений в лежащие в их основе скрытые структуры» (с. 55, ср. также с. 65). Ясно также, что предлагаемое широкое понимание синтаксического критерия объясняет и то, почему в данной монографии столь большое внимание уделяется в третьей главе изучению места и роли слова определенной части речи в составе предложения и, главным образом, отношениям, не наблюдаемым непосредственно в речевой цепочке,— отношениям валентностным.

Во второй главе дается определение понятиям, позволяющим охарактеризовать морфемный состав немецкого слова, а также установить его семное строение, в связи с чем освещаются принципы морфологического и компонентного анализа слова.

Большой удачей настоящей главы представляется попытка представить типологию грамматических категорий и осветить вопрос о скрытых категориях. Здесь защищается та точка зрения, что скрытые грамматические категории «являются результатом диалектической связи грамматических форм со значением заполняющей их лексики» (с. 108). Можно было бы добавить к этому, что установление скрытых категорий знаменует и новые тенденции в самом понимании языковой формы: ведь выделение скрытых значений и скрытых категорий оказывается следствием не только более глубокого семантического анализа, но и результатом более широкого определения тех форм, в пределах которых происходит реализация указанных значений. Признание скрытых категорий в этом смысле равносильно признанию того, что формы существования грамматических категорий не исчерпываются непосредственно наблюдаемыми морфологическими или же синтаксическими структурами.

Вторая глава завершается очень интересным рассмотрением взаимоперехода (транспозиции) частей речи при имплицитном (безаффиксальном) и эксплицитном (аффиксальном) словопроизводстве. Первое трактуется здесь как «функционирование корней (основ) слов в составе разных частей речи без структурных „наращиваний" словообразовательных формантов» (с. 125). Такая точка зрения имеет свои основания, но она ведет к отказу от выявления тех единиц, которые и в процессах синхронного образования производных выступают в качестве исходных. Указывая на трудности определения таких единиц, в этой главе приходят поэтому к выводу о том, что «разграничение производящей — производной... основ при взаимопереходе частей речи далеко не всегда убедительно, и в целом не релевантно» (с. 127). Думается все же, что в «игре сем», действительно наблюдающейся при транспозиции одной части речи в другую, могут быть установлены и такие закономерности, которые позволяют четко разграничить исходную и результативную единицы процесса и которые сами по себе свидетельствуют о первичности одних функций для анализируемой единицы и вторичности других (в том понимании этих терминов, в котором мы их встречаем в известных работах Е. Куриловича).

Если во второй главе подробно рассматриваются особенности внутреннего строения каждой части речи и ее отличительные черты в парадигматике языка, то в третьей главе дается детальное описание частей речи в синтагматике. Ведущую роль при характеристике этого аспекта частей речи играет, по мнению авторов книги, понятие валентности. Категория валентности, отграничиваемая от простого понятия сочетаемости слова, служит характеристике синтаксических значений слова, ибо «слово как лексическая единица является в речевом акте всегда частью включающей его синтагмы (вплоть до предложения)» (с. 139). Под валентностью понимается способность той или иной части речи «создавать вокруг себя определенные открытые позиции, которые должны быть заполнены облига-

торными или факультативными актантами. Тем самым валентность, сознательно рассматриваемая в широком — семантическом и синтаксическом — смысле, представляет собой как семантическое, так и синтаксическое выявление открытых позиций, а также их синтаксическое заполнение» (с. 147). Валентность же в узком смысле равносильна числу открытых при данном слове позиций.

Как видно из этого определения, особенностью концепции валентности, здесь развиваемой, является уточнение позиционного плана (открытых позиций в их совокупности) каждой части речи, трактовка «актантов» как членов, заполняющих открытые позиции (у Л. Теньера «актанты» были противопоставлены «сирконстантам», т. е. обстоятельствам), а также разграничение факультативных и облигаторных актантов.

Как и изложению вопроса о частях речи, освещению проблемы валентности предпослана краткая, но весьма содержательная история развития понятия валентности, которая завершается рассмотрением пробелов, еще существующих в данной области, и подытоживанием задач, возникающих при анализе этого понятия. Здесь справедливо указывается на круг нерешенных проблем, относящихся к пониманию валентности, и на основные спорные моменты в ее определении: определение валентно-связанных и валентно-несвязанных членов словосочетания и, главное, отнесение самого понятия валентности к определенным уровням.

Предлагая свои решения по многим частным проблемам теории валентности, Г. Хельбиг весьма определенно очерчивает саму суть защищаемой им концепции, которая строится прежде всего на *строгом разграничении* различных уровней валентности и на иерархической стратификации этих последних. По мнению Г. Хельбига, следует различать логическую, семантическую и синтаксическую валентности, причем логическая валентность характеризует отношения между логическими предикатами (функторами, операторами) и аргументами (открытыми позициями в структурах суждения), семантическая — определяет заполнение аргументов и предикатов соответствующими семантическими классами (типа агенса, пациенса, адресата); синтаксическая же валентность выявляется при установлении облигаторного и факультативного заполнения открытых позиций определенными носителями валентности. Выделение этих уровней (см. особенно с. 157) является большой удачей автора, и анализируемый им далее фактический материал наглядно показывает, как можно разграничить названные уровни валентности в конкретных случаях.

Хотя, естественно, в книге наибольшее внимание уделяется описанию валентности глагола, здесь рассматривается также применимость данного понятия и по отношению к другим частям речи и доказывается целесообразность такого использования для получения единообразной картины синтаксического поведения слов разных частей речи.

Хотя автором данной главы разделяется вербоцентрическая теория предложения, он указывает на возможность его рассмотрения и с точки зрения субъектно-предикатной структуры, что, собственно, и позволяет говорить о наличии валентности не только у глагола. Характерно, однако, что, анализируя валентность существительного, автор сосредотачивает главное внимание на описании валентности отглагольных имен. Спорным представляется здесь то, что основной функцией и существительного, и прилагательного считается функция предикативная: при такой трактовке именно они оказываются носителями валентности по отношению к номинативу субъекта. При выполнении существительным другой синтаксической функции ему присуща лишь логико-семантическая, а не синтаксическая облигаторная валентность,— подчеркивает Г. Хельбиг.

Думается, что последнее решение в известной мере противоречит выделению моделей предложения на основе валентностей разных частей речи. Сама же идея связать типы валентности с главными моделями предложения и дать исчисление последних представляется весьма интересной и перспективной. Именно в этом смысле понятие валентности можно рассматривать как связующее звено между морфологией частей речи и их синтаксисом. Нельзя не отметить также, что подобная трактовка валентности объясняет и архитектонику книги, и логический переход от установления главных критериев выделения частей речи к описанию их морфологических особенностей, *а далее — через анализ валентностных характеристик — к синтаксису предложения с объяснением синтаксических ролей и функций каждой отдельной части речи.*

По мере ознакомления с монографией у читателя могут возникнуть, конечно, и некоторые возражения: трактовка некоторых частных проблем может показаться ему спорной, а определения отдельных понятий неточными или же противоречивыми [так, например, семы процессуальности, предметности и признаковости характеризуются то как лексико-грамматические (с. 89), то как грамматико-категориальные (с. 131); словообразовательные морфемы недифференцированно квалифицируются как лексические морфемы (с. 10)]. Трудно также согласиться с тем, что «заслугой Бенвениста является сама идея членения системы языка на уровни» (с. 9),— развитие этих идей связано, по-видимому, прежде всего с рабо-

тами Л. Ельмслева и ряда представителей американской дескриптивной лингвистики; или с тем, что семантический уровень может быть определен как соответствующий членению содержания сознания (с. 8). Ясно, однако, что эти недочеты могут быть легко устранены при переиздании книги.

Новизна и оригинальность рецензируемой книги связаны не только с новым освещением материала грамматики немецкого языка. Рекомендуя эту книгу всем германистам, которые интересуются проблемами выделения и классификации частей речи в германских языках, а также проблемами валентности и синтаксического моделирования, мы бы хотели еще раз в заключение подчеркнуть и то, что она принесет большую пользу всем тем, кто занимается вообще теорией грамматики. Более того, в силу предельной ясности изложения, определенности защищаемых точек зрения, богатства библиографического и справочного материала, наглядности рисунков и схем,— монография служит прекрасным примером изложения сложного материала в простой и четкой манере. Обобщая достижения современного языкознания и не уходя от освещения спорных и нерешенных его проблем, книга демонстрирует, как могут быть использованы главные понятия нашей науки для описания отдельно взятого языка, а также — что не менее важно — в каком направлении их еще следует уточнять и развивать, создавая общую теорию грамматики и связывая эту теорию с содержательными характеристиками языковых явлений. Рецензируемая книга — значительный вклад в развитие такой теории.

Кубрякова Е. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Степанова М. Д.* Словообразование современного немецкого языка. М., 1953.
2. *Степанова М. Д.* Методы синхронного анализа лексики. М., 1968.
3. *Stepanova M. D.* Methoden der synchronen Wortschatzanalyse. Halle (Saale), 1973.
4. *Stepanova M. D., Černyševa I. I.* Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M., 1975.
5. *Helbig G.* Die Funktionen der substantivischen Kasus in der deutschen Gegenwartssprache. Halle (Saale), 1971.
6. *Helbig G., Buscha J.* Deutsche Grammatik. Leipzig, 1975.
7. Beiträge zur Valenztheorie. Hrsg. von G. Heibig. Halle (Saale), 1971.
8. *Helbig G., Schenkel W.* Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verbe. Leipzig, 1969, 1973, 1975.
9. *Stepanova M. D., Helbig G.* Wortarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1978.

Шевякова В. Е. **Современный английский язык. Порядок слов, актуальное членение, интонация.** — М.: Наука, 1980. 380 с.

Порядок слов является основой синтаксического строя любого языка, для языка же аналитического он имеет особое значение, ибо служит средством выражения грамматических отношений между членами предложения. В английском языке проблема усугубляется тем, что в нем, несмотря на значительную фиксированность словопорядка, последний все же играет определенную роль в выражении актуального членения и, в частности, в выделении смыслового центра сообщения — логического предиката (ремы). Отсюда постоянное противоборство двух тенденций в английском порядке слов — формально-грамматической и логико-коммуникативной.

Изучение порядка слов в отрыве от актуального членения предложения, интонационно-просодических средств ремовыражения и без учета стилистических факторов является малоэффективным, ибо в этом случае можно лишь констатировать формально-грамматические признаки структуры, но нельзя объяснить ее функциональную направленность, значение, дистрибуцию и употребление, дать адекватные варианты ее перевода.

Рецензируемая монография (она состоит из четырех глав, введения и заключения) является оригинальным исследованием, в котором на богатом языковом материале освещается проблема порядка слов в английском языке с учетом логико-грамматической структуры предложения, просодии, формально-грамматических моментов, лингвистики текста, а также стиля.

Комплексный анализ в сочетании с использованием метода экспериментального варьирования (минимальные пары, трансформации, включения, изъятия, «проба» на логическое ударение, на параллелизм конструкций и т. п.) позволили привести в систему и расклассифицировать разнообразные факты языка, объяс-

нить случаи так называемых «отступлений» от традиционного порядка слов (инверсии в повествовательных и прямой порядок слов в вопросительных предложениях) и увидеть в них определенную закономерность. В одних случаях это обусловлено целями ремо- или темовыражения, в других — формально-грамматическими факторами, соображениями позиционной контактности или же целями достижения синтаксической и ритмической симметрии, параллелизма, дислокации нескольких детерминантов или распространенного члена предложения и др., а часто — комплексом нескольких факторов. [В традиционной концепции, как известно, любые изменения словопорядка объяснялись или только целями эмфазы или (с 60-х гг.) — только ремовыражением]. При этом, как отмечает автор, любое изменение словорасположения возможно только в тех пределах, которые не искажают тема-рематическую структуру предложения и не затрудняют ее распознавание (за исключением случаев, когда тема-рематическая структура предложения легко распознается по контексту).

В результате проведенного исследования каждая инверсионная структура нашла свое место в общей системе по принципу типо-видового подчинения и соподчинения. Особого внимания в этом отношении заслуживает классификация инвертированных предложений с экзистенциальным значением — 1) с вводящим *there* и 2) без него: а) простая инверсия: *Inside was a microscope*, б) двойная инверсия: *Lying inside was a microscope*; *Inserted in the enclosure was a microscope...* Такие предложения традиционно рассматривались как самостоятельные разнотиповые структуры, хотя в действительности они являются разновидностями одного и того же функционального и семантического типа предложений. При этом в книге показаны критерии функционирования и выбора каждой из исследованных разновидностей.

Интересна трактовка и классификация и всех других инверсионных структур, например, уступительного предложения с инверсией в отличие от неинвертированного уступительного. Различие между ними, как оказалось, заключается не только и не столько в степени эмфатичности, сколько в специфике их дистрибуции — в характере сказуемого и подлежащего в главном и придаточном. Сюда же относится и исследование двух типов предложений с вспомогательным *do* (традиционно причислявшихся к одному функциональному типу): один *do* ремовыделительный, другой — ритмический — с соответствующими различиями и в переводе. В работе показаны критерии выбора между ремовыделением с помощью оборота *it is ... that* и с помощью агентивного дополнения с *by* в пассиве; между выделением с помощью оборота *it is... that* и посредством выделительно-ограничительных слов; обосновывается функциональное различие между двумя типами предложений с двойной инверсией (1) *Inserted in the enclosure was a microscope*; 2 *Indulgent and severe was her look*); между предложениями с инверсией послелога (один тип: *In walked Mr. Brownlow* — с ремой-подлежащим; другой: *And out she went* — с ремой-сказуемым) и др.

В концепции залога автор объединяет обычно взаимоисключаемые точки зрения — о важности в пассивных конструкциях ремы (Б. А. Ильиш и др.) и о важности в пассивных конструкциях темы (О. Есперсен и американские лингвисты). Пассивные конструкции, с одной стороны, являются средством ремовыражения (с помощью агентивного дополнения с *by* или пассивного подлежащего-ремы при отсутствии дополнения), а с другой, как показано в работе, способствуют более четкому выделению и параллелизму противопоставляемых тем, более последовательному сохранению тематики (супертемы) абзаца (*Some of these rules are well founded... Some of them are purely traditional..., and they have been reverently copied and taught by later writers and teachers...*).

В работе поставлен вопрос о разграничении понятий «фиксированность» и «грамматикализованность» порядка слов. Анализ фактического материала приводит автора к выводу об имеющемся в лингвистике некотором преувеличении в отношении фиксированности английского словопорядка — за счет смешения хотя и взаимообусловленных, но не тождественных факторов «фиксированности» и «грамматикализованности». В книге иллюстрируется широкий диапазон возможных перестановок в английском словопорядке (вплоть до инверсий внутри инверсионных структур типа *He it was who...*; *Money there was...*), в том числе в ряде случаев — сказуемого в отношении подлежащего (*Inside was a microscope*; *Lying inside was a microscope*). Но, в противоположность синтетическим языкам, в английском перестановки обычно возможны в рамках определенных грамматических конструкций (т. е. имеет место грамматикализованность, а не фиксированность, причем грамматикализованность, обусловленная значительной фиксированностью).

Проанализировав языковой материал, В. Е. Шевякова приходит к выводу и о некотором преувеличении в лингвистической литературе роли начальной позиции в ремовыражении и эмфазы (эти положения имеют значение и для общего языкознания). В этой связи значительное место уделяется в работе вопросам соотношения ремовыражения, эмфазы и позиции. Четкое разграничение понятий ремовы-

ражения и эмфазы (ремовыражение может осуществляться и без эмфатического наложения, а эмфаза может накладываться как на рему, так и на тему) позволило автору показать, что ремовыделительной в английском языке является, как и в русском, конечная позиция, а начальная имеет тематизирующую «силу» и в лучшем случае способна сохранить (но не создать) рематичность инвертированной в нее конечной ремы. Уточняется и роль начальной и конечной позиции в выражении эмфазы как в английском, так и в русском языках (не всегда инверсия в начале предложения обусловлена целями эмфазы, а, с другой стороны, и конечная позиция обладает достаточной выделительной и экспрессивной силой). Эти выводы имеют значение для вопросов грамматического строя, для теории актуального членения и стилистики.

Проблема актуального членения трактуется в работе на базе марксистского положения о диалектическом единстве языка и мышления, на основе учения о взаимоотношении суждения и предложения, о предикации. Рассмотрение вопросов актуального членения в корреляции с синтаксической и интонационной структурой предложения устраняет произвольность и субъективность в толковании проблемы, в определении тема-рематического состава предложения.

В работе рассмотрены различные способы выражения и распознавания ремы в английском языке — синтаксические, интонационные, лексические, графические, контекстуальные (также имеющие значение и для других языков); показано, что информация создается не одной только ремой (как принято считать), а сочетанием темы и ремы, всей пропозицией. Ставятся и другие спорные вопросы актуального членения (об относительности понятия известности темы и неизвестности ремы; о тема-рематическом составе первого предложения повествования и др).

В книге проводится анализ смыслового и грамматического контекстов. Показано, что цепная контактная связь между предложениями не является самым распространенным видом логической связи, как считалось до сих пор. Большую помощь в определении тема-рематического состава предложений оказывает введение в понятие грамматического контекста эффективного критерия — параллелизма конструкций, дающего возможность определить рему в предложении, в котором смысловой центр лингвистически не выражен [например, в предложении *In 1913, Niels Bohr, was able to resolve the question of the stability of the Rutherford atom* смысловой центр (подлежащее *Niels Bohr*) определяется по аналогии с параллельно употребленными ремовыделительными структурами смежных предложений — агентивного дополнения с *by* и оборота *it is... that — The nuclear atom was considered mathematically by Nagaoka in 1904. But it was Rutherford's analysis that established the concept as an axperimental fact. The problem that immediately arose, however, concerned the stability of such a system... In 1913, Niels Bohr, was able to resolve the question of the stability of the Rutherford atom*. Правильность определения ремы *Нильс Бор* с помощью грамматического контекста подтверждается в работе анализом смыслового контекста, показывающего, что в последнем предложении сообщается не о том, что сумел сделать Нильс Бор, а о том, кто сумел решить проблему устойчивости атома. Этот нюанс находит отражение и в русском переводе, в котором подлежащее-рема (*Нильс Бор*) должно занимать конечную — ремовыделительную позицию].

С помощью синтаксического параллелизма конструкций была выявлена (или же подтверждена) рематичность того или иного члена предложения в различных инверсионных структурах (например, рематичность подлежащего в предложениях без *there* с простой и двойной инверсией: *In the room was a piano, and there was a gold-threaded runner on the table*; *Within the nucleus occur radioactive phenomena, but it is some other phenomenon that is to be considered here*).

Интересны данные по порядку слов и классификации английских вопросительных предложений. Исследование показало, что в английских неместоименных вопросительных предложениях порядок слов не является средством ремовыражения и средством выражения вопросительного значения, ибо неопределенно-связочный (общий) вопрос, выражаемый неместоименным вопросительным предложением, существует в трех разновидностях — нейтральный, предположительный и удостоверительный вопросы. При этом только нейтральный вопрос (не содержащий предположения относительно качества связки ответного суждения) выражается в предложении с инверсией (*Are you ready*?), а предположительный и удостоверительный (отражающие разную степень предположения относительно возможности получения подтверждающего ответа) выражены предложениями с прямым порядком слов (*You are ready*?, *So then you are ready*?). Порядок слов в этих предложениях обусловлен психологическим фактором — степенью предположения относительно возможного ответа. Причем, как выяснилось, отсутствие инверсии в этих предложениях не компенсируется более яркой вопросительной интонацией (если бы компенсация имела место, то три разновидности неместоименного вопросительного предложения были бы функциональными аналогами, синонимами).

Книга дает определенный материал для разработки проблем функционального стиля, поскольку в ней приводятся сопоставительные данные по использованию каждой инверсионной структуры в художественном и научном стилях. В краткой рецензии невозможно остановиться на переводческих эквивалентах (лексических и синтаксических) рассмотренных автором инверсионных структур, на сведениях по дистрибуции и употреблению всех конструкций; нет возможности и полностью осветить вопросы логического ударения, данные, показывающие ограниченность действия «принципа замены» А. М. Пешковского, и др.

Вполне естественно, что в исследовании типа рецензируемого имеются отдельные недочеты. Так, несмотря на убедительность аргументации, слишком категоричным представляется тезис о логической двусоставности русских предложений типа *Пролетела птица*, *Пошли корабли*. Буквенные формулы конструкций, представленные в русских символах, по уступительному предложению даются в латинских (с. 228). В тексте встречаются слишком длинные предложения (с. 129), есть и отдельные опечатки (с. 99). В некоторых случаях можно было бы уменьшить количество примеров.

Рецензируемая книга читается с большим интересом. Написанная в доступной форме и хорошим языком, она представит несомненный интерес не только для лингвистов, но и для преподавателей, аспирантов и студентов языковых вузов.

Маковский М. М.

№ 3 1981

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Варшаве (ПНР) с 9 по 12 сентября 1980 г. Институтом информатики Варшавского университета было организовано I Международное совещание по проблеме естественной коммуникации «человек — ЭВМ». В совещании принимали участие представители СССР, ГДР, ЧССР, ВНР, ПНР, США, Франции, ФРГ, Канады, Англии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Японии.

Были представлены доклады по следующим проблемам: 1) информационные системы общения «человек — ЭВМ» с использованием письменного естественного языка; 2) системы по распознаванию звучащей речи и зрительных образов; 3) сегментация и синтез речи, графемо-фонемные преобразования; 4) опознание говорящего по голосу.

Наибольшее число докладов было посвящено описанию различного рода информационных систем, использующих естественный язык. В докладе В. Вичаса, Ф. Цанкера и Г. Хельбига (ГДР) «FAS-80 — информационная система на естественном языке» описывается вопросно-ответная система, которая разработана для осуществления коммуникации между человеком и ЭВМ с помощью естественного языка.

Система FAS-80 дает ответы, направленные на сферу интересов пользователя. В случае непонимания система начинает вести диалог выяснения. В настоящее время Центральным институтом кибернетики и обработки информации АН ГДР разработана схема системы коммуникации, которая позволит вести диалог с машиной неподготовленного пользователя.

В докладе И. Краузе, Х. Леманна и М. Зепритца (ФРГ) «Оценка системы, использующей специальные языки» речь идет о пользе сравнения эффективности применения естественного и формального (информационно-поискового) языков. Описываемая система состоит из грамматики для синтаксического анализа, набора программ, выполняющих семантическую интерпретацию и перевод на формальный язык базы данных. Процесс анализа начинается с построения синтаксических деревьев на выходе системы. Эти деревья трансформируются путем семантической интерпретации в семантическую структуру, которая затем переводится в формальный язык базы данных.

Доклад Д. Коха, В. Хейкинга и Й. Буссе (ГДР) «Система языковой обработки SYSAN» посвящен описанию системы, предназначенной для анализа связного текста на входе этой системы, который подвергается лексическому и трансформационному анализу, анализу по непосредственным составляющим, семантическому анализу.

Значительное число докладов было посвящено конкретному описанию различных вопросно-ответных систем, базирующихся на письменном языке. Меньшее число докладов затрагивало описание принципов анализа и распознавания звучащей речи. Так, например, в докладе Д. Мариани и Д. Лиенарда (Франция) «Речевая коммуникация „человек — машина“ с учетом постановки различных задач» рассматривались различные способы применения информации о звучащей речи. Авторы описали два блока распознающей системы: блок синтеза и блок распознавания речи. Синтез осуществляется при помощи словаря дифонов, который состоял из 500 моделей. Синтез текста с опорой на дифоны осуществлялся в реальном масштабе времени.

Вопросам графемо-фонемной трансформации был посвящен доклад Б. Рудигер и И. Штарке (ГДР) «Некоторые аспекты автоматической графемо-фонемной трансформации применительно к немецкому языку». В докладе были перечислены те трудности, с которыми приходится сталкиваться при реализации графемо-фонемной трансформации для немецкого языка. Эти трудности в целом ряде случаев связаны с этимологическим принципом написания немецких слов. Для решения вопроса корректной графемо-фонемной трансформации авторы привлекли информацию о морфемной структуре слов.

В докладе К. Вестендорфа (ГДР) «Экспериментальная система распознавания слитной речи» была описана

система, позволяющая обрабатывать речевые высказывания неограниченно длительности без привлечения дополнительных сведений о словесных границах.

В представленной системе использовались два типа моделей: модель слова и модель фонемы. Каждая модель включала информацию о переходных и квазистационарных процессах. Непрерывный речевой сигнал рассматривался как модификация уровня звукового давления во времени. Физическое представление сигнала давало возможность перевести его в некоторую последовательность признаков (вектор признаков).

Доклад Р. К. Потаповой (СССР) «Автоматическая сегментация речи на псевдослоговые единицы» был посвящен проблеме первичной обработки и сегментации речи. Автор предлагает ввести понятие опорного сегмента — псевдослога, состоящего из согласного (согласных) и гласного в конечной позиции. Необходимость ввода понятия псевдослога при автоматическом распознавании речи целесообразна, так как не всегда и не для всех языков лингвистический слог совпадает с вычленяемым сегментом (*С*)...*СГ*. В свою очередь определение границ и инвентаря псевдослогов дает возможность гибко перейти к звуковой структуре, с одной стороны, и к морфологической структуре, с другой. При этом важное место занимает привлечение фонотактической информации, что позволяет «подкорректировать» псевдослог и вывести его на уровень слого-морфемного характера.

Автор указывает на целесообразность стратегии «сверху — вниз»: от текста — к фразам, от фраз — к псевдослогам, что уменьшит число альтернативных гипотез и увеличит надежность распознавания.

Эксперимент Р. К. Потаповой осуществлялся на ВЦ АН СССР на материале русского и английского языков. Предварительный анализ речевого сигнала осуществлялся на специальном устройстве выделения речевых признаков (УВРП). Программы сегментации были написаны для ЭВМ БЭСМ-6 на языке АВТОКОД.

В докладе М. Члаидзе и др. (СССР) «Проблемы синтеза грузинской речи по печатному тексту» описан эксперимент по преобразованию печатного текста в звучащую речь.

Синтез проводился с опорой на сегменты, выделенные из естественной грузинской речи. При составлении словаря сегментов переходные участки не учитывались. Вся ориентация осуществлялась с учетом квазистационарных участков. Кроме позиционных вариантов в ряде случаев учитывалась дистрибутивная аллофония.

Речь, синтезированная с опорой на вышеуказанный инвентарь сегментов, характеризовалась высокой степенью разборчивости ($\approx 90\%$) и достаточной натуральностью звучания.

Потапова Р. К.

CONTENTS

Articles: Sorokoletov F. P. (Leningrad). Regional dictionaries and dialectal lexicology; **Discussions:** Budagov R. A. (Moscow). The role of Soviet linguistics in modern linguistic science (the end); Piotrovskij R. G. (Leningrad). Linguistic aspects of the artificial intellect; Domašnev A. I. (Leningrad), Pomazan N. G. (Serpukhov). Concerning the notion of «Umgangssprache» in Swiss German; Viskovič K. S. (Novi Sad). On the terms «pragmalinguistics» and «didactolinguistics»; **Materials and notes:** Petrišceva E. F. (Moscow). The non-literary word-stock as a category of stylistics; Belousova A. S. (Moscow). Russian nouns with the meaning of person; Kurkina L. V. (Moscow). The rise of the Southern Slavs and the Pannonian theory of E. Kopitar; Vinogradov A. A. (Mukachevo). The phenomenon of sentence segmentation versus dynamic sentence joining; **Surveys:** Gel'gardt R. R. (Kalinin). Studies on the Russian language in the journal «Russian Linguistics»; Staltmane V. E., Graudina L. K. (Moscow). Lettish usage in a bilingual situation; **Reviews. Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Sorokoletov F. P. (Léningrad). Dictionnaires des régionalismes et lexicologie dialectale; **Discussions:** Budagov R. A. (Moscou). Place de la science linguistique soviétique dans la linguistique contemporaine (suite et fin); Piotrovskij R. G. (Léningrad). Aspects linguistiques de l'intellect artificiel; Domašnev A. I. (Léningrad), Pomazan N. G. (Serpukhov). Sur la notion de «Umgangssprache» dans la langue allemande de Suisse; Viskovič K. S. (Novi Sad). Sur les termes «pragmalinguistique» et «didactolinguistique»; **Matériaux et notices:** Petrišceva E. F. (Moscou). Lexique non-littéraire en tant que catégorie stylistique; Belousova A. S. (Moscou). Substantifs russes désignant la personne; Kurkina L. V. (Moscou). Quelques problèmes de la formation des Slaves du Sud et la théorie pannonique de E. Kopitar; Vinogradov A. A. (Moukatchevo). À propos de différenciation des phénomènes de parcellisation et d'adjonction dynamique; **Revues:** Gel'gardt R. R. (Kalinine). Les études sur la langue russe dans la revue «Russian Linguistics»; Staltmane V. E., Graudina L. K. (Moscou). La norme du letton dans les conditions du bilinguisme; **Comptes rendus. Vie scientifique.**

Технический редактор *В. М. Пахомова*

Сдано в набор 27.02.81 Подписано к печати 07.05.81 Т-10203 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 100,5 тыс. Уч.-изд. л. 15,5 Бум. л. 5,0
Тираж 7091 экз. Заказ 201

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10

Вниманию авторов!

В нашем журнале, начиная с № 2 1981 г., вводятся новые правила по оформлению библиографии.

I. Список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи. Оформляется это следующим образом:

1. *Виноградов В. В.* О теории художественной речи. М., 1971.
2. Курс історії української літературної мови. За ред. Білодіда І. К. Т. І. Київ, 1958.
3. *Баранников А. П.* Флексия и анализ в новоиндийских языках. Уч. зап. ЛГУ, 1949, № 98, сер. востоковед. наук, вып. 1.
4. *Гак В. Г.*— ВЯ, 1977, № 6.— Рец. на кн.: *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М.: Наука, 1976, 224 с.

II. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3].

В случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте.

III. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.